

3(9)'00

REFRSCHEATIK

International Literary Magazine

**Международный
литературно-художественный
журнал**

**Главный редактор
Борис Марковский**

Редакционная коллегия:

**Марк Нестантинер, Мария Каменкович,
Борис Херсонский, Андрей Мокроусов**

**Обложка Георгий Власов
Секретарь редакции Алла Жмайло
Директор Фонда Валерий Ярошевич**

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес редакции:
Seestraße, 24.
34519 Heringhausen, Deutschland.
тел. 05633-992278, 05633-99004
тел. в Киеве 290-03-90
www.kreschatik.demon.nl
info@kreschatik.demon.nl

**Регистрационное свидетельство № 607
от 21 ноября 1995 года**

© Крещатик, 2000

Содержание

Поэзия

Елена Игнатова	/ Иерусалим /	5
Алексей Зарахович	/ Киев /	44
Давид Паташинский	/ Верона, Пенсильвания /	46
Владимир Грицовник	/ Киев /	81
Арсений Ровинский	/ Копенгаген /	82
Арье Ротман	/ Тель-Авив /	108
Илья Кучеров	/ Санкт-Петербург /	114

В гостях у «Крещатика»

Поэты Москвы	
Александр Макаров-Кротков	154
Владимир Строчков	155
Федор Успенский	165
Татьяна Милова	166
Александр Самарцев	220
Сергей Тетерин	222
Ольга Зондберг	223
Леонид Раскин	230

Проза

Борис Ванталов	Утром три. Роман. / С-Петербург /	11
Михаил Федотов	Я вернулся. Репортажи. / Санкт-Петербург /	48
Павел Лукаш	От Алексов. Повесть. / Бат-Йам /	86
Юдит Герман	Красные кораллы. Рассказы. / Берлин / Пер. с нем. А.Мильштейн	117
Сергей Бен-Лев	Из жизни братьев меньших. Рассказ. / Луганск /	157
Михаил Гиголашвили	Жена Цезаря. Рассказ. / Саарбрюккен /	162
Александр Бириштейн	Коллекционер. Повесть. / Одесса /	167
Павел Маслак	Окамень. Рассказ. / Киев /	225

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Вадим Максимов	Постмодернистская поэма о второ- годниках и безумцах. / С-Петербург /	9
Александр Мильштейн	Первая книга. / Мюнхен /	115
Борис Херсонский	Чувство смысла. / Одесса /	237
Евгений Кержнер	Письма в Миннесоту. / Регенсбург /	253
Михаил Гиголашвили	Немцы и немецкое в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского.	264
Евгений Антипов	Audi Alteram Partem или Гай Цезарь Сапोजок. / Санкт-Петербург /	278
Мария Каменкович	О новой и старой литературе... / Регенсбург /	292

Латинский квартал

Яков Шехтер	Несколько историй... / Тель-Авив /	298
Игорь Кочевых	Переделки. / Киев /	313

Елена Игнатова

/ Иерусалим /

Стихи разных лет

1

И русского стиха прохладный влажный сруб,
звезда под крышкою чудесного колодца.
Смотри, как плещется, кипит у самых губ
вода бескожая, а в горсти не дается.

Но если в августе разомкнут небосвод
и мокрой чернотой размыты дали,
кастальская вода в ключах твоих поет
настоем бедности бессмертной и печали.

2

Ты увидишь монгола в коровьей одежде до пят
и степных мудрецов, испытавших, горят ли божницы.
Отшатнется Рязань, закусив окровавленный плат,
и волчица придет в городище разбитом щениться.

В чем твоё искупленье, земля? И отчизной затем
ты зовешься, что емлешь детей своих кости?
Ты земля без конца, безобразное месиво тел,
но сияют глаза матерей у тебя на коросте.

И за то, что я тоже паду в этот стонущий прах,
и за то, что с рождения в сердце полынное семя,
дай мне только надежду, прощальную соль на губах,
что не станешь ложиться лицом под татарское стремя!

Что болтаю? Какое мне дело до этих людей?
Отпусти меня, мать, позабудь меня, дай мне укрыться!
Только бы не упасть между этих могильных грудей
и водою подземной во чреве не колотиться!

3

Сидят большие мужики,
их бороды клинообразны,
в глазах зимуют светляки,
а руки праздны.
Концерт по радио — и он
надоедает,
ребенок тощих комаров
под лампой давит...
Смоленщина — в моей судьбе
больные звенья,
ты чернолесье, ты любовь,
погост, где брат мой спит без снов,
где мать — без утоленья.

4

Из ночной столицы кукушка
да клопа жестяное брюшко.
Захолустье. Холуй в дверях
исполкома — дрожащ и перист.
Ключевая ненависть, пенясь,
перебраживается в страх.

И всей-то радости — отросток сна во льду,
под валерианой сердце зарастает.
Но кто произнесет анафему труду
и наши судьбы отквитает?
И кто, в крови запястья утопив,
нас вычленит из человеческой хляби,
какая помесь: Соловьев-Алябьев
анафему положит на мотив?

Смотрят ясно и важно дети:
диктатуры грузила, сети
миновали — еще малы.
Сушь. Без хруста изломы тени.
И кипят под окном сирени,
как котлы осадной смолы.

5

Для российской жены на чужбине что станет милей?
Возле сердца горит запыленная веточка дрока,
заучило безличье лицо, но осталась у ней
голубиная завязь зрачка деревенских пророков.

Вот на лавочке в ряд, словно дети, сидят и вещают:
видно, сушь повторится, вернее, дождливый июнь...
Низко-низко над ними кружит, только шапки с голов не сшибает,
дурковатая птица, седой Гамаюн.

Перебилась, прости. Для российской жены вдалеке
есть флакон со снотворным, и капли разбиты в стакане.
Столь безлюдные ночи, что лишь на Каяле-реке
человек помаячит и исчезает в тумане.

Ты снисходишь до нас, о тяжелая пава чужих поднебесий,
говоришь, что Россия на взлете, вернее, мы все прогорим...
И кружит над тобою, как пыль по дорогам безлесий,
столь свободный, столь ароматический дым.

Если сердце закушено, если татарская ртуть
раскатилась по жилам, то нам ли с тобой об обиде?
Под каким бы бетонным надгробьем, в какой бы земле ни уснуть,
эти пажити горя о только бы помнить и видеть!

1980

■■■

В.Родионову

Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели —
особый колониальный восторг.
Запад есть Запад, а это Восток.
Видишь, куда мы с тобой залетели?

Здесь застоялся воздух знакомый
пятидесятих, повернутых вспять.
Заповедник детства.

Опять, опять
апельсином и золотом пахнут погоны
на кителях молодых отцов.
Как много нас за столом, как тесно!
Сон младенчества. Клан родовой
сомкнут, как крона над головой
вечного дерева. Запах его телесный.
Не просыпаться. В губах матерей
вкус серебра и мяты.

Как бессмертны и как богаты
мы были любовью их...
Нас уносили в сон, в темноту:
очнешься — кругом пустыня в цвету,
тихое пение за стеною
о ямщике, что клонится в снег,
о роднике, где горячий свет
над ледяною водой живою.



Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко.
В сети ее темных волос — золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом... сонная воркотня.

Всей глубиною крови я лпну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым.
Время редееет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остается — памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиною невской.



Это почти из романа: ставни скрипят,
и уголь подходит к концу в затяжную зиму,
и лечу я соринкой во тьме, слепоте, наугад
по заснеженному Иерусалиму.

Это почти из Диккенса: Новый Свет,
семейный очаг, любовь подростка, смятение...
Между землей и небом — лучшей из скреп
золотая наука смирения,
когда даруется зрение, шире и чище снег,
и смирение учит, баюкает, утешая,
и хрустально и камню твоим во сне
«Иерусалим, — я шепчу, — Иерушалаим...»

Вадим Максимов

/ Санкт-Петербург /

Постмодернистская поэма о второгодниках и безумцах

Борис Ванталов — автор трилогии «Конец цитаты», опубликованной отдельным изданием в 1995 году (М., ЛИА Р. Элинина). Это три романа («Записки блудного сына», «Книга облаков», «Точка в виде запятой»), написанные во второй половине 1970-х годов. В этих романах герой существует в плотном пространстве цитат и литературных ассоциаций. Подлинным героем становится автор, который борется с этой литературно-мифологической реальностью и создает бесконечные слои комментария. В третьем романе личность автора теряется среди этих комментариев и самоопровержений. Единственным героем оказывается язык.

Борис Ванталов — он же Борис Констриктор, художник. Графический цикл «Уголовник» сопровождает трилогию «Конец цитаты». Здесь герой — обитатель пространства угла, расширяющегося до космических пределов. Гротеск и всеохватность характерны для этих графических полотен.

Борис Ванталов — автор ряда поэтических сборников («Стихотворения», СПб., Призма 15, 1993; «Философская лирика» Лос-Анджелес, 1993 и др.). Стихотворения, внешне использующие лучшие традиции поэзии серебряного века, пародируют поэтические формы и иронизируют над главным персонажем этих стихотворений — самовлюбленным маленьком человеком, противопоставляющим себя миру и имеющим непомерные амбиции.

Все ипостаси Ванталова — Констриктора повествуют о судьбе исчезающей личности. Все, что остается автору — воспеть свою смерть и весело посмеяться над угасанием человечества в целом. Этот смех и соотнесенность себя с мировым движением мифа позволяют Ванталову сказать главное о новой эпохе.

Действие романа «Утром три» происходит в 1950 — 70-е годы.

Эпоха постмодернизма выдвинула нового героя. Произошло это не потому, что ушел модернизм. А потому, что советская действительность все более становилась воплощением реализации постмодернизма, сооружая воздушные замки из колючей проволоки. Обитателям

этих замков можно было чувствовать уверенность в завтрашнем дне и видеть процветание государства только в случае полного отсутствия мозгов. Нормальный человек мог отвергнуть эту фантазмагорическую структуру только в том случае, если он отвергал ее целиком. Это значит: вместе с отрицанием своей собственной значимости. Подлинным героем этого времени становится не отличник-функционер, а второгодник-кочегар. Мифология «Утром три» населена олимпийцами-второгодниками.

«Утром три» соотносится с романом-эпопеей «Конец цитаты» примерно также, как «Записки психопата» Венедикта Ерофеева с поэмой «Москва — Петушки»: ранние произведения, биографическая основа, самоирония. При этом в романе Ванталова сохраняется характерная для него мифологическая структура: плотный мифологический фон, плюс воспоминания о школьном классе (краткие гротескные характеристики при полном отсутствии бытового реализма, все персонажи — «заядлые второгодники»), плюс современное (1978 год) положение героя, прячущего от родственников свое машинописное творчество.

Проблема творчества, создание произведения становится главной темой повествования. Единственная реальность — литература. «Литература создала вселенную, которая, может быть, и есть цель существования человека». Литературная вселенная — возвышенная и фарсовая одновременно. Литература не страдает оттого, что Ванталов сравнивает творческую потребность с процессом пищеварения. «Лист надо закончить, нельзя его в машинке оставлять, а то родственники сунутся. Что печатаешь? Зачем? А зачем я писаю, откуда я знаю. Они думают, литература отличается от пищеварения. Нет!!!»

Мастерство Ванталова в умении соединить комизм формы и трагизм существования: «Инфузория, чем она виновата, что она инфузория, и чем виноват я, что я человек». Изящество словесного потока (потока сознания) неразрывно с насыщенным бульоном цитат, литературных традиций. Автор свободно перемещается с одного мифологического пласта на другой. А начав ту или иную фразу в любой момент может перенестись в любую временную и пространственную точку. Один из постоянных персонажей — Петр Сергеевич — обозначается аббревиатурой П.С. В один прекрасный момент действие происходит на Большом проспекте Петроградской стороны (в Петербурге два Больших проспекта: П.С. и В.О.). Кажется, что Петр Сергеевич и Петроградская сторона сливаются в один образ.

Биографизм, присущий произведениям Ванталова, продолжает одну из ярких тенденций литературы XX века, так как это единственная возможность разрушить эпические повествовательные барьеры ради утверждения человеческой личности. По этому пути прошли Аугуст Стриндберг, Франц Кафка, Жан Жене, Венедикт Ерофеев.

Ванталову удается добиться удивительного единства высокой литературы и смеховой культуры. Всеразрушающая самоироничная муза Ванталова явилась ему с заоблачных высот. Откуда ты, муза? Тыль Данту диктовала страницы «Ада»? Муза отвечает: я.

Борис Ванталов

/ Санкт-Петербург /

Утром три

роман

*Почему же называется «Утром три»? Вот отчего.
Обезьяний царь, раздавая каштаны, спросил:*

— Хватит ли утром по три, а вечером по четыре?

Тут все обезьяны разгневались. — Тогда утром по четыре, а вечером по три? — спросил он.

И все обезьяны обрадовались.

Чжуан-цзы

I

Я виноват, я не прочитал до конца манифест Бретона. А Беркли, буду ли я читать Беркли? Шекли, Шелли, Шеллинг? Я так необразован, глуп-с, как пробка. Пропп, Болеслав Натанович Пруст. Сегодня, как говорят некоторые лучшие умы Евразии, 2 мая — значит, вчера был шабаш. Ум — это опечатки и отточия... Помню, лет десять назад мылся в ванной и пел (см. «Характеры» Феофраста): «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу». Стоит ли говорить, что я в Москве ни разу не был. Везти девять дырок моего тела за 666 километров от родного красного ободранного дивана, которому уже как совершеннолетнему можно было бы выдать паспорт? Я ли тебя брошу, я ли тебя покину, я ли тебе изменю? Отвечаю: я.

Диван Тамарита. С Гете отношения у меня не сложились. Он много смеялся и вел себя не по-джентельменски, а я не хотел идти вперед по трупам. Клопшток много лучше Гете, хотя бы потому, что я не читал его.

Потом началось истребление личности. Сурож, где-то неподалеку строилась генетическая цепочка Николая Васильевича Гоголя

и Остапа Вишни. Помню: вагон, погон, три выстрела из ракетницы — и началась война-14. Да, мы пили кумыс, а исландцы похожи на тибетцев. Снова город, еще похуже Иерусалима. Русь. Пусть лингвисты об этом беспокоятся. Я только снимаю слепки с сознания. Дактилоскопия, ортопедия. Нет, с мальчиками не приходилось... Грех — нововведение в технологии жизни, непредусмотренная функциональность.

Бог заботится о мыслях, если они приходят мне в голову? Тут же фиксирую их. Так это и значит говорить правду? Скажем, истребление людей поставили не промышленную основу. Такова логика индустриального века. Соллогуб знал, что говорит, когда предрекал: инженер нас съест. Во множественном числе дилемма Каина и Авеля упраздняется. Нравственная сторона просто перестает существовать.

Невиновных в XX веке нет. Иллюзии эпохи Просвещения развеялись как с белых яблонь дым. Человек — темен. Поэтому все создаваемые им институты общественной жизни несут на себе печать неизбывной ублюдочности. На этом беспрецедентном пепелище утраченных иллюзий разве что иногда вспыхивают угольки озарений. От такого уголька не грех и прикурить.

Ишь ты, осел безгрешный выискался. Туда же о веке рассуждать, о человеке, а что эти твои рассуждения стоят, если ты сам не знаешь, почему сегодня одно думаешь, а завтра другое. Сегодня водки нахлещешься (к родителям гости придут), а потом будешь бабам звонить. У сознания есть свои этажи. И то, что происходит на одном, не имеет прямого отношения к другому, хотя все связано круговой порукой. Ну вот, значит, пришел я в первый класс записываться, как есть в очках и коротких штанишках — Мария Федоровна (зело царственная директриса) мне номер на лобике тут же наколола и азбуку дала. Учился тогда в старинном особняке на набережной Фонтанки. Все дети в очках, а у одной девочки был даже рак мозга. Мы знали, что она скоро умрет, и сторонились ее. Развивался я в интеллектуальном отношении очень медленно. До третьего класса не ведал, как лаконично обозначен в простой разговорной речи мужской половой орган. Поэтому, когда читали текст о Миклухо-Маклае Барклае де Толли, в котором фигурирует туземец по имени Туй, и когда одноклассники стали придумывать рифмы на это экзотическое имя, я сказал по неведению то коротенькое слово, без которого трудовая деятельность русского человека была бы просто невозможна. Мальчик Женя тут же побежал к учительнице и донес. Никто не поверил в столь чудовищно замедленные темпы моего развития. Было вынесено общественное порицание, а родителям срочно предложено обучить сына основам русского ма-



В.К.
99.

та, чтобы избежать впредь повторения подобных эксцессов. С мальчиком Женей мы дружили и после окончания заведения. Он вырос и занялся воспитанием трудных подростков. Его мама была врач. За это он не работал летом на заводе. И однажды вечером эта врач позвонила мне домой (в детстве была сына ботинком по голове, вообще голова была несколько странная, он говорил, что его тащили щипцами, а зачем, зачем было тащить, ведь не хотел он на свет вылезать, знал, поди, что все равно ничего толкового из этого не выйдет) и сказала, что Женю убили. На похороны я не пошел. Молод был. Потом мы дружили, снимали любительские фильмы. Была еще Женя-девочка с цыганским лицом и черными, как очи, косами. С ней сидел за одной партой. В четвертом классе мне это приелось и я, доказав Жене, что она человек некультурный (к тому времени мои познания в области ненормативной лексики значительно расширились) пересел на другую парту к Марине Родинной.

Марина Родина заслуживает абзаца. Это было явление из мира великого ирландского писателя Самуэля Беккета. Она ходила на своих полупарализованных ногах, раскачиваясь, как моряк в семибалльный шторм, улыбка довольства вечно блуждала на ее добродушном лице. За толстыми стеклами очков блестели глаза пьянчужки. Да, все время казалось, что она под шафе, что она живет в другом мире, где вино продается за символическую цену, и магазины работают круглые сутки. Во всех классах, начиная с первого, она оставалась на второй год. Ее родители, люди интеллигентные, покорно несли крест. Не так давно видел святое семейство в метро. Так же качаясь и сверкая из-за очков глазами, в сопровождении поседевших отца и матери, Родина проплыла мимо меня, излучая свою светлую глупость.

В пещере у Платона задерживаться не стал, не поладил с Гегелем из-за зэк-конченности мира и подрался с Шопенгауэром. Он натравил на меня за то, что не знаю латыни, своего пуделя Атмана. Потом отведал бобов у Торо. Отравился грибами у Эрля. Мне ни с кем не ужиться. Даже за границу потому не еду. Люблю тихие вечера на балконе, когда снизу доносится шум жизни, а я гляжу в зеркало жизни и пью чай. Почему нельзя жить в свое удовольствие, почему эти скоты-инженеры мешают тихо агонизировать на балконе и любоваться закатом Европы, следить глазами за передвижением варваров, за их дикой речью, слушать звуки орд Батыя. Вот радость! Пусть несутся эти народы в своей неистовой пляске, а я буду тихо сидеть на балконе, как это было тогда, тысячи лет назад в Египте.

На Севере надо носить пальто и кальсоны. Женя (девочка) обиделась на Люду Смирнову и плакала. Люда, курносое создание с жидкими, желтыми волосами, подложила в парты одноклассникам записки с различными оскорблениями. Женя рыдала во весь голос: ну что, Люда, я тебе такого плохого сделала? Людмила флегматично безмолвствовала. Мне Люда записки не подложила, хотя я не был ее Русланом. Потом она осталась на второй год и перестала расти. Я думаю, в знак протеста.

Однажды на работе у меня пропали два бутерброда с мясом. Оказалось, они упали на дно шкафа, причем упали мясом вверх. Один человек съел это мясо со дна шкафа. Это был великий человек. Он мог съесть зараза десяток яиц не моргнув глазом, мог выпить литр наикрепчайшего чаю, съесть пуд печенья, истратить всю получку в канцелярском магазине. Он варил суп на работе из пакета. Он курил папиросы. Он не спал ночами. Он называл классика бздуном. Он плевал на всех встречных голубей, истреблял мух телефонной книгой, играл в карты, он много успел съесть в жизни и ее окрестностях.

Поскольку Бретона я так до конца и не прочел (а читал я его в садике, пока Пожиратель сосиски ел), то перечитал первые четыре листа. Много опечаток, а главное, не очень интересно, но, положив на сердце, разве уж так интересна наша жизнь, и что плохого, если этот текст так же сер и бездарен, как мое существование. Ну, пошлялся в космосе с молекулой спирта, затесался на землю, метан, пропан, метилмеркопкан, стал сторожем, написал книгу стихов и прозы, что в этом интересного? Я обыкновенная пошлятина, и Пу Сун-лин дал мне за это по шее. Интересен не текст сам по себе, а возникновение текста, сцепление имен и понятий в новые комбинации, рождение новой системы символов. Разве я не символ? Почему эти слова и имена вылетают сейчас из-под пальцев (я пишу на машинке), а не другие? Случайность появления того или иного слова? Законы стихосложения. Если кровь рифмуется с любовью в метрических системах, то в рыхлой системе прозы в большей степени должны проявляться механизмы сознания (конечно, если таковые существуют). Всегда ли стреляют ружья? И если я завтра продолжу этот текст, то, что это будет? И кто будет тот, кто будет продолжать его завтра? Если бы я мог всю жизнь, не переставая, фиксировать мысли, вот как я делаю это сейчас, то, сколько бы это было томов? Кто бы их читал?

Ну, нет. Пойду, водки хлопну, а там посмотрим. Химия и жизнь, пары алкоголя, туманность Андромеды.

Лист надо закончить, нельзя его в машинке оставлять, а то родственники сунутся. Что печатаешь? Зачем? А зачем я писаю,

откуда я знаю. Они думают, литература отличается от пищеварения. Нет!!! Три тысячи раз нет, это одно и то же. Сегодня тепло, пишу я, светит солнце, дети играют в покер, на деревьях растут, из земли лезут, из меня прет. Такой сегодня день. Всю зиму перепечатывал и редактировал старый текст. В мае начал маяться новым. Слушайте голос моего мозга, пока он водкой не отуманен. Слушайте, товарищи-подонки.

Перечитал снова. Дрянь все это. Но эта дрянь не только я. Нет, это и все остальные, прочие, разные, всякие, другие и непохожие. Вы чувствуете, что я хлопнул водки? Думаете, Сталин и Гитлер, это не вы сами. Нет, это вы, и более того, это я. Родственники смотрят футбол по телевизору, а я сижу в смежной комнате и печатаю сие, т.е. та пошлятина, которой Пу Сун-лин по шее дал. Делаю много опечаток: водка есть водка. Родственники смотрят футбол по телевизору, написал снова. Жарко.

Родственники, с ними я шел из Египта, сказали, что борода мне к носу весьма подходит. Дела идут на лад, скоро здесь никого из знакомых не останется. Я рад. Летите, голуби, летите, скоро сяду... На балкон, хотел я сказать, а вы что подумали?

Лад — рад: рифма? А может быть, проза это тоже стихи? Только рифмуются не слова, а что-нибудь другое... Диван у меня старый, он провалился посередине, ключья желто-серой ваты торчат. Мне нравится атмосфера гибели в моем «доме». Книжки месяцами лежат на подоконнике и коробятся от солнца, от погоды, а у меня нет сил их переставить в другое место. Я стар, мне еще нет тридцати. Я стар, старше всех своих предков, ибо знаю о них больше, чем знали о себе они сами. И вообще, хватит о себе. Поговорим о Риме. Древний град... там жил Челлини... Феллини... Пазолини... Дело было в Магадишо, купили мы с братом Колей бутылочку чернил и вкусили ее в столовой. Ну, вышли. Жарко. Эфиопия рядом! Николай кувырк с копыт. Я лег рядом, думаю: пропадать, так вместе. Он (Николай) — ноль внимания на мой патриотизм, спит как сурок или Ассоль-Суок Сучкова. Грина терпеть не могу.

Именно седьмая страница, два раза напечатал, что четвертая. Родители собираются летом в Эстонию. С кем я буду спать? Солнце (сейчас 17 ч. 8 м.) прямо перед глазами. Жарко. Это после водки, наверно. Мне все равно, что сегодня печатать, мне вообще все равно. Родственники, наконец, пробудились и спросили у родителей, что он там такое печатает? Зачем? Отец ответил неожиданно остроумно: он там печатает — и все... Платон прав, поэтов надо истреблять. Общение с живыми стихотворцами разлагает человечество. Это как летающие тарелки, поэты. Они тоже в форме шляпы, они тоже собирают цветы и камни. Родственники — это не

плагиат, вот они сидят за стенкой, если хотите, можете потрогать их руками.

II

Встал, еще не чистил зубов, и сразу за машинку. Графоман не знает выходных. У Тани Усуповой с семилетнего возраста были вставные зубы, грудь у нее тоже так и не выросла. Помню в классе (тогда учились в районе Кировского завода) отдали в интернат. Очень не нравилось быть дежурным по столовой и таскать подносы с едой, поэтому за деликатесы, приносимые из дома, занимал добровольца, который и таскал всю эту дымящуюся гадость. С тех пор ненавижу столовые и прочие забегаловки, где торопливо давятся едой неопрятные люди. А на рестораны денег у меня никогда не было. Прием пищи — наиболее интимное общение с окружающей средой, этот акт должен происходить торжественно, как, например, бракосочетание, опера или похороны. Эдик Файко всегда обращал на себя мое внимание: он ел оригинально. Из колбасы «Сервелат» зубами и ногтями устранял все, даже мельчайшие вкрапления жира, а потом заглатывал кусок целиком: высоко поднимал его над разверстым зевом и, разжав пальцы, бросал вниз, в глубину утробы. Был он мал и худ, часто оставался на второй год, мать его преподавала математику.

Колька, наконец, очухался, встал на четвереньки и громко икнул. «Будет жить», — уверенно сказал доктор Астров и уехал в Аддис-Абебу. Потом мы пошли на охоту. Саванна. Все те же блочные дома, совмещенный с оазисом санузел, львицы в набедренных повязках, редкие пыльные пальмы в кадках и ресторан «Чака Зулу». Людмила Федоровна спросила на классном собрании: это что, у вас дома такие разговоры ведутся? (я сказал, что в Америке люди живут не хуже). Мы видели ягуара с покореженным кузовом, двух шакалов со шкаликами, а также анти в лоб и зебр забор. Потом вернулись в гостиницу и легли спать с первыми попавшимися аборигенками. Огромный вентилятор не избавлял от зноя. Душно. А продала меня на этот раз девочка Нона, она была выше всех нас (тоже заядлая второгодница), была старостой и помаленьку стучала, чтобы перейти в следующий класс.

Проза — алхимия слова, здесь нет места инженерным расчетам, доверьтесь стихии мозговых извилин, как доверяетесь им, когда идете по улице, провозглашаем поток бессознательного. Кто ведет нас в наших реакциях и поступках, что руководит нашим выбором, кто правит балом? Нет ответа.

Спектакль продолжается. Марионетки выходят на сцену. Сегодня нет вчерашней живости, скорописи. Производительность па-

ла. В четвертом классе к нам пришла новая учительница, Анна Петровна. Она выросла и получила воспитание в глубине России. Смеясь, прикрывала рот рукой, видимо, боялась, что душа вылетит (см. Дж. Дж. Фрезер, «Золотая ветвь»). Зря только она беспокоилась. Николай катался на слоне, а я думал, имеет ли право художник на чистую глупость. Выходит, я пишу повесть о своем детстве, а ведь не было такого намерения, когда садился за машинку. Значит, что-то проявляется, или наоборот?

Прошла по двору женщина в фиолетовом пальто. 11 часов. Стиль и метод. Есть ли у меня метод? Мелвилл писал в «Моби Дике» о преимуществах методологической беспорядочности... А может, это у меня, как у Фолкнера, случился сарторис. Буду писать остаток дней этот текст, и точку в нем смерть поставит. Как у Гончарова случился Обломов. Чудо в Мариенбаде. Главное непосредственность! Сразу же после восклицательного знака позвонила сестра: едет она в колхоз, так не привезу ли я ей сапоги. Значит, недаром вчера у Салтыкова в 7-ом томе прочел о переходе из эры лаптей в эру сапог. О сапоге думали Шагал и Орвелл, я тоже думаю о сапоге часто, когда рисую. Сапог — как много в этом звуке для сердца русского слилось.

Володя Платанов однажды удостоился великой чести, Анна Петровна, она преподавала нам русский язык и литературу, швырнула в него его же чемоданчиком. Пролетая над партами, он распахнулся, и оттуда посыпались учебники, тетради. Те, к кому особенно благоволила судьба, получили учебником по голове. Был субботник, и мы скребли стеклами пол и парты, чтобы не было чернильных пятен. Володя Платанов сошел со страниц романа Соллогуба. Он был Володиным.

Интересно, сколько сегодня градусов? Пора сапоги нести. Надевать пальто или нет? Однажды мы всей школой ходили в кино смотреть фильм «Русское чудо». Мы сели с Володиным рядом с двумя девицами из другого класса. И вдруг он хлопнул меня по плечу, я оглянулся: оказывается, он обнимал свою соседку (не помню, как звали, хорошо бы Варварой). Тогда это произвело на меня сильное впечатление.

По радио сказали: + 8 градусов. Почистил зубы. Надо одеваться. Страницы 8, 9 и 10 печатал без трусов, в одном халате. Пришел с улицы, пьяные мужики сдают бутылки из-под праздников. На небе ни облачка. Поют птицы. Коля выстрелил. Антон Павлович остался недоволен. Опять птица. Мы сидели в «Минерашках» у Излера. В Новой деревне.

Новая глава. Спиридон Сианук преподавал рисование. Чаю что ли пойти выпить? Книга сама по себе ничего. Ничто — лучшее

из всего того, что я когда-либо знал. Потом Коля повздорил с Лилией (я учился с ней в одной группе в институте). Лилия была нежнейшим цветком в нашем садике наслаждений, но время от времени на белоснежном лице ее (несмотря на замужество и активное употребление протеина) начинали цвести экзотические прищипы разнообразных размеров и конфигураций. Но стоит ли вспоминать об институте, если я со школой еще не разделался? У Лилии была подруга Эмма, которая любила все яркое, когда она заканчивала туалет, то интенсивность цветовой гаммы достигала такого накала, что, казалось, Эмма добровольно взошла на костер. Была она худа и некрасива, но покоренный оперением офицер предложил ей руку и сердце, презрев перспективу аутодафе. Анна Петровна называла нас убийцами замедленного действия. Арифметику преподавала Цыбуля (помню только прозвище), это была грузная лысеющая женщина, в отличие от Эммы никакого интереса к своему туалету не проявлявшая. Но когда отпетый хулиган Иванов нарисовал ей на стуле мелом свастику и обвел ее кружком, а она обрушила свой космический зад на сидение... Случился неизвестный академику Сахарову взрыв водородной бомбы. Услужливая Нона сообщила почтенной матроне, когда та с трудом встала, чтобы нацарапать на доске очередное математическое зверство, об оригинальном тиснении на ее крупе. Цыбуля рванулась к Иванову (здесь она полагалась на знание априори) с таким громовым ревом, так страшно растопырив испачканные, пока только мелом, руки, что хулиган дрогнул перед стареющей барышней и начал бегать от нее по всему классу. Эта клоунада, однако, скоро закончилась, запыхавшаяся Цыбуля позвала на помощь верзилу Бубенцева (сейчас он женат, у него трое детей), вдвоем они загнали Иванова в угол, и грубая математичка несколько раз с наслаждением трахнула начинающего символиста головой о стенку. Пардон, я забыл рассказать, что в первом классе у нас был замечательный мальчик Боря Муратов, он плохо знал русский и еще хуже соображал, он так и не выучил семь нот и был единственным человеком, умудрившимся получить в четверти (хорошее слово, с большим алкогольным подтекстом) двойку по пению. Он был длинным, из гимнастерки (такова была школьная форма) торчала не менее длинная шея, которую несколько порттила крошечная голова. Глядя на эту голову, всегда хотелось пить: сразу почему-то пересыхало во рту. А еще был мальчик с огромной головой (водянка), когда этому учащемуся предложили срочно принести кал в спичечной коробке для анализа, он долго выпытывал у юной медсестры, что же это такое. Потом он (мальчик) бесследно исчез.

Но самым совершенным уродом в этом паноптикуме был я. Съел тарелку рассольника. Особыми физическими изъятиями не обладал, но было в моем поведении нечто, что настораживало видавших виды педелей и заставляло смотреть на меня иначе, чем на других детей. Во всяком случае, я был единственным, кого вызывали на педсовет по причине дурного глаза.

Когда на площадях и в тишине келейной мы сходим медленно с ума. Хороший тон — сумасшествие. Порядочный человек непременно безумен. У Анны Петровны была дочь, беленькая, тихая, незаметная поганочка. Коля пригласил ее к нашему столику, рассчитывая угодить любителю сумеречных настроений. Но поганочка пила вино столь охотно и прилежно, что вскоре превратилась в розовую сыроежку. И Коля, конечно, поужинал грибами. Он повез ее к себе на Зверинскую, они не выходили из квартиры четверо суток, у соседей сыпалась штукатурка. Пенсионеры шутили: молодость с нами!

Таким образом, эксперимент продолжается, пью чай. Пока предки отца строили генетическую цепь на Востоке, предки матери шлялись где-то на Севере (так мне кажется) вместе с чудью, потом обосновались в СПб, и мой прадед повел первый трамвай желания. Там было все — пьяницы, революционеры, самоубийцы, пропавшие без вести.

Откуда-то с потолка (хотя, впрочем, см. выше) на подоконник все время сыплется песок. Что-то жарко. Стол стоит прямо у самого окна. Солнце светит в глаза, как на очной ставке. Текст чувствует это весеннее тепло. Он развивается подобно живому организму, по законам заложенной внутри него структуры. Читатель выступает в роли повитухи, перерезающей пуповину между автором и текстом. После этого текст шагает сам.

Опять спад активности. Вялость мысли. Устал, что ли? Выдохся? Да, Троллоп из меня не получился. Что дальше-то делать? Коля как-то пришел к сыроежке на работу. Она даже не взглянула на него. Короткая стрижка. Стала совсем суфражистка. У писателя не должно быть времени, чтобы подумать. Подумать — значит соглать (см. у Тютчева). Темп, темп, и еще много-много раз темп. Конвейер. Поточная линия. Система потогонная Тейлора. Я — экономист, двадцать лет, третий курс, не останавливаться. Только вперед. Туда. Туда вперед на анапский пляж, в солнечный Гурзуф, Аю-Даг... Уф! нестись вдоль словесных массивов на задроченном Пегасе и вырывать образы из темной ленты памяти Крэппа. Танцы на пишущей машинке. Я композитор, я дирижер (между прочим, слово дирижер на всякий случай посмотрел в словаре) славянской словесности. Аллюр три креста. Т-п-п-ру!

На педсовет моего отца вызвали потому, что как-то не так смотрел на учителей. Одна дама, она преподавала ботанику, сказала, что ей даже неудобно и не по себе становится, когда я на нее смотрю. Меня долго корили. Учительница географии сказала: с тех как Боря (это я, № паспорта 743553) переехал в отдельную квартиру (это случилось в 63 году XX века), он стал хуже. Учительница немецкого языка (ее муж был капитаном дальнего плавания) Ида Федотовна после этих слов жалобно хрюкнула и попросила разрешения покинуть высокое собрание. Родители так и не поняли, что им следует предпринять для спасения сына. То ли переехать назад в коммуналку, то ли отправить на перевоспитание в лагерь пока пионерский. В конце концов, они купили новую оправу для очков, и учителя перестали.

Весной вот уже второй год на теле появляются какие-то пятна неприятные. От пота? Несколько лет подряд сплю, не раздеваясь каждую третью (или если повезет чуть-чуть четвертую) ночь. А это очень противно. Утром стою под душем, когда не надо сразу после работы бежать на халтуру. Иногда начинаешь смотреть на себя с некоторой брезгливостью, как если бы был жабой из близлежащего болота. Отстранение. Это хамский лозунг насчет человека, жаба — звучит не менее гордо. Инфузория, чем она виновата, что она инфузория, и чем виноват я, что я человек. Несколько миллиграммов слизи — и вот, извольте, радуйтесь, печатайте на машинке, а что тут скажешь?..

ЧАО! Пора собираться на работу. Опять спать одетым. Не хочется обрывать сегодня повествование на тринадцатой странице. Сыроежка все-таки родила от Коли мальчика. Он вырос, прочел эту книгу и убил автора кирпичом. Тогда я написал несколько рассказов о Петре Сергеевиче. Данное сочинение содержит в себе, кроме настоящего текста, прошлые, будущие и несуществующие тексты. В конце книги будет помещен ее план, сейчас я не смогу его поместить, ибо он никому не известен.

Петр Сергеевич в свое время повздорил с Николенькой из-за сыроежки. Петр Сергеевич не был сторонником полиандрии, он тоже принимал по утрам холодный душ и делал гимнастику, еще писал стихи, в которых героически рифмовал окружающий мир. Потом случилось непоправимое: став героем моих рассказов, Петр Сергеевич спился с круга и попал в лечебницу. Мы с Колей навещали его. Приносили ему фантики (он стал их коллекционировать, симптом педофилии). Из окон смотрели фанатики, на окнах были решетки. А дети на улицах ели эскимо и не знали, что их ждет.

В Анапе попал в страшный переплет. Приехал туда по распределению, в работе мне отказали. В гостиницу не устроили. Бабки-

тетки не хотели сдавать койку одинокому мужчине. Я уломал какого-то старика, и он сдал мне двуспальную кровать. Старец жил в общежитии женском винзавода, кругом бегали загорелые упитанные бабы. У него в этом лупанарии была отдельная комната. Я тут же рухнул в постель и уснул. На следующий день старичок рассказал мне всю свою жизнь. Об этом позже. Сейчас нет времени.

Через тридцать пять минут надо выйти из дому, сесть на автобус, проехать три остановки и войти в сад, где бронзовый человек держит руку в кармане. Этот феникс еще почище медного всадника.

III

Стоит ли связываться с Петром Сергеевичем, оставим его пока в покое. Был такой слесарь Миша, огромный детина, отец тридцати трех детей. Вместо губ у него болтались здоровенные куски мяса (одной такой губы вполне хватило бы на приличный эскалоп). Ни с того, ни с сего повадился ходить ко мне по ночам на работу. Приходил в час ночи, а уходил в четыре (благо жил рядом). Миша рассказывал разные случаи из своей жизни. Эти рассказы отличались крайним физиологизмом. Одну ночь новоявленная Шехерезада посвятила историям из армейского быта. Он нашел в расположении части спящую в стогу Данаю. Будучи плохо ориентирован в мифологии, Миша не обрушил на возлежащую богиню золотой дождь, но официальным голосом предложил незнакомке покинуть объект. Девушка предложила ченч, в обмен на еду, она сдавала Мише в аренду лоно. Ей было лет семнадцать. Недавно вышла из колонии. В результате десятков солдат подцепили триппер. В другой раз, в другую ночь, моя Шехерезада детально описывала свои ощущения при различных болезнях. Он пил портвейн стаканами. Бесперывно матерился. После этих камланий чувствовал себя скверно. Иногда Миша менял жанр, переходил от арабской сказки к платоновскому диалогу. Вопросы-допросы пролетарского Сократа не отличались тематическим разнообразием. Пью ли я? Сколько пью? С кем пью? Что пью? Где пью? Сплю ли с женщинами? Как часто? Получаю ли от этого удовольствие? Этот птичий вопросник (пью-пью-плю-плю) не был невинным щебетом любознательного алкоголика. Слесари-коллеги поведали мне, что Мишу домой из вытрезвителя привозили не «волге» и денег за проезд не брали. Однажды эти афинские ночи омрачились скандалом Михаила с бывшим старпомом Алмазовым, дело чуть не закончилось дракой, хотя оба еле держались на ногах. Наконец ушли. Я облегченно вздохнул и потянулся, было к книге... Резкий звонок! Не прошло и трех минут, как Миша вернулся один. Он попросил у меня лопату.

Час ночи, январь, холод. Зачем тебе лопата, изумился я. Не твое дело, окрысилась Шехерезада. Я же все понял: УБИЙСТВО! Во дворе он прикончил Алмазова, а труп закопал в снег. Всю ночь не спал, представляя грядущее следствие, в котором покровительствующие слесарю, власти делают из меня козла отпущения... К утру в своих фантазиях я уже дошел до суда и смертного приговора. В семь часов кошмару пришел конец. Явился Михаил-архангел, взял лопату, выкопал из сугроба бутылку и отсалютовал розовоперстой Эос стаканом бормотухи.

Петр Сергеевич снова пришел в голову, изыди, сатана!

Меня родило точно посередине двадцатого века. Тогда жили в большом сером доме на Петроградской стороне, по всему фасаду которого тянулись лепные херувимчики. Наша семья обитала в бывшем кабинете хозяина квартиры. Я спал на раскладушке.

Текст — самоорганизующаяся система.

Помню дачу в Озерках. Неподалеку был аэродром. Однажды летчик решил меня прокатить. Мы залезли в самолет, но тут погода испортилась. Помню серебряные табуретки, стоящие по бокам в самолете. Но ведь никаких таких табуреток быть не могло. И еще помню, как меня били за разбитую чашку, а они говорят, не было. И еще помню огромную комнату ростом с Исаакиевский собор, я сижу на полу и играю, а где-то очень далеко, метров за сто, постель, в которой спят отец и мать. Ночь. Говорили, что я перепутал день с ночью.

Одуряющая жара. Лето. Пью кофе на Малой Садовой. От субъекта, стоящего рядом, разит мочой. Черный потрепанный костюм, лет сорок. Пританцовывая, пьет вторую чашку наикрепчайшего четверного кофе за 14 копеек (это было в начале семидесятых). Говорит вслух, обращаясь сам к себе: сейчас надо писать! Пойти домой и писать! Что это? Неужели воспоминание о будущем?

В той старой квартире был еще белый и толстый кот Дима и шкура рыжей лисы, с помощью которой (лисы боялся) владелица кота выпроваживала меня, когда я надоедал. А потом умер Сталин.

Вот вы читаете сейчас этот текст, и вам безразлично, как все это появлялось на свет. Но если бы вы знали, как жарко! Коля вытер вспотевшее лицо полотенцем и сочувственно посмотрел на меня. Экваториальная Африка. Самовар. Пигмеи. Завтра встану в шесть утра и пойду на халтуру. За что, Господи, за что? Вчера, закрывая за мной дверь, мать спросила, часто ли я бороду мою, и пояснила, у дяди Зямы на работе есть один парень бородатый и волосатый, так от него так воняет!

У Соллогуба были тяжелые сны, а у меня халтурные. Темный длинный коридор, ничего не видно, очки можно выбросить. Пробираюсь на ощупь. Наталкиваюсь на живое. Это я. Теперь нас трое: я, Он, ОНО. Потом заснули. Встал (встали), движемся. Пахнет крысами. Нам снятся сны. Надо быть благодарным. Цеплял зубами за руки. Волосатые пальцы во рту. Кровь теплая еще на подбородке. Слышу вопль. Это внутренний голос. Может коридор не длинный, но замкнутый. Ключья света. Большая смерть до и после. Падаем вверх. Сначала.

Мерзкое, скользкое розовое существо с пятью различными по длине отростками, покрытое черными редкими волосками, вдруг прилипло к моей ладони. Рукопожатие. Главное не закричать. Ты не виноват. Ты должен только ждать. Надо перестать бояться. Самое страшное уже позади. Их больше и больше. Звуки вырываются из красной и влажной ямы, в которой мелькает что-то похожее на червя. Туда льют прозрачное. Только не вылезать из кресла. Сидеть. Сопят и стараются не смотреть. Сейчас, наверное, начнут. Закрывать глаза и приготовиться. Закрывать глаза и приг...

Ждать смерти. Упорно и терпеливо ждать смерти, сидя ночами в старом продавленном кресле, покрытом китайским плащом, положив ноги на стул и запрокинув голову.

Создать такую конструкцию, которая бы вобрала в себя все.

Напечатав страницу 18, я было решил, что на сегодня хватит. Но мысль о Лакснесе, которого надо читать, заставила вновь прибегнуть к испытанному наркотику. Только что печатать? Впрочем, у меня есть в запасе одна грязная история...

Случилось мне однажды ехать под землей вместе с Пожирателем. Разоткровенничавшись, поведал я ни с того ни с сего о своем символе веры: две лягушки попали в кувшин с молоком и т.д. Под мраморным айсбергом лба сверкнул пламень, пугливо оглянувшись по сторонам, Пожиратель прошептал на ухо прерывающимся от сдержанного негодования голосом: опомнитесь, любезный, так ведь то было молоко...

IV

В три часа должна была позвонить любовница. Сейчас двадцать минут четвертого, не звонит. Вымыл голову и бороду тоже. Решил попечатать. Наташа Кумач хромала, была толста и психически нездорова. Когда ее вызывали к доске, лицо сводило судорогой, рот ехал в сторону среднего уха, и оттуда наружу вырывались только шипящие. Крученных это действо могло бы понравиться. Однако учителя наши были далеки от идей русского футуризма. Руко-

водствуясь духом и буквой этого направления: тезка графини Ростовой однажды так съездила по физиономии соседу по парте, что разбила ему губу. Сергей хмуро утирал кровь и объяснял свое непротивление биологическими причинами: ну, что я с ней, калекой, связываться буду. Выглядела эта Кумач лет на сорок, казалось, что она вечно пребывает в бальзаковском возрасте, как бы законсервировалась в ледниковом климатическом периоде. В шестом или седьмом классе я влюбился. Предмет, на котором мое либидо решило себя зафиксировать, был на головы две выше меня и раза в три тяжелее. Однако, несмотря на разницу в пропорциях, мне удалось в темноте подержать ее за руку (фильм назывался «Королева бензоколонки»). Три дня ходил сам не свой от счастья, потом вырезал инициалы предмета на подоконнике, на деревьях, на родительском собрании Анна Петровна Каренина оповестила присутствующих, что я влюблен во Фру-Фру. Я не вру. Без двадцати четыре. Она работает в операционной, помогает пациентам умирать и находить сознание, Читает только детективы. Дома у нее безвылазно сидит старуха мать, а у меня родители. Совершенно негде обменяться генетической информацией.

Записная книжка очень старая, вот-вот развалится, иногда листочки с фамилиями, телефонами и адресами бесследно исчезают. Листопад памяти.

В Африке трахайся, где хочешь — тепло, но можно нарваться на скорпиона. Анапского скорпиона звали Иваном Фомичом Равенским. Вот стихи его сочинения. Воспроизвожу автограф.

Собственное сочинение Р.И.Ф.

Автор Равенский Иван Фомич

к-р стр-роты к-ап-н

Подпись %Равенский

Четыре часа. Надула! А теперь собственно стихи.

Шпион

Шла девица за водой.

Оказалась с бородой.

Шпик девицей нарядился.

В контрразведке очутился.

Шпион задержан контрразведкой.

Случай этот очень редкий.

Шпик разведчик таковой.

Поплатился головой.

Шпик с Америки приехал.
И к родным своим заехал.
А родные те его
Отказались от него.

30.07.68.

У него один глаз заплыл кровью, дышит со свистом, туберкулез. 70 лет. Да, адюльтер не состоялся. Расскажу о двух днях, проведенных в Анапе. Когда прибыли на (позвонила!) квартиру, первым делом потребовал паспорт. А вдруг из милиции придут, а может ты «шпиен»? А чего паспорт просрочен? Да вот, посмотрите, продлен! Так, так, это хорошо, что продлен, а то я в НКВД работал, порядки знаю. Дочь 19 лет замужем. Сын инженер Астрахань. У старика на голове грязная соломенная шляпа, глаза слезятся, время от времени достает из кармана кусок газеты и метко плюет в него, сворачивает и кладет в другой карман. Жарко, да не в Анапе, кретин, а здесь! Печатать жарко, несмотря на открытую форточку, он был командиром дивизии (отряда, что лучше? можете выбрать по вкусу) у Чапаева. При объезде постов избил в кровь нагайкой спящих часовых. Чапаев сделал замечание: почему не расстрелял? В день, когда мифологический Петька лишил мифологической девственности Анку-пулеметчицу, Фомич выиграл в карты наган у бывшего поповича (ныне красного командира), но пожалел, отдал. Чапай, узнав об этом, сказал: зря ты ему наган отдал, надо было мне его принести, я бы его гада... Я думал, ты меня высеешь, Василий Иванович, за то, что я в карты играл. Я бы тебя не высек, а вот его, пожалуй, к стенке. Он их любил, как собака кошку. Тут как раз пришла дама, и мы с ней успели до прихода родителей обменяться генетической информацией. В Ташкенте, на маскараде (учился в там школе красных командиров), заманила баба, вся в золоте была, повела в садик, и вдруг с двух сторон люди в белом и масках, сиганул от них через стенку, не зря учили прыгать через препятствия. Начальником туркестанского фронта был генерал Васильев, ему 75 лет, а любовнице 23, не хотела спать с ним, была уборщицей в штабе. Полька (или полка?). Второй обмен мы производили уже при родителях, стараясь произвести как можно меньше шума. Наши джинсы были взаимно приспущены. Обувь мы решились снять. Эх! галифе красивые были, две пары самых лучших сапог, одни красные — генеральские, я богатый был тогда, в карты выиграл два мешка денег и бриллианты, кольца. Лампочка висит низко над столом. Абажур из газеты. Все покрыто бумагой — от мух. Чапай, жаль, речку не переплыл, а то пенсия больно маленькая. 45 рублей.

Пожиратель чесал голову обеими руками, громко зевал, засыпал, сидя на стуле, голова падала. Когда она ударялась о стол, он повизгивал по-собачьи и глотал слюну. Просыпаясь, удивленно смотрел по сторонам, а я кричал ему: спи, идиот, спи!

Вдохновение — удел дилетантов, талантливые люди скорее просто потеют.

По телевизору забили гол. Помню, возвращались из школы. Подошел совершенно пьяный парень и предложил купить у него ксиву (паспорт), мы сказали, что паспорт нам ни к чему, нам еще 16 лет нет. Вдруг парень переключился персонально на меня: ну, что смотришь (мат), сейчас возьму кирпич и убью (мат), он действительно взял камень и долго еще кричал, размахивая у меня перед носом орудием пролетариата. В тот день понял, почему вызывали на педсовет. Я человек, торчащий сам по себе.

Третий класс. Все идем куда-то по улице. Парами. Я иду вместе с Володиным. А сзади Женя (покойный) и Лузгин (второгодник). Они расписывают с красочными подробностями перспективы моей жизни в Америке. Жестами, звуками и мимикой изображают, как я вкушаю там говно на обед, завтрак и ужин. Дети смеются. Один Володин из солидарности хранит молчание. Сука, Троцкий, приказал расстреливать через трибунал, а это волокита, могут и не расстрелять. Фомич заходится в очередном пароксизме кашля. Кефиру час настал — 21.00. По телевизору программа «Время».

Чашка дымилась, за окном падал снег, отец стирал в ванной, мать гладила. Петр Сергеевич осторожно закрыл глаза, потом снова неторопливо открыл их, ничего не изменилось: за окном падал снег, отец стирал в ванной, мать гладила. Он встал и начал ходить по комнате. Посмотрел на книги в шкафу. Открыл карманную Библию. Зевнул и положил ее на место. Взял со стола газету. Прочел несколько строк. Вяло выругался, налил еще чаю. Брился долго и тщательно, словно собирался пойти куда-нибудь. Потом разделся и встал под душ.

И все-таки не удержался, зачем П.С.-то сюда сунул? Мало тебе, что ли? Говоря откровенно, не уверен, что завтра не заброшу это сочинение. Но кто уверен в своем завтра?

Зина Квадратова следующим образом описывала эпилептический припадок, происшедший с ее одноклассницей: дрищет и блюет, дрищет и блюет. Была она белобрыса, некрасива и вульгарна. Похожа на козу. Но она позволяла хватать себя за грудь и прочие, интересные для юношеских гормонов части. Тогда это называлось «зажимать».

Кефир пролил вовнутрь, а не наоборот, как следовало бы, исходя из предыдущего абзаца. В моих детских сексуальных фантазиях

Зина Квадратова делила пальму первенства со Стефанией Сандрелли.

Хочется спать. На сегодня хватит. Спокойной ночи, камыши.

V

Выработался условный рефлекс: как только солнце оказывается прямо против окна и сидеть за письменным столом оказывается невыносимо из-за жары, я тут же принимаюсь писать эту книгу. Сочинение, напоенное радиацией до мозга костей. Во дворе переливы гармошки, переборы коленчатой тьмы. На деревьях зазеленели клейкие зеленые листочки, а ля Иван Карамазов. Как это будет нижегородски? Из газетных обрывков с чахоточными плевками Ивана Фомича со временем выползали мохнатые синие гусеницы с патриотическими текстами на спинах. На одной из них было написано: десять часов утра, звонит телефон, с трудом проглотив остатки бутерброда, выдавливаю из себя маловнятное «Алле», слышу голос приятеля, ну что, падла, все морковку жрешь, все равно, сука, скоро ослепнешь. Шутка. Договариваемся о встрече у «Академкинги». Взяли в плен. Допрашивали. Врал. Они нагайкой по спине (вот почему у гусениц лозунги!), попросил у часового пить, запер его в чулане, бежал, любовница была учительницей. Сказал вестовому. То же самое, что и холуй. Ты ее зови. Мол, завтра уходим. Да возьми в лавке 3 (три) четверти (хорошее слово четверть!) самогону. Конфет. Закуски. Дал пачку денег. Не считая. Ими все карманы галифе были набиты. Дочь Несси замужем, 19 лет. Она изредка приезжает к отцу в Анапу. Вторую ночь провел скверно. Мысль о том, что сплю на постели Несси, лишала сна. Утром улетел от греха в Симферополь.

По Проппу сказка есть ни что иное, как воспоминание о забытом обряде. Мат — забытая молитва, заклинание? Неужели когда-нибудь станут нецензурными выражения «Господи, помилуй», «Боже мой»?

Некий Гусаков (любимое чадо Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича) в шестом классе достиг едва ли не совершеннолетия. Он был жирен, ленив, но онанизму предавался с такой ненасытной страстью, что учителя не позволяли ему лазить руками даже в парту. Все учебники, тетради и носовой платок он держал на поверхности. Зина Квадратова осчастливила Нильса на всю жизнь, позволив прикоснуться к розе мира. Гусаков после этого ходил за ней по пятам, почти как Муму за Герасимом. Были в гостях две дамы и приятель. Пили кубинский ром. Все быстро запьянели. Приятель-писатель устроил танцы, скоро уединился в соседней комнате с одной из дам (обе были художницы), а потом и вовсе заперся с ней в ванной. По-

другу я спровадил домой и проводил до метро. Когда вернулся, то из ванны раздавались такие чудовищно тяжелые вздохи, словно там спариваются не люди, а бегемоты. Главное же, время позднее, вот-вот должны прийти родители. Стучу костяшками пальцев в дверь, ноль внимания. Тогда снимаю ботинок и начинаю колотить изо всех сил. Для новобрачных динозавров моя истерика, наверное, представлялась легкой музыкой. Тогда я гашу свет. Кажется, это подействовало. Вылезают распаренные, с лицами цвета сырого мяса. Приятель валится на диван и тут же обессиленный засыпает, храпит, сраженный купидоном наповал. Дама полна сил. Она танцует, с мокрых волос на пол капает вода. На третьей минуте эротического танца она падает. Пытаюсь поднять эти восемьдесят килограмм. В очередном порыве страсти гиппопотамша кусает меня за палец (если бы это был другой орган, последствия могли бы быть самыми катастрофическими). Довольно глубокий укус. С трудом бужу приятеля. Уходят. Через пять минут являются родители. С тех пор никаких дней рождений. С этими днями рождения без ванны останешься.

Это не повесть о детстве, не воспоминания... Это факетии, фабльо, шванки или как там еще называется.

Член Гусакова стал гусеницей. От гимнастики (см. выше) у него выросли ноги, и он сбегал, как нос у Гоголя, до Анапы, незаметно прокрался в женское общежитие винзавода и... Нет слов, господа! Нет слов. Несси тоже пострадала от самопередвигающегося члена. Девять месяцев спустя она произвела на свет в глубинах шотландского озера шагающий экскаватор.

Сказали, обеда не будет, будет вечная музыка горохового супа. До ужина еще есть время. Миша-слесарь весьма положительно характеризовал сексуальные способности одной особы. Она была небольшого роста, если не карлица, чуть горбата, некрасива и беспредельно худа. Казалось, эта самочка не выдержит на себе веса обыкновенной кошки. Представить же себе, что это полудетское тело Миша сделал предметом, пригодным для удовлетворения своей ненасытной похоти, и вовсе было невозможно. Он мог запросто раздавить свою партнершу одной гигантской губой. Позвали-таки ужинать. Прерываюсь. Но, как пишет Лесков, в России невозможности нет. Поэтому верю, что слон переспал с бабочкой-капустницей, и при этом даже пыльцы ей с крыльев не стряхнул. В жизни всегда есть место подвигу. Еще один амаркорд. Миша сидит довольный, ковыряет в зубах спичкой и, солидаризируясь с маркизом де Садом, констатирует: ну а мне-то что, в ж..ень, так в ж..ень.

Анна Петровна выскочила из-за письменного стола и, виляя проворно задом, прошла вдоль класса, снова уселась на место (на лице красные пятна): разве хорошие девочки будут так ходить?

С годами голова Бори Муратова уменьшилась до размера грецкого ореха, стоило ему появиться в общественном месте, как у автоматов с газированной водой выстраивались огромные очереди. Наиболее впечатлительные люди после встречи с ним попадали в водолечебницу. П.С. называл их муратовцами. Николай мечтал о переброске Б.М. на запад, используя его незаурядную голову в рекламе колы, можно было бы заработать неплохие деньги.

VI

Сапог сыграл в судьбе автора, равно как и этой книги, решающую роль. Во время Отечественной войны-2 моего будущего отца контузило и засыпало землей. На поверхности остался торчать один сапог, проходящий мимо солдат Швейк, соблазнился им, но, потянув сапог, вытащил заодно и моего отца. Обнаружив, что лейтенант еще дышит, снес его в медсанбат. За доставленного в лазарет офицера полагался дополнительный отпуск. Мне было лет пять, пошли в баню, а когда вернулись из парилки, обнаружили, что мои ботиночки сперли. Обрато отец нес меня на руках. В детском обувном магазине на Большом проспекте П.С. (Петр Сергеевич к этой аббревиатуре никакого отношения не имеет) в конце пятидесятых годов стояла рентгеновская установка, и продавцы смотрели через нее, мала ребенку обувь или нет... Не знаю, куда дели продавцов, но установку вскоре убрали, и человек полетел в космос. В этот день с бабушкой ходил смотреть фильм «Слепой музыкант» по одноименному произведению В.Г. Короленко. Бабушка тоже очень плохо видела (мы всегда садились на первый ряд), была инвалидом второй группы и плела шнуры для парашютов в артели. Слово аббревиатура решил проверить, взял орфографический словарь и уронил на пол часы (они на нем лежали), часы ходят, но стрелка секундная отвалилась. Таким образом, я плавно перешел из торопыги века XX в позднее средневековье (см. книгу Гуревича «Категории средневековой культуры»). Теперь спешить некуда.

Бабушка меня очень любила, хотя козликом я не был. У нее было пять живых дочерей (в силу экономических обстоятельств еще с десяток субъектов так и не получили земного воплощения), одна из них — моя мать. Во время войны бабушка с дочерьми эвакуировалась в Кировскую (бывшую Вятскую, там ссыльный Салтыков командовал) область. Им пришлось вначале очень туго, ходили по дворам и собирали милостыню. Деревенские презирали городских, и подаяние было мизерным. Потом моя мать устроилась работать мытарем, дела семейства поправились, бабушка и дочери выжили. Выжить в России в то время — это было то же самое, что стать миллионером

в Америке. И я, таким образом, выжил еще раз. Спусковые механизмы судьбы сработали без осечки, и очередное перерождение надвигалось неотвратимо. Бабушка, кроме меня, любила еще и выпить. Жизнь у нее была тяжелая. Муж пропал без вести во время войны (у Анны Петровны не было мужа, а у ботанички был). После революции бабушка работала уборщицей, как-то вызвало начальство и стало о родственниках расспрашивать, фамилия-то Гагарина. Вдруг голубая кровь им полы драит, а не честная пролетарка. Вот так был разрешен половой вопрос в России.

VII

Это сочинение растет подобно дереву сразу (одновременно) во множество сторон, часы сдал в мастерскую. Мне их починили, но когда принес домой, оказалось, они ходят в течение пяти минут, потом останавливаются, если немного перевести стрелку, начинают идти снова, чтобы через пять минут встать. Пять минут, пять минут, разобратся если строго, то, что это за период такой, не равен ли он одному абзацу?

Вот еще одно яркое воспоминание козьявки. Мне четыре года. Я в гостях у бабушки. Мужа одной из ее дочерей, таксиста, вызвали на лестничную площадку какие-то знакомые ханыги. Пошли разборки, началась драка. Ханьги в соответствии с традицией пятидесятих вытащили опасные бритвы. Бабушка выскочила на лестницу и пыталась помешать закончить зятя. Я стоял в прихожей и смотрел в раскрытую дверь на происходящее. Бабушка была в красной вязаной кофте, она была значительно ниже ростом дерущихся мужиков и поэтому чуть ли не подпрыгивала, пытаясь схватить их за руки с бритвами. Все что-то кричали. Потом таксист валялся на кровати, его таки слегка порезали, тетка, придя с работы, заламывала руки и причитала: Ванечка, что они с тобой сделали! Но все обошлось благополучно, дядя Ваня скоро ушел от тетки, а тетка повесилась двадцать лет спустя, она страдала эпилепсией, такой финал типичен при этой болезни. Когда тетка повесилась, к нам пришли ночевать ее сестра с мужем. Они боялись оставаться одни в квартире, бабушка к этому времени уже умерла. Муж был алкоголик, он сидел в тюрьме, и звали его Витей. На одной лопатке у него был вытатуирован Маркс, на другой — Ленин. Он смотрел в телевизор и повторял без конца, сильно заикаясь: д-д-верь в ва-ва-ванную с-с-сло-ма-ма-мали, а о-о-она висит и я-я-язык по-по-показывает.

Я не питаю иллюзий, знаю, никому не интересно то, что я пишу. Но разве я пишу для других? Вот в чем вопрос. Другие — это мое небытие, это страшно далеко — другие, это где-то на том свете. Сейчас существует только белый машинописный лист и пальцы, касаю-

щиеся клавиш. Я не вижу выражения собственного лица, и тем более не знаю (он-то, может быть, и знает), какую комбинацию букв в следующую секунду наберут мои руки, и точно ли знала моя тетка, что она делает, когда отбрасывала табуретку. Человек рожден для незнания, как птица для полета. Слова честнее своего смысла.

Несси, любимая жена Федора.

Один год учился в вечерней школе и не работал. Это было очень хорошее время. На занятия надо было ходить три раза в неделю. Много читал и гулял. Пятнадцать лет. В юности каждый человек имеет возможность провидеть будущую жизнь. Со мной это произошло после окончания 9 класса, когда поехал с родителями на дачу к одним знакомым. Тогда власти проводили очередную акцию по конфискации всего приобретенного на нетрудовые доходы. У наших знакомых вот-вот должны были отобрать дачу, они доживали в ней последние недели, поэтому, против обыкновения, дача на лето не сдавалась. Кроме владельцев и нас в огромном доме больше никто не жил. Все дни проводил с книгой в гамаке. Хозяйева без конца потчевали клубникой — все равно пропадать! Целый месяц был предоставлен себе, никто не мешал часами лежать в гамаке и читать... Это было прекрасно! В то лето постиг, будущее мрачно. Надо искать забвение.

Мыльный шар воображения болтался над Атлантическим океаном. Коля сидел в корзине, читал «Монахиню» Дидро, запивая содержание кока-колой (на этикетке красовалась головка Бори Муратова). В опустевшую бутылку Николя положил письмо, горлышко заткнул пробкой, залил сургучом и бросил в море, т.е. океан, извините.

Это не книга, это опара какая-то (поначалу хороша), а перепечатывать эту галиматью мне же самому придется. Да. И вот чистовик готов. Несу его знакомому на прочтение. А он что? Посмотрит так с пятого на десятое, позевает, пузо почешет, и все. Возьму назад рукопись. Положу куда-нибудь. На нее начнет пыль садиться. Но, по правде говоря, пыль ничего не значит. Важно только одно, важно, что буквы у меня сейчас из-под пальцев как блохи выскакивают, все остальное не в счет, даже смерть.

У истинного поклонника чая желтеет не только слюна, но и одежда, и тело, и душа, и поступки.

Письмо Николя дошло. В лечебнице П.С. его вручила медсестра (а может быть, не медсестра, может быть, мерседес или даже мерседес-бенц из романа папаши-Дюма «Граф Монте-Карло»). У нее была подбита левая фара и несколько помяты крылья. Несмотря на солидный возраст, она еще сохранила обоняние своей бурно проведенной третьей молодости, дягилевских сезонов в Крыжополе и... что вы говорите?! Русская литература. А плевать я хотел на вашу

русскую литературу. Как говорит патриарх, встретишь на дороге Будду, убей Будду. Встретишь на дороге литературу, убей ее, дуру, без промедления, а то, не дай Бог, в классики играть станешь. Чувствуете, дело поживее пошло? Это солнце в окно светить начинается. Павлову — ура!!!

П.С., пользуясь привилегиями душевнобольного, ущипнул сестру Авиценны (или Аверинцева?) за клаксон, издавая басом гневные гудки, Мерседес отправилась в другую палату, нечаянно переехав по дороге Ивана Фомича (занятия поэзией надломили его душу), крови почти не было, только лужа мокроты и две красные тряпочки с множеством мелких отверстий (толь). Уборщица Таня Усупова (пути Господни неисповедимы), пощелкивая на манер Щелкунчика зубными протезами, почесывая отсутствующий бюст, замела легкие Ивана Фомича в угол и вышла под домашний арест уикэнда. П.С. углубился в письмо. Ниже приводится текст письма с некоторыми сокращениями непринципиального характера.

Ницше рекомендовал строить произведение с расчетом на конечную катастрофу, не потому ли книга становится все крошечнее, ужели конец близок?

Ты не обижайся, что я тебе в прошлом месяце ничего не послал, сам понимаешь, товар не тот пошел. Народец хлипкий, мороки с ним много, а толку шиш.

Ходил в субботу в баню. Одна жаба рассказывала. Скоро свету, наконец, конец настанет. Случится это так. Проснутся люди, ноги в тапочки сунут, а в них — варенье. Ну, тут все поймут, даже неграмотные. — Армагеддон-с. По радио музыка будет играть, а люди прощаться начнут с приютившей их планетой.

Из-за леса, из-за гор выйдет дедушка Топор. Иван-царевич на велосипеде приедет из терема. Глаза — огонь, ноздря — рваная. Булат Тур Всеволод Гесер-хан на водных лыжах прикатит. Мчится, брызги шампанского во все стороны, и орет: А-а-ау, а-у-у-у-м-м! О-о-о, Маня, падла, ху-у-ум-м. Телефон зазвонит. Девочка трубку снимет. Мать-змея-сыра-земля ей скажет: съешь, сучка, на завтрак, плавильный сырок, пока я с того света домой не вернулась. Пацанка в слезы (мала еще), я лучше, говорит, в рот у серого волка возьму, чем сырки на завтрак есть.

На том и порешили. Спать легли, а утром опять на работу пошли. А что в тапках варенье, так это дело привычки. Есть у эволюции начало, нет у эволюции конца.

VIII

Одно из двух: или эта книга кончится, или я. Что лучше? Или, как в синхронном плавании, вместе пойдем на дно реки забвения.

Читателю это безразлично, он не отдает себе отчета, что весь с головы до ног отлит согласно формам и рецептам литературы. Без нее эти несчастные обходились бы несколькими десятками слов, касающихся еды, размножения и испражнений. Литература создала вселенную, которая, может быть, и есть цель существования человека. Не время и пространство, а представления о времени и пространстве являются теми единственными реалиями, с которыми люди имеют дело на протяжении всей истории. Мы воспринимаем мир согласно способу наших представлений о нем. Тысячеязыкая литература создает фантастические миры, и то, что кому-то угодно называть реальностью, всего лишь один из этих миров.

На универсальном языке говорит только смерть. Художник берет у нее уроки всю жизнь.

Завтра приглашен на день рождения. Идти не хотел. Но пригласивший сказал, что это последний день рождения, который он празднует в своей жизни. В России обожают все последнее: последний билет, последний экземпляр, последнее слово. Видимо, придется и мне пойти на последний день рождения. Была в нашей кунсткамере и карлица (что-то с сердцем, маленькие ручки почти без ногтей, сильные пальцы, могла пройти под учительским столом с гордо поднятой головой: *no pasaran*). Один субъект, довольно толстый, впоследствии, говорят, стал филологом, хвастался успехом у карлицы, не объясняя, однако, конкретно, в чем этот успех выражался. Он же, проявляя с юношеских лет неутолимую жажду познания, рассказывал всем по секрету, как пытался стянуть со спящей матери (жена офицера с претензией на светскость) штаны, но преуспел в этом эксперименте (дудки, больше в словарь не полезу) лишь наполовину, счастливо избежав, таким образом, судьбы нового Онана. Лицемерие Горгоны-медузы пришлось отложить на потом. Думаю, эта книга так же неожиданно кончится, как началась.

Начиная с 0 (нуля), мы и кончаем 0, но только подходим к нему с другой стороны, вот это путешествие и есть литература. Описание нуля. Надо чаще размышлять о Пустоте как о творческой силе, родственной душе художника. Стихи — вибрации пустоты, ее ритмы.

Если бы люди любили искусство (т.е. природу) больше самих себя, то они научились бы бескорыстию (истинному смыслу всякого художества). Человек слишком агрессивен для космоса, он пребывает еще в плену варварских понятий: борьба противоположностей, космическое право. Почему борьба, почему не балет? И откуда у них право на космос взялось? Вот уж истинно: со свиным рылом не в свои сани не садись.

Но кажется, я отвлекся. Странно, а можно ли в этом сочинении отвлечься? На поминках бабушки я рыдал и пил обильно. Одна из

теток упала на пол и заголосила: я ж ее в морге разрезанной видела! Еле отпилили валерьянкой. В гробу лицо бабушки было ясно и спокойно. Синий платочек. Непривычно было видеть ее без очков. Через несколько недель после смерти бабушка стала часто являться мне на улице. Она делала вид, что не узнает и спешит куда-то по делам. Теперь встречаю ее гораздо реже, но она уже не избегает моих взглядов и один раз даже незаметно (осторожно) махнула рукой.

Петр Сергеевич курил перед зеркалом очередную воображаемую сигару. Ему показалось вдруг, что за последние годы лоб несколько раздался вширь и вглубь. На улице, как всегда, мельтешили ублюдки всех национальностей и возрастов, запомнилась пожилая женщина с фиолетовым пятном на лице и пионер с тремя подбородками, которые, словно ваханки, пышно возлежали на алом шелке. Погрузившись во мрак кинозала, с радостью почувствовал, как осточертевшее «я» начинает растворяться в квадрате ползучих образов. В финале примирившиеся любовники долго целовали диафрагму. Петр Сергеевич любил наблюдать за работой жевательных мускулов в этих ритуальных физиологических этюдах фабрики грез. Скука и безобидная глупость неизменно оказывали на него умиротворяющее действие. Шел дождь, люди возвращались с работ. Он смотрел на серое копошение трудового организма уже без прежней тоски, ибо не знал теперь, что надо им, что надо ему. Все было равно безобразно и безразлично. В телефонной будке его обоняние было нокаутировано смешанным запахом кошачьей и человеческой мочи. Сказала, что сегодня не получится. А когда получится, после дождика в четверг на той неделе? Окурочек со следами помады скрипнул под каблуком. По-волчьи протяжно завывала дверь. У пивного ларька спал освобожденный труд в ватнике и резиновых сапогах. Чернорабочие бы походили на тибетцев, сделал неожиданное открытие Петр Сергеевич, если бы они оголяли левое плечо и не имели дурной привычки по субботам ходить в баню. Потом лежал на диване, диван так провалился посередине, что походил на гамак. Выходной кончился. Ночью кто-то настойчиво окликал его: Илья Ильич!

Шли вдоль набережной Екатерининского канала, и вдруг Пожиратель разразился рецензией, достойной пера Салтыкова-Щедрина: да разве это поэт? Он же шибздик, его соплей можно перешибить!

Часы обещали починить к среде. Боже мой, как все надоело, и этот текст, и эти мысли желтые, можно ли стать чем-то принципиально иным, новым, отличным от бывшего? Можно. Стань трупом.

Уже несколько раз убирал машинку (наверх шкафа), а потом доставал и начинал печатать снова. Гимнастика для графоманов. В молодости сочинил повесть. В форме дневника. Главный герой записывал в нем свои последние дни на земле и первые годы загроб-

ной жизни. Вполне реалистическое произведение было. Мертвецы создали под землей государство и стремились удовлетворить все возрастающие потребности членов коллектива путем расширенного воспроизводства перегноя. Лучшие из лучших по ночам удастайвались прогулки по кладбищу. У них были свои правила гигиены и домашние животные — кишечно-полостные (черви). На пенсию выходили по мере амортизации скелета. Окончательно изношенные скелеты специальная команда увозила в самый дальний конец кладбища. На следующий день они бесследно исчезали. Некоторые трупы полагали, что разрозненные кости (разночинцы) также имеют свои социальные институты... Прочитал эту повесть только одной знакомой, с которой спал одетым, как средневековый новобрачный. У нее был кот ученый, специалист по лобзанию женской груди. Они любили этот фокус показывать. Но по стопам Дурова моя приятельница не пошла, и я уничтожил рукопись.

Собираю книги о захоронениях (древних!!!) и погребальных обрядах. Это очень хорошие тихие книги. Они помогают забыть о мелких неурядицах существования, дают возможность дышать полной грудью даже без услуг кота-специалиста. Школа должна учить ребенка смерти, а не каким-то отдельным дисциплинам. Ей место на кладбище. Федоров был прав. Разрушив древние системы обрядов, и не создав ничего взамен, государство лишило своих подданных балансира, позволявшего сохранять древнему человеку душевное равновесие. Теперь безумие стоит на пороге, а телевизор — не заменит шамана.

Жизнь начиналась в корыте картовою мокрою шепотью, вы замечаете, что это сочинение основательно нашпиговано миндалем? Родом? Однажды поехал в гости к школьному приятелю Дибуну. Московский район. То ли 1 мая, то ли 7 ноября, а может и вовсе 8 марта. К нам подошли четыре парня одних с нами лет. Дибун сказал, что у него денег нет. Я же и в те далекие годы питал нездоровую склонность к цитатам. И сказал, вот, копеечка у меня есть. Простодушные пэтэушники пришли в ярость от такого наглого с их точки зрения ответа. И они не только не безмолвствовали, но и действовали. От первого же удара очки свалились на землю. Приятель в стороне стоял, глядел на небо, как украинский хлопчик, и тоже хотел стать птичкой. Осторожно, очки, заорал я и принялся шарить руками по земле в поисках жизненно важного прибора. Нападающие вняли голосу разума и даже выудили из лужи мое сокровище. Пока их протирал платком, благородные комсомольцы обчистили мои карманы. У близорукого есть только один способ самообороны: самым тяжелым предметом, имеющимся под руками, (лучше всегда носить с собой в портфеле дубинку и первым бить противника по наиболее уяз-

вимой точке тела — предпочтительна голова) и рвать когти. В длительной драке очки непременно будут сбиты, что явится причиной неизбежного поражения. Посему данная тактика является оптимальной (см. также трактаты по военному искусству «Сунь-цзы» и «У-цзы»).

Полезли на чердак. Там было темно. По дороге туда и обратно пересчитал лбом все балки, поддерживающие кровлю. Стукаясь о балку башкой, восклицал патетически: о, черт! Наконец забрезжил свет, душа моя преисполнилась ликованием. Я облегченно вздохнул и тут же трахнулся головой о последнюю балку. С тех пор мой девиз неизменен: не обольщайся. А за это невинное путешествие снизили отметку по поведению. Интересно, что бы они поставили Рембо?

Озабочен проектом установки памятника Каткову, как неизменному возбудителю творческой энергии Салтыкова-Щедрина.

IX

В старой квартире-коммуналке была комната для прислуги. В начале пятидесятых в ней жила дворничиха Нюра. Хоронили кормчего. Женщины варили обеды, а Нюра весь день болталась на кухне, ничего не готовя. Позже она призналась, ей в тот день поручили наблюдать за реакцией жильцов, для чего освободили от ежедневных обязанностей по уборке двора и помойки. Этот же денек чуть не закончился катастрофой для одной из моих теток. Все дети дружно рыдали, но соседка по парте рыдала столь экспрессивно, столь велика была ее скорбь, что она не замечала, как в такт бурным всхлипам из ноздри то появлялась, то убиралась обратно значительных размеров сопля. Этот фокус с соплей произвел на тетку сильное впечатление, и с горних высот трагедии она шмякнулась в низменные хляби комического. Неудержимый смех стал рваться наружу. Несмотря на отроческий возраст, моя родственница понимала всю неуместность веселья в столь тяжелый для всего прогрессивного человечества день — смерть семинариста! Она опустила голову на парту и попыталась трансформировать безудержный смех в глухие рыдания. Заплаканная учительница подошла к ней и принялась гладить по голове. Теткина одноклассница зарыдала еще громче. Сопли ползли по ее подбородку и всей стране.

Анастасия Григорьевна, владелица кота Димы и рыжей лисы, свихнулась под старость. Переехав на новое место жительства (старый дом заняли под учреждение), мы оказались снова в одном доме. Теперь я мог наблюдать с балкона, как она, пряча пакетики с едой, осторожно пробирается к помойке и ссызывает местных кошек на трапезу. В результате они стали бродить вокруг этой помойки и дома табунами. Поэтому Анастасию Григорьевну отовсюду гнали в три шеи,

если заставляли за кормлением своих любимцев. Старуха меняла время и место раздачи лакомств, иногда в пять утра во дворе уже слышалось кис-кис-кис. Она заманивала кошек в самые укромные уголки мироздания и там скармливала им свою пенсию. За несколько дней до смерти, уже почти в невменяемом состоянии бродила по двору, угощая знакомых старух свежей рыбой и мясными обрезками, те становились на четвереньки, подбирали с земли лакомства беззубыми ртами и благодарно мяукали свой реквием.

Курс истории нашей партии читал доцент Лошаков. Когда воодушевление его достигало предела, он выходил из-за кафедры, вдохновенно перебрасывал прядь седых волос с одной стороны лысины на другую, простирая руку к аудитории, не как статуя командора, а другой, более распространенный памятник, и голосом, исполненным отеческой нежности, вопрошал притихших студентов: понима'шь?!

Декан выражением лица походил на лису Анастасии Григорьевны. Он давал ценные указания. Вы присмотритесь к ней (нему), мне кажется, он (она) ненормален. Он-то был нормален: сменил вторую семью и машину.

Пока писал книгу, деревья успели обзавестись солидными шевелюрами. Иван Карамазов может отправляться пить чай к Смердякову. Улица теперь закрыта от меня. Проходящих мимо людей в текст уже не вставишь (женщина в фиолетовом пальто), но звуки вставлять можно. Проехала машина, ребенок сказал нечленораздельное, музыка из дома напротив, писец Бартлби лежит на облаке, поджав ноги к животу.

Женщина в фиолетовом пальто выросла и умерла в деревне. После трех лет лежания в земле, не желая больше участвовать в расширенном воспроизводстве перегноя, утратив коммуникабельность с другими гнилыми, она вышла до срока из могилы и направилась, куда глядели ее глазницы. Украв по дороге пальто и косметику, привела себя в божеский вид и пришла к нашему дому. Так она стала моей Ариной Родионовной. Три года пестовала она мое младенчество, а потом, утирая слезы, вернулась обратно в деревню, где вышла замуж за овдовевшего педагога Карла Игоревича Кадавро. Такое вот кино.

Знаете, иногда я не в состоянии справиться с Ним: поэтому приношу заранее извинения за возможные хронологические, психологические и логические неточности. Он считает, что это вонючее время не заслуживает внимания, и тем более не стоит его придерживать художнику. Да и кто сказал, что оно существует? Бунин писал, нет в мире разных душ, и времени в нем нет. А «Темные аллеи» — очерки Даррелла из сексуальной жизни рептилий. Как будто в террариуме

за толстыми стеклами ящерицы и черепахи после многих веков воздержания, сонной неподвижности, вдруг предаются неистовому соитию, а потом снова расползаются по темным углам эмигрантского зоологического сада. Бунин слишком увяз в классике, чтобы позволить себе быть свободным. Он был брезглив до гениальности, но не сумел воплотить эту гениальность в слове. Жаль, и многие так кастрируют себя в силу предрассудков.

Он ни с чем не считается. Ему безразлично, какие слова употреблять по тому или другому поводу. Он чихать хотел на синтаксис и на такси тоже. Он может стол назвать энсипином, может рисовать с закрытыми глазами и во сне сочинять стихи. Он лучше меня, ибо он больше и глубже, я — только часть себя. Он — я и еще что-то. Переменная облачность. П.С. еще далеко до писца, но и в нем начали формироваться качества небожителя. П.С. перестал дергать Мерседес за клаксон, не обращает больше внимания на клопов и терпеливо выслушивает монологи палатных сожителей. Ему было трудно вспомнить прошлое, о будущем не думал, настоящее не воспринимал. Жизнь сосредоточивалась в глубинах мозга, рассудок в ней не участвовал, поэтому происходящее описать словами было невозможно.

Веня, студент, жил за стенкой. Носил ботинки на толстой подошве и танцевал, когда был дома один, буги-вуги. На полу оставались полосы от ботинок. Мать показывала их соседям. Новый сосед, седой, невысокий мужчина, в силу психологического изъяна имел неприятную привычку громко смеяться ночью. Иногда он ухал филином. Утром здоровался, как ни в чем не бывало. Приемная дочь Анастасии Григорьевны в отличие от Люды Смирновой никак не могла перестать расти, и ходила по квартире едва ли не на четвереньках. До сих пор не замужем. Другая соседка хотела сделать из сына человека. Отпрыск запил, прекратил все контакты с матерью, а потом исчез, погрузившись в волны моря житейского.

Сегодня утром прочел статью о Вельтмане. Краткий пересказ его романов привел меня в экстаз. Это что-то чудовищное. Безумие! ведь он переводил из Махабхараты и Старшей Эдды. Сидел за письменным столом по пятнадцать часов в сутки. Троллоп, и тот не был столь прилежен. Разве что Катков...

День рождения мне дорого обошелся. До пяти лежал на диване, а потом сидел в кресле чуть живой на работе. Блевал желчью и проклинал все на свете.

В это время женщина в фиолетовом пальто выползла из-под буквы «ф» на пишущей машинке и попросила, как батальоны, огня. Пока ходил на кухню за спичками, она, дебилка, залезла в мою рабочую чашку с чаем и, поскольку он был достаточно горяч, сварилась в

нем. На вкус ничего особенного — сарделька... Говяжья. Но тут пришли родственники сварившейся женщины из-под букв «щ» и «ж»: не видел ли я сбежавшей покойницы? Да, конечно, в начале своей карьеры человек был трупоедом, но ведь сейчас-то дело идет к концу. Пока я пытался подавить желудочные спазмы, Николай третировал мою фантазию. Это шще таке, городок в табакерке сочинять вздумал, порви, балбес. Порви, сейчас же порви. Призывы к дефлорации, как и призывы к первому мая, были оставлены мной без внимания. Колю распирало негодование, в сердцах он плюнул на письменный стол. Этого оказалось достаточным, чтобы несчастные «щ» и «ж» захлебнулись под обрушившимся на них водопадом. Так за какие-нибудь пять минут я стал косвенным виновником гибели трех существ. Да ты, брат, Шекспир, сказал Коко и нервно шмыгнул носом.

Это все Его проделки. Это Он надо мной издевается и заставляет сочинять абракадабру вместо нормальных воспоминаний о детстве. Первая книга, прочтенная самостоятельно, оказалась китайской сказкой. До сих пор помню оттуда две совершенно дикие строчки: Когда ветер дует, ветви бамбука танцуют. А вместе с ними танцуют и воробьи. Говорят, скоро воробьям там не поздоровилось. Уже в третьем классе, а может быть и раньше, стал травмировать отца вопросом: Сталин был плохой? Люди его поколения всю жизнь читали газеты для того, чтобы честно стараться забыть о прочитанном 10, 20, 30 или, не дай Бог, больше лет назад. Это такая субкультура забывтья. У отца было три родных брата, все давно умерли: двое от сердца, один от рака.

Х

В мебельном магазине на Большом проспекте П.С. продается кресло-качалка. Но где взять деньги? Хорошо бы еще к качалке купить небольшой замок на острове (как горький Монтень) и обсерваторию устроить наверху, а в подвале типографию. Так жили поэты раньше. Например, Струйский. Когда-то я уже жил в замке, помнится, и библиотека была неплохая... Куда это все подевалось? «Ц» возбудил уголовное дело. Взяли подписку о невыезде. Объявлен розыск непреднамеренного (так я заявил на первом допросе) убийцы Николаи. Лиля... А при чем тут Лиля? Это, в каком веке-то было. Стал забываться, милые. Путаться стал не с теми форточками. Вернулся в комнату с балкона, когда от жары одурел. Плюхнулся на диван, и сонм пылинок взметнулся ввысь. Они купались в солнечных лучах. С одной из них разговорился. Зарплата маленькая. Постоянной прописки не имеют. Главное, стоит какому-нибудь придурку, как

следует дунуть, тут же хочешь, не хочешь, приходится покидать пристанище и снова скитаться, перебиваясь с хлеба на квас. Они страдают хронической дистрофией. Пылинка унеслась в туманную даль. Не знаю, о чем писать дальше. 0+0 — это все равно ноль. На работе всю ночь говорили комары. Уснуть было невозможно, искусили всю морду. Социальные пiski. Эфемерные письки. Недовольство жилищными условиями. Однообразие меню в столовой теплокровных. Везде одно и то же. Пожиратель вместе с шизофреником плевали с Аничкова моста на проходящие под ними суда. Шизо долго копило слюну. Наконец показался речной трамвайчик. Какая-то опрометчивая туристка, задрав голову и вытянув шею, любовалась желтизной правительственных зданий. Ее широко раскрытые глаза жадно вбирали в себя неземную гармонию града Петрова. Стратегический боезапас слюны поразил левый глаз путешественницы. Трамвайчик с вопящей лягушкой скрылся под мостом. Шизо счастливо улыбалось. Еще один день прожит не зря. Абзацев больше не будет. Вся наша жизнь — абзац. Надо экономить бумагу, надо щадить зеленые легкие планеты Ивана Фомича. Два года отдал Петр Сергеевич службе. Приходил на работу в девять, а уходил в шесть. Управляющий быстро раскусил его. Случись война, вас расстреляли бы в первый же день. П.С. скромно потупился. Несси вертели ручками арифмометров и языками. Когда П.С. пытался вставить слово, наступала звенящая тишина. Даже престарелая глухая бухгалтерша прекращала считать на счетах и смотрела с испугом. Он любил поговорить о трудах Радды-Бай, тогда увлекался теософией. Вскоре категорическое «ну вас» научило держать язык за зубами. В субботу читал до одури. В воскресенье сходил с ума: опять на работу! Послали в командировку. Пыльный областной городок с одним кинотеатром и пивным ларьком. Вечером напился. Аборигены смотрели с неприязнью. Скрылся в гостинице, был счастлив вернуться, но утром, о Боже, опять на работу! Он походил на разбитую вазу. Но далеко не все питают страсть к археологии. Сослуживцы П.С. сторонились. Постоянно сбивался в подсчетах. Грозил увольнением. Вечером вместо ужина выпивал бутылку вина. На улице орало пэтэу. Перед сном читал «Мертвые души». Однако, как все это мерзко, думал П.С., засыпая. Снова начал писать стихи, скучные и неуклюжие. Декламировал их перед зеркалом, приходил в экстаз, сквозь щетину сочились соленые капли, отражение шевелило губами — гений. Наконец, случилась болезнь. Лежал, пил чай, читал и блаженствовал. Вечером, тепло одевшись, выбегал за вином. Подогревал его в алюминиевой кастрюльке, добавляя сахар и пряности. Глинтвейн пил из старой чашки с отбитой ручкой и беседовал с тенями на занавесках. Иногда рисовал начальника с отрезанной головой. Остальным дос-

тавалось не меньше. Отпуск. Он никуда не поехал. Сидел дома. Когда приходили гости, морщился. Неужели им так приятна чужая агония, неужели не хватает крови в кино. На живое потянуло! Лакомятся чужими страданиями, как пирожными, дряни! Закрывая дверь, юродствовал, заходите еще. На работе его уже не воспринимали всерьез. Шутили, вам скоро повысят оклад. Рекомендовали жениться, чтобы стать настоящим человеком. Когда приносил бумаги на подпись, управляющий дергался и шипел, вы все еще живы? Пора, давно уже пора вводить курсы бессмыслицы во все учебные заведения мира. Книга — музыкальное произведение. Слова, как и звуки, перетекают из одного в другое, играя при этом солнечными зайчиками смыслов. Отправляют в магазин за молоком и хлебом. Сейчас 10 ч. 35м. Пока мать гладит рубашку, позволю заметить (пришло в голову во время мочеиспускания), русского писателя публика не столько любила читать, сколько хоронить. Помочь при жизни долги заплатить или домик подарить, такого не водилось, а вот когда бедолага ноги протянет, сразу всенародная любовь к покойнику. Тысячные толпы и полиция. Казаки при погребении. Шаткие литературные мостки-подмостки-подростки. В булочной купил конверт, на котором изображен памятник дедушке-обжоре Крылову. Первый раз в жизни испытал алкогольное опьянение именно неподалеку от этого памятника, в Летнем саду. Забалдел от стакана пива (лимонада не было). Родственник (года 3-4) уронил на землю бутерброд. Его отобрали. У родственника истерика (теперь он подполковник), орал ужасно, а я (лет шесть-семь) веселился без меры, еще бы, первый раз в жизни кейф словил. Николай Успенский попросил у приятеля (поэта) ножик (бритву?), чтобы горло себе перерезать (нож самого Успенского был слишком тупым для этого типа харакири), а приятель (поэт) сказал, ничего, и со своим хорошо управисься. И действительно, Николай справился. Русские писатели-самураи. Однажды П.С. поручили утром открыть контору. Естественно, ключ застрял в замке. Начали собираться служащие. Февраль месяц. Вслед за клубами пара монументальные проклятия обволакивали окоченевшего П.С. Вскоре его совсем не стало видно, а дверь открыли ломом. 12 лет мотался Александр Фомич по Бессарабии, пока не разразился «Странником». Собственное сочинение В.А.Ф. Полноценное произведение может возникнуть только тогда, когда писатель подойдет к краю могилы, вот с этим темным и грозным читателем начинается он диалог, который потусторонние воспринимают как сочинительство. Самые предельные состояния духа в конце концов оказываются только ступеньками лестницы, мы умираем на каждой ступеньке, чтобы заново родиться на следующей. Тайна радости. Мои действия, танцы (их любил Ницше), производимые на этой бумаге. Буквы, вылетающие

из пращи мозга. Слова, падающие в безмолвие. Господи, ты?.. я, Господи, и Он. Непонятно? Он, так безжалостно смеющийся, загоняющий в темные лабиринты подсознания, выбивающий из рук предметы, их названия и смыслы. Он, что это? Третья патетическая? Лирика. Струнья. Гонорея. Боря Муратов. Писец Бартоби. П.С. Все движется в темноте. На ощупь. Куда-то. Квадраты дао Малевича. Нет желания печатать. Гнусно. Мокрые губы, с приставшими к ним крошками табака. Волосы под и над. Голоса из России. Станция Бездна. Станция Пах. Полное преодоление космологического эгоцентризма. Вонь. Деться некуда. Ноги и руки. Череп и душа. Каша. Пожиратель подарил новую фамилию: И.Е.Застенкер (автор примечаний в собрании сочинений Герцена). Голова из России. Флоренский. Что еще придет на ум? По преданию, порох изобрел монах Шварц. Тьма да тьма кругом. А что за тьмой? За тьмой ОНО. В этом наилучшем из миров все и вся связано друг с другом. Случайностей нет. Гуси-лебеди. Ад от слова «падать» или наоборот. Вдруг на кухне услышал страшный шум: воробей залетел через Бориса Леонидовича, а обратно найти дороги не мог. Отчаянно бился о стекло. Поймал его шляпой. Сердце у птахи билось по-сумасшедшему. Смерть как дорога домой. И тоже — сердце. Огонь и я. Быть ветром без всяких там дырок, кишок и волосяного покрова. В конторе была телефонистка молодая девица, некрасивая, никто ей в пору дождливую пальто на плечи не накидывал, она страдала недержанием мочи. Коммутатор находился на чердаке, а туалет в подвале (пять этажей!), телефонистка не успевала добежать вовремя. Там же на верхотуре был актовый залчик. Здесь проводились собрания трудового коллектива. Едва лучшая часть человечества рассаживалась на скрипучих стульях («стульный ряд» — перл Исаича из романа «В круте первом»), как начинали щелкать сумочки и появляться платочки. В платочках укрывались напудренные носики. Драмы страдальчески морщились, глядя на открытую из-за жары дверь конуры телефонистки. В конце концов какая-нибудь общественница приказывала мочепенной девушке из якутского фольклора закрыть дверь поплотнее. Еще Пожиратель рассказывал, как выступал с коллегами перед студентами медицинского института. Благодарная слушательница повела их за это на экскурсию в морг. Из больших цинковых чанов высовывались отрезанные руки, ноги, половые органы. Пожиратель приподнял крышку длинного ящика, стоявшего в дальнем углу подвала, и заорал. Там лежали, тесно прижавшись друг к другу, два трупа с обритыми наголо головами и красными дырками в затылках. Крышка с грохотом упала на металлический ящик. И долго еще что-то звенело в прохладном подвале. И музыка, и слово. Учиться безмолвию у камня и текучести у воды. Мистики — всегда чистые реалисты. Еще расска-

зывала бабушка, до революции хобби одной родственницы, придерживающейся прогрессивных взглядов, состояло в протыкании булавкой глаз у представителей царской фамилии. Как писал когда-то Карамзин, народ еще любит кровь царскую. Периодически отец ни с того ни с сего напевает, ехала китаела, ехала малаела на Дальний Восток, увидела китаела, увидела малаела, и сказала: здравствуй, браток. Этот рефрен сопровождает меня с младенчества. Бормотанье неизвестной величины о неизвестных величинах. Была черепаха у меня в детстве, которая, как П.С., никого ни о чем не просила. Лежала себе тихо под шкафом или диваном. Приходилось ее вытаскивать на свет Божий шваброй. Потом мы взяли ее с собой на дачу, и она удрала. Стала странником. Где же конец, спрашивает меня одно млекопитающее из котельной с Хайдеггером подмышкой. Это газооператорское чудо любило в носу ковырять, ведя нескончаемые философские беседы. Извлечет из черной дыры комочек зеленоватой слизи, посмотрит на него с нежностью и руку о штаны вытрет, а потом продолжает прерванную на середине фразу: экзистенция... П.С. снизил температуру тела до + 22 градусов. Признаков жизни и смерти не подавал. Пульс не прощупывался. Деревья покрылись рыбьей чешуей и собираются обратно в океан. Рыбы срочно отращивают корни. Все смешалось в доме Посейдонских. П.С. воспарил на сороковой странице этого текста, собственно, это был уже не П.С., а так, то ли облачко, то ли пушинка. Он летел совершенно один в сияющей, как солнце, пустоте. Он был свободен от самого себя и всего остального тоже. Стихи Шанкары. Стихи Лаллы.

Тантры исчезнут, останутся мантры зато.

Мантра исчезнет — и все-таки мысль не затмится.

Мысль прекратится — повсюду пребудет Ничто,

И в мировое Ничто все ничто устремится.

2 -24 мая 1978 г., 25 мая 1993 г.

На ресницах твоих огонь,
За ресницами спит ладонь.

Вот и дождь, что так ждали летом
Осыпается белым цветом.

Росчерк дерева в синем окне,
Подпись Бога на синей стене.

Давид Паташинский

*/ Верона,
Пенсильвания /*

■ ■ ■

Ты не сердись. Я знаю, ты спишь давно.
Выберу девять негромких последних нот.
Не на чем их играть? Знаешь, пожалуй, нет, —
— стены вокруг — лучший мой инструмент.

Ты не сердись. Я давно перестал
метр исследовать. В нем не более ста
мелких делений. Все остальное — бук.
Это не нужно знать. Скорее забудь.

Знай только это — я не умею быть
пальцев сплетением в поисках той резьбы.
Как не проси, из камня не выйдет лес.
Здесь не растут деревья, в которых есть...

Так что ты на меня не сердись сейчас,
я из тех, кто все обречен замечать.
Что поделать — это мне суждено.
Ты не сердись. Я знаю, ты спишь давно.

Борхес и ты

Мой делатель идет по черепице,
что трескается, словно сухари,
но бородатое лицо маячит в дымоходе.
Он не уйдет, мой делатель. Лучится,
разогревается до светлого красна
улыбка фавна, оснащенная зубами.

Походка похоти, как копоти кухарка,
движением небрежным размахнула
и опрокинула чугунную заслонку,
все начиналось ровно через час.
И канула в рассчитанную вечность,
как скрип пера, бумагу разделяла
на белое, просторное, пустое,
в котором черное искало искажений.

А что я сам найду? Я выхожу
в грудную полость дряблого подъезда,
и светится огнями город Дрезден,
и так тянуться долго до стекла,
свернувшегося кожицей бокала.
Мой делатель ползет на четвереньках,
устала плоть ловить свои зрочки,
и непонятна линия портала.

Мы так живем, что лучше бы смотрели,
как листья зарождаются в апреле,
и камень размягчается, как хлеб,
и все в земле, пласты ее раздвинув.
О чем я снова? Делатель упал,
вода его втекает под брусчатку,
бокал разбит, и женщина моя
над ним понуро головой несчастной.

Цицилия, ты знаешь — как я ждал,
что я успею. Как запел навстречу
вечерний путь. Как ночь наедине
сама с собой в предчувствии начала
самой себя, не в силах, никогда.

И все тянулся бесконечный вечер,
и все сплетал свои наплывы снег,
и женщина понуро головой
качала.

Михаил Федотов

/ Санкт-Петербург /

Я вернулся¹

*Ах, когда я вернусь.
Галич*

Репортаж девятый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Идиотская история — испытал сильнейшую любовь.

Никому не расскажешь — глупо, оскорбительно. Я проснулся оттого, что меня во сне изнасиловала женщина. Я знал, кто это сделал. Меня не каждый день насиловали литературные героини. Это было совершенно невозможно. Это было неприлично. Я даже не твердо знал, жила ли она когда-нибудь на свете. Но в том, что это была она, у меня не было сомнений. Теперь нужно было либо скрываться, либо уезжать. Я и так уже был хорош с возвращением в Россию. Притом, что я свято верил, что войну с немцами начал Сталин. Больше не верил никто. Это ужасно — жить с израильским паспортом и еще верить, что Россия начала войну. Меня окружал нераскаянный народ. И на этом фоне я спал с женщиной, которая была гражданским культом. Это то же самое, что спать с Пугачевой, я даже про себя не решался лишний раз произнести ее имя. Чёрт его знает, как я называл ее во сне. Явственно было до ужаса. Не просто как живое, это было живым. Она даже кусалась. Я вообще ненавижу, когда женщины кусаются. Я осмотрел себя. Но никаких следов не было. Надо было посмотреть днем на свету.

Я писал о параллельном времени и всё время туда соскальзывал. Базовым принципом второго времени является закон, что в первом времени должен быть аналог. Это вовсе не бред, не художест-

¹ Окончание. Начало во 2 (8) '00.

венная литература. Параллельное время есть, но выйти на него сложно. Это как выигрыш лотерейного билета. Кто-то его выигрывает в Бирмингеме. Но его не можешь выиграть ты. Это против математических законов.

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ. 1999 ГОД.

Мой друг, американец Маля, предложил мне на Большом проспекте П.С. ровно тысячу долларов. За то, что я соглашусь купить приличный костюм и ботинки и перестану выглядеть бомжем. Но я не взял деньги, сказал ему: «Х.., тебе, Маля, я не продаюсь».

Когда-то с этим, б..., американцем мы работали вместе в кочегарке, и принимать от бывшего кочегара такие подачки я не стану. На мне и так была прекрасная кожаная куртка: просто не встать. У меня таких в жизни не было. Мне подарил её с себя третий зять, потому что она была ему маловата. Хоть он ее довольно долго разнашивал. И под ней была полосатая майка-тельняшка, которую я купил в Военторге. Эта майка американца особенно бесила. «Ты совершенно одичал, — орал он. — Это не морской порт, вспомни, сколько тебе лет! По Ленинграду не ходят в тельняшках!»

Я действительно уже два месяца жил на берегу Ладоги в заброшенном пионерском лагере и по несколько часов в день колот дрова за суп, кстати, довольно жидкий, состоящий в основном из стеблей какой-то несъедобной брюссельской капусты.

Еще в этом предложении тысячи долларов на костюм, от которого я отказался, фигурировало условие никому не говорить, что я в России не могу ничего заработать. Ни одной паршивой копейки. Вместе с костюмом это замалчивание должно было дать какой-то необыкновенный эффект. За результат американец Маля мне отвечал. Сам Маля жил в Бостоне ровно двадцать лет и давно уже зарабатывал по сто пятьдесят тысяч в год. Он не стал бы меня обманывать. Собственно, это был первый человек из моих институтских друзей, с которым я разговаривал за прошедший год. Остальные обходили меня стороной. Может быть, Маля прав и дело именно в костюме. А пока мы сидели на улице, на Большом, пили пиво и осматривали отличных длинноногих девчонок, которые шлялись мимо. Маля потягивал пиво «Невское» и ругал меня за то, что я за год не только ничего не заработал, но ещё и не стыжусь в этом признаться. А я объяснял ему, что изучаю параллельное время. И вещи пишу музейные, они не предназначены для печати. Это жизненные подробности для будущих исследователей.

Мимо прошли три девчонки, и левая, брюнетка с низкой челкой, два раза сказала «блядь, блядь» и безразлично посмотрела и на меня и на Малю. Хоть Маля был в пиджаке, в «бабочке», в черных оч-

ках и выглядел как стопроцентный американец. Маля говорил разные слова, «моргидж» и «она не платит такс», что, знаете ли, на Большом проспекте Петроградской стороны говорит далеко не каждый. В этом же виде американец Маля на углу Большого и Бармалева встретил Славку с первого этажа, прямо возле своего бывшего дома. Славка сразу внятно сказал ему: «Маля, блядь, дай пятерку, ты меня знаешь, я отдам!»

Маля дал Славке нормальные американские пять долларов, на что тот даже не обратил внимания. Вот что значит параллельное время. Представьте себе, что Славка — это вы. Вы выходите себе привычно из дома, и перед домом стоит Маля. И ещё, блядь, в бабочке! Как он стоял и двадцать и тридцать лет назад. И вы нормально просите у него пятерку. Славкино время неразрывно, но это другое время, там другое деление на месяцы и годы.

Мы все упрямо думаем, что живем только в одной реальности. Дело это спорное. Странные факты в голове сразу не умещаются, но нужно делать зарубки в мозгу и честно анализировать происходящие вокруг явления. И вот этот Славка — это только первое напоминание о параллельном времени. Тут я начинаю загигать пальцы.

Потом мы с американцем долго бродили по дворам нашего института. Двор был весь совершенно пустынным, весь перерыл, валялись какие-то дохлые кошки, и клинки тоже не работали. Запустение было таким явным, что Маля покачивал головой, и всё время брезгливо морщился. Но у дверей нашей институтской столовой произошла вторая встреча, и мне придется загнуть еще один палец. Мы заметили, что прямо перед входом в столовую в кустах поставили памятник младшему медработнику. И дико удивились.

Но когда мы подошли поближе, мы увидели бабку-санитарку со шваброй, которая замерла, стоя на табуретке, и о чем-то задумалась. Я даже не понимаю, что она могла там чистить в кустах. Мы с ней немного поговорили о медицине, и она сказала, что, блядь, пашет тут с сорок девятого года, но такого, блядь, кругом вора на ее памяти еще не бывало. Еще она рассказала, что Валечку-подавальщицу, которая была потом заведующей столовой, нашли убитой на городской свалке, и показала мне развороченную печь на кухне. Печь разобрали во время ремонта, и теперь никто не хотел её складывать. «Ты где живешь, в Америке?» — спросила она. «Если тебе будет негде ночевать, приходи, мы что-нибудь придумаем, сразу вижу, что свой». — «Ты видишь, она тебя тоже приняла за бомжа, — сказал недовольный Маля. — Но сколько же этой бабке может быть лет?»

А вопрос это совершенно неуместный, потому что бабке этой ни сколько, ни лет, ей вообще нет лет — это другое время. Я даже ду-

маю, что наша прогулка по институтскому двору была вся целиком в параллельном времени.

Для проверки я зашел на минуту в Центральный приемный покой и спросил, кто же там сегодня заведует. Хлоркой воняло нестерпимо, и банка с хлоркой стояла на прежнем месте. «Прасковья Петровна!» — ответила мне фельдшерица, удивленно нас осматривая. Я многозначительно посмотрел на Маю, и мы пошли дальше. Прасковья была заведующей в начале шестидесятых, и уже тогда ей было больше пятидесяти лет, я видел её паспорт. А прошло с тех пор около сорока лет. «Разное время — это как доллары американские и канадские. Ты понимаешь разницу?» — Он серьезно утвердительно кивнул. «Это я понимаю», — сказал он почему-то с акцентом. «Вот так же и время. Или ты думаешь, что Ной жил тысячу лет? Х...й! Хорош будет твой Ной, если ему придется жить наши 1000 лет, я представляю, как бы его стошнило». И Маля улетел обратно в Америку. Я думаю, что он и сейчас еще там.

Репортаж десятый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Что бы я ни вкручивал доктору Мале, параллельное время существует. Но его нужно уметь выстраивать. Не пытайтесь залезать далеко в прошлое. Замедлите время на час, на секунду, не обрабатывайте новыми вещами. Задача чуть сдвинуть время.

Пионерлагерь — это прекрасный фон. Баба Дуся на базе доит коз. Дуся — очень важная деталь выстраивания параллельного времени.

Днём копайте чухонскую землю финской лопатой. Запишите пионерские лозунги и талдычьте их. Законы пионерлагеря Восход: закон точности, закон дружбы, закон тишины, закон границы, закон внимания, закон вежливости.

Комары выстроились, как зюгановцы на красной надписи «Пионер, за дело партии будь готов». Я сам старый зюгановец.

Когда-то я дал пионерские клятвы. И я продолжаю им служить. Я человек чести, и эти клятвы никто не отменял.

Зажгите две восковые свечи.

Важно спать сидя. Это важная деталь.

Закажите себе свидание вне времени, прокручивайте в голове события вне времени и ждите ночных результатов.

Баба Дуся пошла сегодня с дедом попить водочку на лужок. За базу, где пасутся козы. С собой взяла соседского пса. Потому что их собственный пёс Боцман ненавидел одну козу, которую баба Дуся называла блядью. Но соседский пес тоже задрался с этой козой и

разорвал ей ухо. И пришлось всю бутылку охтинской водки пустить на козу. Это событие могло произойти в любой момент века.

Баба Дуся рассказывала сегодня в очереди, что ночью ей приснился сон. Баба Дуся была с мужчиной. Очередь в продуктовую лавку слушала недоверчиво. Баба Дуся сто двадцать второго года рождения. Говорит мужчине: возьми меня, я работающая. Верная тебе буду. Но мужчины не ценят верность.

Пёс бабы Дуси — глухой, но понимает язык жестов. Она жалуется, что ему не докричаться, хоть обкакайся. А жесты он понимает. Но только если ему придет в голову на вас посмотреть. Неужели это баба Дуся шляется ко мне ночью?

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ

1999. Я уже целые сутки не произносил слова «еврей», и я уже месяц ничего не слышал про евреев, ни хорошего, ни плохого; мой приятель Вовка Николадзе, с которым мы вместе в 19 лет работали санитарями, сказал мне как-то на дежурстве, что уже сутки не думает про женские половые органы. Это у него был рекорд. Вот в Израиле такого быть не может.

Целый год я не возвращался к своим заметкам.

Я БЕРЕЖНО ОЩУПЫВАЮ СЕБЯ И ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ, ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ Я ЗА ГОД. Я ТРИ РАЗА ГОЛОДАЛ ПО НЕДЕЛЕ И СБРОСИЛ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ОКОЛО ТРИДЦАТИ КИЛОГРАММОВ. «Лучше умереть, чем голодать», — пишет Шекспир в одной из своих пьес, и я с ним согласен. Я пишу эти заметки для себя и не считаю их прозой. Эти тридцать килограммов — это почти целый человек. Одна девушка, которую я любил, весила всего 42 килограмма. Мне нужно было всего еще раз поголодать — и вообще не нужно никаких женщин.

Первые восемь репортажей опубликовали в лос-анжелесской Панораме и заплатили мне за них двадцать долларов. Ровно 2,5 доллара за репортаж. 75 рублей. Это приличная сумма. Сегодня на них можно купить 17 батонов пшеничного хлеба, который я люблю. Это единственное, что мне удалось заработать за год. Правда, сегодня мне предложили сразу две работы. Заниматься с десятимесячным ребенком в Чикаго и вести отдел сексуальных табу в виртуальном журнале. Я написал родителям ребенка, что я согласен, но я нахожусь довольно далеко от Чикаго. В этом месте я почему-то перешел на иврит. Я в России, написал я, ze ахарей Полин, это такое место на земле между Финлянд энд Тёрки, и пока ответа не последовало. Видимо, хасиды: э-мэйл начинался со слова «Шамир». Я соскучился по хасидам. Если я встречу в метро человека в черной

шляпе, мне будет не удержаться — я брошусь ему на шею. В прошлом году такой остроты чувств еще не было.

Я решаюсь вернуться к заметкам только из уважения к написанному тексту. Его нельзя бросать неоконченным.

Я многого достиг за год, но меня больше не интересует хронология событий, я пытаюсь спасти только самые важные для меня куски.

1998. Я придумал, как без операции увеличить мужскую потенцию. Я не знаю, можно ли об этом открыто писать, потому что боюсь урологов. Собственно, они сами навели меня на гениальную мысль. Все газеты полны объявлений, как в любом возрасте простой операцией увеличить вам мужской кровоток. Дальше всё элементарно просто. Вместо платной операции поливаете себя горячей водой, потом ледяной. Старый индейский метод. Только не обожгитесь! Если вы живёте в жарком климате, то можно заранее готовить ванночки со льдом. И не нужно никаких операций. Я принципиально не хочу патентовать это открытие, пусть все пользуются! Во будет жизнь, в парадную будет не войти!

Свинья сырокопченая колбаса «Салям алейкум». Кошерная. Выпускает колбасный завод в Черкизово. Можно купить партию и подарить религиозным мусульманам.

Неожиданный звонок, мне звонит Толстый. Он прилетел из Парижа и снимается в кино, но ко мне не заходит. Но Толстый разрешает мне взять у него интервью. Это барский подарок. Ему интервью «не до чого», сообщает он снисходительно. Ему даже не надо ванночек со льдом. Но зато я могу с интервью о нём всюду войти. Это будет как ключ. Ему кажется, что насчёт ключа я сомневаюсь. А я не хочу никуда входить. Я вспоминаю период нашего сотрудничества в Мулете. Тогда эмиграция была вся как на ладони. Между Киреевым из Буэнос-Айреса и Рабиновичем из Харбина не было дистанции. Я знал в лицо каждого северного китайца, который в конце концов оказывался деревенским русским мужиком. Целые деревни таких китайцев мигрировали между Австралией и Канадой.

Толстый выпускал анти-журнал про половые органы в Париже. И там были куски хорошей литературы. У Лимонова уже вышел Эдика, но он еще не был предводителем русских фашистов и был только не совсем известным писателем. Кузьминский писал про уютную половую жизнь в австрийских гостиницах.

Это мне всегда очень нравилось. И я подолгу рассматривал их книжку. Вообще я не очень много читаю. Года два я был у Толстого в первой обложке. Я не очень много писал о половых органах, но мне удавался странный тон.

Все маститые писатели эмиграции сегодня уже вошли в историю, но тогда всё было довольно противно. Противен был Максимов, противен Синявский, архипротивен был Солженицын. Я даже не могу назвать кого-то, кто оставался бы нормальным человеком, от которого не тошнит. Это был такой же Союз писателей, только наоборот.

Я решил устроиться на работу дворником, они очень прилично зарабатывают. Но моя жена, профессорская дочь Женька, говорит, что она не желает иметь сексуальные отношения с дворниками. Редкий снобизм.

Целыми днями я слушаю радио «Балтика». Там дикторы сообщают удивительные вещи. Десять лучших дворников Москвы отправлены на две недели в Таиланд. Многие не хотели ехать, говорили: «На х... мне сдался ваш Таиланд». Но Лужков сказал: хотят, не хотят, везти всех силой. Хорошо бы мне тоже в свое время прямиком отправиться в Таиланд — оттуда еще никто не возвращался.

Стало холодно, плюс шесть. Весь день шел дождь. Женька искала в аптеках женские подкладки, но их нет, их сдуло холодным ветром. С этого всегда начинается экономический обвал. Статистика утверждает, что они исчезают первыми. Это, если вдуматься, очень показательно. Последней исчезает морская капуста с йодом. Так было в девяносто втором году: пустые полки и мрачные продавщицы на фоне морской капусты. Говорят, что она продлевает жизнь. Наш сосед Василий Иванович так нажрался в девяносто втором морской капусты, что теперь он переживает нас всех. И с коммунальными коммуналами нужно что-то делать. Размениваться он не хочет, воды нет, не закрываются окна. Я вообще всегда ненавидел Петроградскую сторону, как я сюда попал — загадка. «Как здоровье, Василий Иванович?!» — «Х...во», — отвечает Василий Иванович. Следующей весной ему будет семьдесят один год. Средняя продолжительность жизни в России шестьдесят пять. Я не желаю Василию Ивановичу ничего плохого, но из-за того, что он копит тут небо лишних пять лет, где-то в городе N, по статистике, должен безвременно умереть какой-то сравнительно молодой мужчина. Вот что обидно. Может быть, этот человек никогда не был женат, не слышал топота детских ножек. Может быть, вообще он был невинно осужден за изнасилование и всю жизнь просидел за колючей проволокой. Наконец его выпустили, а он возьми и помри, чтобы такая сволочь, как Василий Иванович, наслаждался тут коммунальными благами жизни и не давал мне разменять квартиру. Я даю себе слово, что если он еще раз нагадит на пол в туалете, то я сдам его бандитам. Пусть мафия сама с ним разбирается.

Снова зима, моя вторая зима в Ленинграде. Зимние проблемы меняются, но не сильно. В Иерусалиме сейчас плюс тридцать. Идет

всеобщая забастовка, значит, мне даже не пришлось бы работать. Это редкий идиотизм — приезжать в Россию в самый разгар кризиса.

На нашей лестнице подожгли дверь богатых соседей с ротвейлерами. В час ночи столб дыма, открываю дверь — в темноте красиво горят две двери и страшно воняет бензином. Деловые разборки. Приехали пожарники в красивых касках из 451 по Фаренгейту. С огнёмётами и топорами. Но к их приезду я уже всё залил детской ванночкой. Дети еще несколько дней бегали по дому с черными пятнами.

Перед нашим метро на ящиках сидит мафия старушек. Чужих старушек в торговый ряд не впускают. Удивительный народ — старушки. Я видел, как одной посторонней старушке надавали по морде и вытолкали её прочь. Ближе всего к метро сидит несколько старых грузинок, а за ними в сереньком тулупе второй год сидит старушка-химик.

Раньше старушка-химик занималась сверхнизкими температурами. А сейчас она раз в неделю едет на базу, берет двадцать килограммов капусты и на тележке интеллигентно прёт ее домой. Ей 68 лет, но она довольно крепкая старушка. Потом квасит ее в эмалированном чане. Проходит несколько дней, и капуста готова. И старушка-химик везет ее продавать к нашему метро. Получается рубль с килограмма.

За день она продает пакетов пятнадцать — двадцать. То есть почти доллар за день, но стоит она только в светлое время, не больше шести-семи часов. Конечно, холодно, можно околеть, но у неё профессиональная привычка. Зимой напялит на себя валенки и два тулупа и стоит, хлопает ладошами. Двадцать рублей — это можно купить кефир и пачку масла. Академик Амосов, который писал о глубокой старости, рекомендует старикам очень много двигаться. И старушка-химик двигается, будь здоров. Пенсия у нее 380 рубликов, и двести она делает на капусте. Квартира своя, телевизор цветной, транспорт бесплатный. Живи — не хочу.

Как люди живут на 40 долларов в месяц — остается загадкой, а это приличная зарплата.

Меня сводит с ума книга Гилилова «Игра об Вильяме Шекспире».

Я не уверен, что в шекспировском тексте постоянно присутствует женская рука. Иногда она слышна. Иногда я даже не слышу Шекспира — это чувствуешь даже в переводе. Книга Гилилова — это поворот в культуре. Может быть, только в моей.

Надпись на лимоновском заборе — «дави Америку, как говно».

Женька, что ты пишешь? Я читаю из-за спины:

«Малая сцена БДТ, спектакль «Отец». Пьеса Стриндберга... совсем тихо, нет музыки. В первом действии только звуковой фон: отдаленный лай собак, завывания ветра, скрип снега. Когда появляется музыка, она тоже тихая и неназойливая. Тема спектакля: отцовство, которое невозможно установить. Мужчина будто бы никогда не может быть уверенным, что ребенок родился от него. Даже сходство ничего не доказывает. Там приводится такой пример из зоологии: если случить зебру и обычную кобылу, родится полосатый жеребенок. Но и следующий жеребенок этой кобылы — от нормального жеребца — тоже может оказаться полосатым».

Тема отцовства, которое не удастся установить, меня глубоко огорчает. Я говорю своей жене, профессорской дочери Женьке:

— Может быть, мы прекратим половую жизнь в одностороннем порядке?

— Что это значит?

— Это значит, что я с тобой прекращаю!

— А я?

— А ты делай, как ты считаешь нужным.

— Как ты себе это технически представляешь?

Репортаж одиннадцатый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Связь с этой женщиной было оскорблением моей культуры. Первый раз я воспринял это как случайность. Второй раз меня удивил уже меньше.

Но и предостаточно. Нужно было дать себе отчет в том, что это не была неизвестно откуда навязавшаяся мне женщина. Татьяна Ларина, предмет моих мужских грёз, была вызвана из небытия, я владел ею, вертел в руках и уже немного начинал тяготиться. Я ее вызывал. Я ее вызывал. Я хотел ее. Я её получил. Я разрисовал уже все белые пятна на литературных картах: Вера Павловна, Анна Каренина и Княжна Мери меня совершенно не интересовали. Технически всё было не так уж страшно. Если делать поправки на то, как выглядят отношения полов в параллельном времени. Существует только дыхание и голос. События могут быть сквозными. Кто-то из людей участвует в событиях и тут и там, а кто-то только в одном времени. Но я покушался на изюминку виртуального списка, на святая святых, на Татьяну Ларину. На женщину, которой одновременно домогались миллионы прыщавых старшеклассников. Я хотел вырвать её из рук подростков.

Теперь у меня на совести была избалованная барынька, за которую теперь придется отвечать.

Она внедрялась в мою жизнь всё глубже. Мне это по-мужски льстило и при этом начинало раздражать. Всё-таки на мой вкус она очень много разговаривала. Параллели с Онегиным и жалобы на Пушкина меня тоже доводили до бешенства. Я ненавидел все бытовые детали ее княжеской судьбы, мне мешала вся ее свалившаяся на меня жизнь, от которой так лихо отделался Онегин. Взаимную любовь никому не вынести. Это принципиально неустойчивая фигура. Евгений Онегин был трижды прав, напрасно я его не принимал всерьез.

«Пушкин, Пушкин, его мать, что сделал он со всеми нами». Успокойтесь, княгиня! Я понимал, что Пушкин был страшным склочником, но мне не нравилось, когда при мне его называли гороховым шутком. Томик Пушкина лежал у меня на полочке в пионерском туалете. Мне было не трудно представить себе Пушкина в пионерском лагере Восход! Как коробили бы его эти пролетарские туалеты для мальчиков! Я представлял себе Пушкина, выходящего, выпархивающего из туалета с томиком Пушкина в руках. Я видел, как он читает вслух Евгения Онегина и чувствует, что это что-то чертовски знакомое. У него самого не могло не быть такого же пронзительного влечения к Татьяне, которое он навязывал читателю. Несчастливая самоотверженная женщина.

Иногда мне казалось, что у нас не возвышенная, не одухотворенная — просто плотская любовь, причём идиотская.

Она неумелая, нескладная, трогательная и пр. Да чихать мне на ваши правила написания, я в параллельном времени за словарями не бегаю.

Понятно, что перенос личности, но душа её оттуда. В параллельном времени тоже шел дождь. Она являлась ко мне простывшая и заспанная. Это настоящая трагедия, что любимые женщины стареют в холодном одиночестве. Она ревновала, манерничала, бесилась и кокетничала, она говорила, чтобы я её не удерживал. Да отпускаю я тебя! Иди, блуди, кто тебе мешает, княгинюшка, забери свои нижние юбки, садись на метлу и лети. Господи, что за девочка была.

Она причитает: «Я не на своём месте, я не на своем месте». И всё время озирается, хоть бы немного помолчала.

И ещё в такое жуткое время.

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ.

Буйство красок кончилось. Красный и зеленый цвета исчезли. Деревья поскучнели и стали сплошь желтыми. Дикая тоска оттого, что эта красота невозвратно исчезла. Я начал понимать природу депрессий. На Мориса Тореза пробка, иномарки выбираются из нее

по тропинкам и гоняют в разные стороны по тротуарам. Я завис над городом, как космонавт Терешкова. Хорошо быть ангелом. Летаешь над городом и никаких забот не знаешь.

Какое счастье, что к власти придут коммуняки. Докторская колбаса будет снова рубль шестьдесят. И либералы — счастье. Мне очень нравятся либералы. И демократы, и монархисты — тоже счастье. Мне все очень нравится. Я живу на очень высоком этаже, и мне видно, над каким местом Ленинграда идет дождь.

Надпись на лимоновском заборе — «нет денег — убей банкира». Они не пишут, где его взять.

Моей жене, профессорской дочке Женьке, нужно найти себе более интеллигентного человека. Все-таки я очень серый. Вчера я выяснил, что Коломна находится в Ленинграде, я был уверен, что она под Москвой. А «Пушкинский дом» вовсе не означает «музей-квартиру Пушкина». Дом-сказка стоит на Маклина. Улица Маклина снова стала Английским проспектом. Там живут хоббиты. Можете сходить посмотреть, если не верите. По утрам они шарят по помойкам, ищут пустые пивные бутылки. Я буду собирать пустые бутылки с зимы, когда кончатся все деньги. У меня уже есть две бутылки.

А пока мы с Анькой учим плач Ярославны. Для девочки, прожившей всю жизнь в Израиле, этот текст за пределом понимания. Сам я прихожу к выводу, что Ярославна — липа, не могло быть никакого такого фольклора, это гениальная выдумка, она придумана намного позже.

Снова обвал, но очередей уже нет. Люди закупились. Деньги вытряхнули. Пока народ стоял в очереди за консервами, огурцы и чеченские помидоры подешевели, было не до зелени. Почти никто из моих знакомых вообще ничего не купил. Не было денег.

И было противно стоять в возбужденных очередях. Стану ли я тосковать, если население начнет голодать, а я буду доедать сгущенку из осенних запасов?

Головой я понимаю, что буду, но я не позволю голове собой командовать.

Я забыл, как пишется слово «здесь». «Сдесь» или «здесь»?

Оба варианта мне кажутся подозрительными. Вот что значит надолго предавать родину!

В Думе прозвучало «жиды», и у меня начался плач по Зюганову, а я так на него надеялся. Я решил не вступать в КПСС, но мне страшно хочется вступить в какую-нибудь организацию. Но пока у меня даже нет трудовой книжки.

Сына Давида отпускают из армии приехать ко мне в гости. Израильская армия оплачивает ему одну поездку в год. Я люблю израильскую армию. В высшем смысле. У меня там служат дети. Не дай

Бог, если будет серьезная война, мне придется лететь в эту страну. Хотя это единственный вариант, когда я допускаю свое возвращение. Но непонятно, как меня можно использовать. Может быть, меня поставят рыть окоп или собирать апельсины. Это отвратительное занятие. Пожалуй, я раздумал возвращаться! Но все равно я надеюсь, что арабы первым делом поднимут на воздух компьютер соцстраха — Бетуах Леуми, которому я должен сто тысяч долларов по алиментам. Арабам придется поднять в воздух несколько банков, в которых у меня ипотечные ссуды: я уже выплатил втрое больше взятого, но мне еще платить и платить, лет десять. Если бы войти в контакт с арабскими наводчиками катюш, то я мог бы залезть на нужные здания и им оттуда семафорить. «Я беспартийный идеалист, я уехал оттуда обобраным и нищим, пожалейте меня, арабские бойцы! Я для вас только символ бескорыстного сионизма, дайте за меня по банку «Тфахот»! И в его лице по всему всемирному империализму! На всякий случай ориентиры такие: посреди Тель-Авива, недалеко от моря, на улице Герцль три, стоит такая высокая дура, выше города, но надо брать чуть левее. Я отдам за это все, что накопил с годами, я отдам восемнадцать пачек подкладок из города Котлас, двенадцать банок миног, сгущенку без сахара — что захотите. Пусть я и эту зиму буду голодать!»

Но молчат арабские наводчики! До них так просто не докричаться. Даже сердце мое колотится от возбуждения. Израиль — это неволя! Я в неволе не размножаюсь!

Ничего себе не размножаешься! — говорит моя жена, профессорская дочь Женька. — У тебя в Израиле родились шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый ребенок! В Китае тебя давно бы кастрировали!

У нее удивительная способность снимать возвышенность моих состояний. Я не понимаю, куда смотрели мои глаза.

Моя племянница Яня не всегда была психологом. Она раньше была лошадицей, и каждый день ездила в конюшню в Лодейном поле. Но в Израиле ей скакуны не понравились. Я показывал ей жеребца, которого купили в Голландии за двести пятьдесят тысяч долларов, но она говорит, что он очень костлявый. Этот жеребец живет в Кфар-Адумим. Если вы едете по дороге к Мёртвому морю, то сначала идут бедуинские поселения, а потом под горой там есть левый поворот и домики на горизонте. Это одно из самых красивых мест в Израиле. Вы возвышаетесь над Иудейской пустыней и видите сразу все, от Иордании до Сирии. Только нужно забираться в этот поселок рано утром, пока нет дымки. Мне туда, наверное, уже не попасть никогда, а в Мертвое море хочется до боли.

Девочка Таня, первый класс французской школы Фрунзенского района, сказала, что в Иерусалиме было лучше, потому что девочки дружили в их школе с мальчиками. А в первом классе французской школы Фрунзенского района дружат только девочки с девочками.

Глупая, глупая Таня! Ты еще надружишься с этими козлами. Они будут нелепо размахивать руками, пить водку и плевать в ванных или будут бессмысленными качками с потухшим взглядом, будут блудить, требовать, чтобы ты делала аборты и с важным видом вести кусок железа о четырех колесах. Просто мерзость. Как прекрасно изменилась бы жизнь на земле, если бы на ней не было мужчин.

Нет проблемы Шекспира — есть только проблема моей глупости. Дело ведь не в том, что Шекспир оказался одним человеком, а не другим. Дело лишь в том, как я в здравом уме мог поверить, что малограмотный прижимистый актер, или нет, наоборот, как не возникло понимание, что написать любую из пьес мог только человек недостижимой небесной культуры.

Василий Иванович спасен! К Аньке на пятнадцатилетие пришла вся команда фехтовальщиков, и один шпажист сильно наблюдал в ванну. И, конечно, на беду туда немедленно явился Василий Иванович. «После этого вы еще меня обвиняете, что я гажу в туалете», — сказал он, но по-доброму, с большим пониманием. Все-таки юношеские организмы совершенно не переносят крепленых вин!

Для старушек в сберкассах сделан специальный сервис. Для того чтобы заплатить за коммунальные услуги, за квартиру или за прописку, за свет и за все остальное, в сберкассах нужно заполнить специальные формуляры и в них указать три расчетных счета, каждый по двенадцать цифр, но это не страшно, потому что в каждом номере всего по семь или по восемь нулей. Иногда семь, а иногда восемь, каждый раз трудно сказать сколько, потому что в образцах циферки очень мелкие. Прямо малюсенькие. Образцы эти вешают на стенах, не очень высоко, на уровне моей головы. То есть высокая старуха вполне может рассмотреть этот номер, не залезая на скамеечку. А потом быстро бежать записывать его за столик. Для них еще сделали специальный столик. Но это даже лишнее, потому что только они сядут, как им нужно вскакивать и бежать запоминать следующую цифру. Особенно им часто приходится бегать из-за нулей. Я сам пересчитываю их раза по три. Главное, что нельзя сделать на образцах особенную пометочку, чтобы запомнить, сколько ты нулей переписал, потому что они под стеклом. Посидите в сберкассе сами, заплатите рубль восемьдесят за прописку и последите за старушками. Обхохочетесь. Вам никогда не захочется становиться старушкой, настолько это смешно.

Какое счастье, что ни с одной женой я не дожил до серебряной свадьбы! Я уже сделал столько попыток! Сейчас-то мне это точно не грозит.

— Почему люди не могут просто спать вместе? — спрашивает меня моя жена Женька.

— Я не собираюсь спать вместе с женщиной по принуждению.

— Тебя никто не заставляет спать по принуждению и жить половой жизнью по принуждению, если невозможно ею не жить по принуждению, — говорит моя жена Женька. — Господи, как мне надоело слышать про половую жизнь, когда все это кончится.

— Так отпусти меня на свободу!

— Никогда.

— Забери детей.

— Никогда.

— Отдай их мне.

— Никогда.

— Что никогда?

— Всё никогда. Я так и знала, что тебе нужно гоняться за новыми юбками. Но на это ты даже можешь не рассчитывать. Ты больше не испортишь жизнь ни одной женщине, я твоя последняя жертва.

— Но зачем так мучиться, если так все чудовищно?

— Только из принципа.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

За стеной пионерской комнаты, где я поджидал пионервожатых из Краснодара, существовала лагерная библиотека. Там всегда очень пахло мочой. Я сушил там бельё, когда мой младший сын Пётр прописывал всё насквозь. В пионерской библиотеке кроме классики числилось еще 1368 книг. Это было бесконечное количество линий про пионеров, про каких-то героических людей, про танкистов, про башкирских пионеров, просто строчки. В них не было никакого смысла или намек на прозу. Вдруг выяснилось, что на свете живет очень много детских и взрослых писателей, Борис Полярчук, и Доярчук, и Марина Кравцова, и Наташа Бабцова, и другие, и с этим следует что-то делать. Проще всего было бы всех послать на х... в параллельное время, чтобы они не толкались тут на полках. А пока я переписывал на стены очень много стихотворений из Евгения Онегина и погружался туда всё глубже. Шли пушкинские чтения, и по радио выступала всякая сволочь. Вообще, это его большое счастье, что Пушкин не дожил до старости.

Бродский писал: «...и уже седина стыдно молвить где...», вот Пушкин до этой седины не дожил. Впрочем, в Михайловском, с окон-

цами из бычьего пузыря, Пушкин не много бы седых волос насмотрел.

Сейчас мелкое время, и родиться может только мелкий талант, потому что на земле стало слишком много людей и большой талант до писателя просто не донести. Мне лучше не объяснять. Даже поэтов, пусть самых слабых, но много десятков тысяч, а каждому ведь тоже должно достаться по капле. Вы сами загляните в библиотеку. Да и с большим талантом не каждый выдержит. Бродский вот отнесся к славе серьезно, принарядился для нобелевки, но Пушкина от американской славы должно было бы всё-таки тошнить.

Репортаж двенадцатый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Пахло войной.

Я знал это кожей.

И я знал, с кем в параллельном времени я разделю военные годы.

Это будет княгиня Татьяна, урожденная Ларина. Я мучительно искал материальный аналог Татьяны. Мною овладела предвоенная лихорадка. Все лица женского пола, которых я встречал, сливались у меня с Татьяной Лариной и участвовали в этой страсти.

Женщина, которая преследовала меня во сне, не была моей последней женой. Я довольно основательно любил свою последнюю жену, но, к сожалению, мне пора было разводиться, потому что чувства мешали мне работать. Тем более, что жена вовсе не считала меня писателем. Она вообще не читала ни одной моей строчки и при упоминании о моих писаниях болезненно морщилась.

— Почему ты ходишь в тельняшке, ты же не похож на рыбака? — участливо спрашивала жена.

Меня всегда удивляло, что она со мной живет. У нас была основательная разница в возрасте, и ей уже прилично надоело, что она вышла замуж за пожилого бабника.

Я долго объяснял ей, что ей нужно найти равного себе, оставить мне детей и начать новую жизнь по любви, но она на это почему-то не соглашалась. Являться ко мне во сне она, разумеется, не станет.

При этом она верит, что существует какая-то нереальная женщина, которая меня достает во сне, и мою жену это развлекает. Жена говорит, что двухсотлетняя бабка мне как раз и подходит.

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ.

Утро, я вижу из окна четырнадцать домов по Мориса Тореза и по Второму Муринскому. Я не знаю, как он теперь называется. Прос-

пект Карла Маркса называется Большим Сампсониевским. Интересно, как теперь называется марксизм?

Надпись на лимоновском заборе — «национал-большевизм победит».

Пенсионеры рыскают по городу в поисках дешевых круп. Разговор взрослых людей в очереди: «Купим сто граммов докторской и съедим дома с яичницей». Стоимость базара на Кузнечном: малосольные огурцы — восемьдесят. Пенсия триста двадцать, пенсия — триста восемьдесят, пенсия — пятьсот сорок. Бабка из Ленобласти говорит, что пенсия у неё — девятнадцать рублей, но хромая, выжившая из ума и, наверное, врет.

Свинина сто двадцать, сметана пятьдесят, творог сорок, пучок укропа пять руб., зеленый лук десять рубчиков. Сантехник работает три часа, берет десять рублей вознаграждение и говорит спасибо. Вроде бы доволен. Не потому что много, а просто чаще не дают вовсе.

Моя дочка выписывается из хозрасчетного роддома, жалуется, что ребенка не разрешили сразу после родов поднести к груди. Во всем мире разрешают, а в Смольненском роддоме номер четыре — нет. Ей после западных больниц рожать было немного страшно. Смольненский роддом номер четыре вообще против кормления грудью, потому что это негигиенично. Но зато в Смольненском роддоме номер четыре за двести рублей можно присутствовать на родах своей жены. Даже документов не спрашивают, но дешевле нельзя. В Смольненском роддоме номер четыре часто бывал Ильич! Но всё-таки нет двухсот рублей — дождайся до утра. Утром тебе, может быть, покажут ребеночка из окошка третьего этажа. За показ вообще денег не берут. Не всё измеряется деньгами.

У меня родилась четвертая внучка. Через два месяца будет пятая. Детей у меня всего десять, поэтому дальше всё будет как снежная лавина. Когда внуков перевалит за двадцать, я посажу их рядами и сфотографируюсь в папаше на фоне гор.

Ленинградским ветеранам бесплатно вставляют желтенькие зубы. Трубы над Мечниковской больницей похожи на комбинат в Череповце. Рядом кавказский рынок надутых дынь. Говорят, что пробовать опасно. Штамп «проверено», но ему страшно довериться. Чеченцы прекрасно говорят на русском, но их женщины кричат низкими голосами и всё в мужском роде. Я так двадцать лет объяснялся на иврите, и меня прекрасно понимали.

Икра подорожала. Вместо доллара за сто сорок грамм она стала стоить целых два. Если так пойдет дальше, то нельзя будет питаться одной икрой. Я послал Лазарю в Иерусалим одну баночку, пусть нашей пищи попробует.

Анька сообщает грандиозные новости: Василий Иванович начал спускать воду в туалете. «Хи стартед фляшинг зе тойлет!». Я читаю Гилюлова, и Василий Иванович уже три месяца ассоциируется у меня с актером Уильямом Шакспером из Страдфорда. По сохранившимся документам, Шакспера оштрафовали в Страдфорде за слив нечистот на улицу. Но это не помешало графу Ретфорду выбрать его в нетленные Шекспиры. Я тоже решаю выдать соседа за кого-нибудь из современников. И останавливаюсь на Бродском. Василий Иванович Бродский. Неплохо! «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, — писал Василий Иванович, — на Васильевский остров я приду умирать». Читатель 2498 года будет вне себя от восторга. Можно заложить стихотворение в водочную бутылку вместе с фотографией этой сволочи и зарыть лет на пятьсот. Хорошо бы и самого Василия Ивановича там зарыть. Но пока не выпадет снег, я решаю его не трогать. Снег заметёт все следы.

Я писал о старушке-химике возле нашего метро, но у меня есть ещё заграничная старушка-химик из Иерусалима — она печет там дешевые пирожки. Зовут ее Татьяна Ивановна. Она, конечно, русская старушка, кандидат наук, но ей дали пенсию по старости, еще пирожки и дочь на квартиру присылает. Но меня мучает другой вопрос, а где старики-химики? Я пока не встречал ни одного, и эта загадка требует своего решения.

Я купил себе семь книг Виктора Суворова, я согласен с его доказательствами, что войну с Германией начала Россия. Почему-то Виктор Суворов с его идеей, что войну с Германией начал Сталин, никому не мешает тут жить. Молодое поколение примет без боли, как факт, что войну развязал Сталин — но его никто этим не нагружает. Но старшие поколения слышать единственную правду не хотят. Суворов — это поворот в культуре. Мне все равно, что о нем пишут снобы. Он владеет главной писательской тайной — он владеет энергией.

Дочка богатых соседей с ротвейлерами учится в китайской школе. Вчера она водила китайских студентов на «Дон Кихота», и они через пятнадцать минут ушли из зала. «Китайская товалися» не понимает нашего искусства. И проблемы у них свои. Зря их так любит моя интернационалистка-мама. В Иерусалиме китайцев уже видимо-невидимо: раббанут признал полтора миллиона китайцев кошерными евреями. Но экстрасенс Луиза Виноградова считает, что евреев в Китае около четырех миллионов. Я решил: когда они все соберутся в Израиле, в этот момент я всё-таки туда вернусь. Я хочу увидеть четыре миллиона китайцев на улицах родного Иерусалима и спокойно отмщенным умереть.

На углу Братьев Васильевых живет женщина, которую я любил. Она живет на пятом этаже, но окно открывается редко, и на балкон она не выходит. Рыжий говорит: «Ты с ней встретишься, и ни у одного из вас не дрогнет сердце». Рыжий тоже был на ней женат, он знает. Даже точнее, сначала на ней женат был он, но я не придаю этому значения. А он правильную последовательность почему-то подчеркивает. Как будто от меня не уходили женщины. «Скоро мы сядем, как старые хрычи на завалинке, и ни одну из них не вспомним», — обещает мне Рыжий. Все-таки я жду этой встречи с замиранием сердца и хожу мимо ее дома в булочную. «Она уже давно бабушка! Перестань себя взвинчивать!» — говорит мне профессорская дочь, моя жена Женька. Люди иногда умеют быть удивительно неделикатны.

Мой сын Давид не может найти в Ленинграде хороший картины. Ищет и не находит. Солдат израильской армии не может без картины. Даже на доллары не продают.

«Тебе нужно пореже ходить в театр! — говорит профессорская дочь Женька. — Театр на тебя производит слишком большое впечатление, потом ты целый день чего-то пишешь!»

Театр на Литейном. Все происходит на сцене. Пара железных кроватей, железное кресло. Трубы. Над головой шесть уровней грязной прозрачной пленки с кленовыми листочками. Какая-то трущоба на крыше. На дне, только на крыше. Я никогда не читал Пинтера. Помойки — чистая отрада для буржуа. Я на самом модном режиссере города по фамилии Бутусов. Фамилия в Ленинграде знаменитая. В тридцатых годах был футболист Бутусов, который убил ударом мяча обезьяну. Обезьяна стояла в воротах, кажется, за сборную Турции. Зал занавешен тряпочками. Зал только угадывается во тьме. Меня начинает знобить, оттого что я на сцене. Если бы я был актером, я никогда бы из страны не уехал. Чтобы сцены не лишаться. Так же я бы никогда не уехал, если бы знал, что больше никогда не войду в операционный зал. Помыв руки двумя щётками, в бахилах с большими печатями. Мне и сейчас ещё это снится.

Отличная идея — маленький зал без зрителей. Зрители не нужны. Происходит творчество в высшем смысле.

Текст сразу меня начинает раздражать. Странно, что обитатели этой трущобы говорят по-русски. Но зал доволен темой бродяг. Вернее, бродяга — один и ещё двое — полусумасшедших. Меня эта тема трогает меньше. Я жил за границей в ночлежках с полусумасшедшими, и я ни в коем случае не хочу снова туда себя помещать. Этот «убивающий мячом обезьян» отлично делал свое дело, но действие на таком близком расстоянии меня лично не подходило. Лучше сидеть на сцене в драмах из жизни куртизанок. Бродягу играет уютный еврей Фурман. Он похож на Будду в подштанниках и еще на моего

друга Альку Чеповецкого. Алька поменял свою фамилию на израильский манер и заведует теперь поликлиникой на полдороге в Вифлеем. Он стал толстым и важным, даже женился на израильтянке. Мы уже лет пять из-за этого не разговариваем. Я не верю в женитьбы на самках не своего вида.

На сцене все сумасшедшие. И я. У тебя болезнь мозга, и мы ее будем лечить, — говорит Пинтер. Как я не хочу участвовать в лечении!

Каждый спектакль меня преследует одна и та же болезнь. Я свободный пока человек, и я не обязан сидеть тут в этом сумасшедшем доме оба действия. Но как уйти из такого крохотного пространства? Может быть, у меня поезд на Москву. У меня в руках журнал «Московский наблюдатель». Может быть, я именно этот наблюдатель. И хочу уйти. Потому что просто не могу схватить главной мысли автора. Наверное, этот спектакль обо мне. Герои одеты во все мои лучшие хламиды. Я узнаю все свои куртки с капюшонами. Я понимаю, почему теща хочет напаялить на меня пиджак. Но я не дамся.

Я хочу на улицу. Я хочу на темный после дождя Литейный. Я хочу купить свежий батон и молоко. Видимо, этот парень Пинтер тоже порядком сумасшедший. И он наставил тут удивительно твердые стулья. От них у меня затекла каждая клетка таза! Две толстые бабки рядом не дают мне пошевелиться. Это часть замысла: посадить зрителя на самые жесткие стулья, между толстых бабок, чтобы они были нераздельной частью трущобы. А у меня еще специальные стулья для контрамарочников. Чтобы у них так затекала жопа, чтобы не повадно было шляться в нищие театры без денег.

Только бы не нарваться на спектакль без перерыва. Нельзя сидеть так близко от сумасшедших. Это очень затягивает. Текст Пинтера абсолютно пуст, но все думают, что за этими глупостями есть высший смысл, и смеются. Сумасшедшие братья неистово разбивают и топчут Будду. На сцене зажигают свет. Хороший театр! Номерки вообще экстракласса: я нигде не видел таких тяжелых элегантных номерков. Я первым вырываюсь на воздух. Длинную Владимирскую яму закопали и покрыли импортным асфальтом. Здесь будут ходить бесшумные трамваи. Но пока вместо трамваев ходят одни пьяные ханыги. Но мысль гениальная — трамвай громыкает по всему городу, а потом въезжает на триста пятьдесят метров на бесшумный Владимирский и едет в абсолютной тишине. Он чувствует себя в Цюрихе. А потом трамвай свернет на Колокольную и снова начнет дребезжать. Отличный вечер, и спектакль мне понравился. Его можно отвезти обратно в Европу. Расходы небольшие: трое невысоких мужчин, две железные кровати, пять клеенок и трубы.

Первокласснице Тане дали на дом задачу, с которой она не справилась. Три мужских портрета, нужно только правильно разместить фамилии. Таня прожила всю жизнь в Иерусалиме, и она впервые видит этих людей. Изображены Суворов, Кутузов и Гагарин. Класс тоже в основном с задачей не справился.

Я проводил тест среди израильских старшеклассников. Я спрашивал, с какими странами граничит Израиль. Из двадцати правильно ответили только двое. Называли и Грецию, и Турцию, и «Саудию», и, конечно, Ирак. Сегодня все мои респонденты служат в израильской армии.

Сегодня седьмое ноября. Это мой праздник. В Канаде я испытал главный шок своей жизни, когда проснулся и вышел на улицу в десять утра седьмого ноября, и вокруг была обычная жизнь. Никакого праздника, ни военного парада, — ничего! Я сразу понял, что канадцем мне не стать. К сожалению, я не ошибся.

Кофе давно уже стал подарком. Вообще еда — это хороший подарок. Кстати, если вы никогда не пробовали пельмени «Богатырские», то считайте, что вам крупно повезло. Но старушки никогда не пробуют эти пельмени.

Я не понимаю, что они друг другу дарят.

Я сижу и подделываю подпись израильского вице-консула. Не ездить же за ней в Москву. Я уже три раза бегал на почту напротив делать новые копии, у меня всё время получаются очень длинные хвостики. Техника очень простая: берешь старый документ, подписанный каким-то придурком, и мажешь его «типексом». Старые копировальные машины на почте делают такие мутные копии, что «типекса» не видно. Дальше пишете любой текст, а на нём уже готовая печать консула. В Израиле скажете, что получили его по факсу. У меня это не денежный документ. Кому я предъявляю такую бумагу, я решил не писать, чтобы кто-нибудь не настучал. Не из подлости, а из национального чувства долга. Меня один раз так чуть не сдали военной разведке. Я возвращался в военной форме из Ливана. Шел 82-й год, и один знакомый офицер возил меня на фронт в свою часть. Но когда я возвращался домой, эта военная форма сослужила мне плохую службу. На иврите я не говорил ни слова, у меня был с собой только временный итальянский паспорт, и я ехал с фронта. Не быть бы мне кондово русским, чёрта с два бы меня выпустили. Тот знакомый офицер уже давно умер. Перед смертью он даже был вице-консулом в одном из государств СНГ. Но подпись я подделываю какого-то другого израильтянина. Надо запретить консулам так сложно расписываться.

Профессорская дочь Женька хочет есть. Я ее спрашиваю:

Хочешь гречки? Нет. Овсянки? Нет. Ядрицы? Нет. Пшенички? Нет. Манки хочешь? Нет. Ячменных хлопьев? Нет. Щец тебе сварю? Нет. Удивительная избалованность. Я не понимаю, чего она хочет. Я вообще плохо понимаю, чего хотят женщины. Деликатесами кормить я её не собираюсь. Деликатесы — на зиму. Вот начнется тотальный голод, и мы будем есть деликатесы.

Мороз. Холодный ясный воздух. Приходится надевать два плаща. Пора покупать пальто, но жалко денег. Заливаю коток водой из глубокой лужи. Чёрной, грязной водой, а утром снова всё тает. Надо где-нибудь украсть дворницкую лопату. У меня, как у проститутки, мечта жить честным трудом, разгребать снег для людей. Если разбогатею, — в следующем году постараюсь нанять за два доллара поливальную машину, если они еще существуют на свете.

Хочется лежать в Мертвом море, смотреть на небо и никогда оттуда не вылезать. Ближе к Содому вода лазоревого цвета. Скоро зацветут маки, арабки залезают в воду в платьях, немцы понаедут с псориазом. Неужели никогда в жизни не увидать мне больше Содома?!

Женька, что у нас сегодня в театре?

— Ты знаешь, совершенно точные данные: у Виктюка в театре всего двое голубых. Причём один из них — электромонтер.

— Думаю, что врут. Но бывают еще скрытые голубые! Ты читала книгу «Мальчики и девочки»? Бывают левши, а бывают частичные левши: левша на левый глаз, левша на левое ухо, левша на левую почку, но хватит сегодня о театре.

Живя с Женькой, я стал большим специалистом по театру.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Если мысль сразу не записать, то потом ее не вспомнить. Стирается даже название раздела, непонятно, где в своём мозгу её искать.

Что делали комары, пока здесь не было русских? Раздолье ли комарам в Китае? Кончатся ли комары на земле при коммунизме?

Можно ли вообще перебить всех комаров? Я утверждаю, что на этом же участке планеты те же самые вопросы не давали жить Пушкину. Он не любил комаров, и комары сильно влияли на его творчество.

Самое страшное, что в тот час, когда исчезают комары, появляются слепни, а потом кусачии божьи коровки, я даже не собираюсь писать их с большой буквы.

Я боролся с комарами весь июнь. Я даже жевал спираль от комаров, чтобы укусы были менее чувствительными.

От итальянской спирали начинался страшный гудеж. Комары от этих римских таблеток не совокуплялись, а только жужжали, но так жутко, что дети не могли спать, и мне приходилось долго плевать на эту спираль, чтобы ее погасить. Это не случайно, что эти спирали завозят к нам из Италии.

То, чем я занимаюсь, — это только описание времени и самого меня. Я вчера читал второй том «Мёртвых душ», — там нет ни капли прозы, но невероятно точно представлено время.

Перед зимой стены нужно обить книжками. Пионерский домик надо утеплять. Гвоздей — завались. Вы не представляете, что это всё за говно. Гоголя я забрал, Пушкин уже где-нибудь под Хельсинки, а остальное можно колотить без разбора. «Дворянское гнездо» и Чехова я тоже приколочу. Всё равно я Тургенева читать не стану, а от Чехова я тоскую.

Перед сном я пел детям военные песни. Федька просил сегодня одну повторить. Мы весь день отработывали с ним бобровсий удар из-за ворот, и он здорово устал. Я не имею права перед войной выбрасывать парафин, буду копить его в консервных банках. Пионервожатых еще не привезли. За пионервожатую я бы отдал всё. Я хочу своей рукой снять с неё галстук.

Сейчас нужно держать руку на пульсе и почувствовать, о чем я думаю больше: о жратве или о бабах.

Во мне умер вдумчивый исследователь-клиницист.

Репортаж тринадцатый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Время — это длинная дорога, по которой Екатерина едет в Крым. Время никуда не исчезает. Всё, что происходило на Земле, никуда исчезает, оно существует всегда. Это реальность, в которой я существую. И в параллельное время можно выйти с любого участка этого потёмкинского пути. Вы можете спросить, так почему к тебе не прилетают тучи княгинь, десятки тысяч княгинь? По числу ночей, которые они живут на земле? Воздушная флотилия княгинь в параллельном времени. Я не знаю. И не знает никто.

Да и откуда быть уверенности, что человеку подвластно знание? Может быть, душа имеет ограниченное количество вылетов, или не все княгини вылетают. Я не собираюсь рыться в теоретической мистике.

Я практический мистик. Мне не нужны эскадрильи княгинь, стареющих княгинь, юных княгинь, молодых княгинь. Я с одной-то не знаю, что делать. Я вызывал её в основном из любопытства, подтверждая свою же теорию. Никто не рассчитывал на ответ. Меня то-

шнит от рабской взаимности. Меня сразу начинает раздражать, что княгиня думает только на полированном французском. А говорит по-русски, но с опереточным акцентом. Она говорит «писать». Раньше так говорили. Пушкина это могло не раздражать. Керн говорила «писать».

И эта ледяная попа. Просто чемпионка СССР по ледяным попам.

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ.

Несколько раз повторили, что цены на свечи не будут увеличиваться. Это меня начинает настораживать, похоже, что зимой придется писать при свечах.

Большие вклады держать в банках опасно — видимо, тайна вклада не сохраняется. На тебя наезжают и под пистолетом заставляют деньги снять. Бедным быть безопаснее, ты никому не нужен, кроме избиркома. Целый день к нам приходят избирательные старушки с избирательными листовками. Женька не отпирает никому и говорит, что не прописаны, а я открываю дверь всем старушкам и обещаю голосовать за всех, раз они уже приперлись на восьмой этаж.

Хорошо бы основать партию старушек, я готов её возглавить.

Я говорю своей жене, профессорской дочери Женьке:

— Считаю себя снова невестой!

— Невеста без места, — рассеянно отвечает Женька

— Я хочу помочь тебе вернуться в твою привычную среду, в отчий дом! Ты не должна тратить свои душевные силы на такого ничемного человека, — говорю я и понимаю, что меня очень внимательно слушают. Я на верном пути.

— Неужели мы вместе выйдем в третье тысячелетие? — спрашиваю я профессорскую дочку.

— Нам бы до 200-летия Пушкина дожить! — отвечает она.

Мой сын, израильский солдат Давид, посмотрел Ромео и Джульетту в БДТ и говорит, что, если очень нужно, он может ещё пойти в театр, но лучше бы не нужно. Только чтобы я не обижался. Через год он ещё раз приедет из израильской армии и купит мне машину и ботинки «доктор Мартин». Чтобы я не ходил зимой в кроссовках. Я его успокаиваю, говорю, что мне все равно. Но он не верит.

Памперсы стоят восемьдесят рублей. Мы перестали их покупать. Памперсы восемьдесят, а банка сгущенки — восемь. За десять банок сгущенки пусть он ссыт на пол. Ковры можно убрать, не бере. Тем более, что ковры вытерты до дыр. Я столько лет за границей не мог позволить себе вволю поест вареной сгущенки, что я не желаю, чтобы ее писали на ветер.

Не надо было заводить детей!

Ах, не надо было заводить детей? Половой жизнью мы больше не живем. Пока памперсы не подешевеют, я объявляю сексуальный Великий пост.

Пока памперсы не подешевеют, можно ещё ходить на Сезанна и на Сильфиду. Но лично я в Зимний дворец ходить не собираюсь. Когда я после десятилетнего перерыва попал в Эрмитаж, он показался мне заштатной коллекцией второразрядных картин. Сволочь Хаммер вывез все, что можно было вывезти. Я нанял себе румяную деву-экскурсовода с косой до попы.

Но это меня не спасло. Мне ужасно нравилась коса, но уже через час я умирал со скуки. Картин много, но шедевров нет. Я сел на банкетку и заснул. Жуткий позор! Ни в Берлине, ни в Вене, ни во Флоренции со мной такого не случалось. Правда, я дважды засыпал в Ватикане. На меня действует католический дух. В Русском музее тоже тоска. Я хожу только на Филонова и еще на три картины. На картину Филонова можно купить очень много памперсов. Целый парход памперсов. Хватит на всю жизнь.

Снег идёт три дня. Безумно хорошо. Я не хочу уходить с улицы. Катка мне оказалось мало. Я работал с одним шкетом, который, видимо, тоже меня обворовал. Ему не хотелось возвращаться домой, потому что его обещал убить дед за то, что он прогулял школу и вчера украл и истратил бабушкину пенсию. Мы сделали хоккейные ворота и залили горку. Для основы мы притащили с помойки старый холодильник «Юрюзань» и батарею, и поставили их на кирпичи. Школьники идут из школы и обязательно всё ломают, но я с ослиным упорством заливаю снова. Ломают не со зла, просто по дороге в школу что-нибудь хочется сломать, и горка не выдерживает. Я попросил профессорскую дочку разрешить мне снять полированную дверь в прихожей и заморозить её в горку, но она не разрешает. Весной можно было бы разморозить каток и поставить ее на место. Мамонты сохраняются много миллионов лет, что за одну зиму может произойти с полированной дверью?

Мальчишки расчистили рядом сквер и поставили «иглу». Все воры. Внутри курят и жгут газеты, чтобы замерзли, оттаяли, а потом замерзли стены. Мои воспитанники всё время что-нибудь воруют и предлагают мне перекупить свою добычу. Вчера украли прекрасную двойную лопату для катков. Я побоялся её перекупать, и они сдали алюминий по цене лома. Взрослые никогда не помогают делать каток — только вот такая шпана.

Женька купила мне «словарь для молодежи». Там много новых слов. «Лохматка» — это женский половой орган. Мне очень нравятся молодёжные слова.

Каток помогают заливать брат и сестра Маша и Миша.

У них ангельские личики, но это трудные дети. Они живут у интеллигентной бабушки-дворника, но неинтеллигентный дедушка говорит, что этих «ублюдков» нужно поместить в детский дом. Потому что они воруют все деньги, которые бабушка-дворник забывает спрятать. В прошлом месяце они украли две пенсии, и истратили их за полтора часа. У них стандартный семейный анамнез, к которому я начинаю привыкать. Папа убил маму, за то, что она встречалась с одним дяденькой, и получил восемь лет. Дяденька отделался ушами. Третьего ребенка отдали другой бабушке в Воронеж. Там она хорошо учится в первом классе. А Миша с Машей в школе бывают редко, бабка бежит за внуками целыми днями по дворам, но за ними не угнаться.

Ко мне начали наведываться мормоны. Два румяных толсто-мордых америкоса, которых я нашел у помойки. Старейшина Палмер и старейшина Смит. Они рассказывают мне главные мормонские тайны, но денег, жмоты, не предлагают. Анька говорит, что «америкосы» и «негритосы» говорить нельзя. Надо говорить «два европоамериканца». Я прочитал их главную мормонскую Книгу. Там ни одного раза не употребляется слово «спасение». Это мне не очень подходит, но мне нравятся законы их штата. Почему они не присылают старейшин другого пола, — я чувствую, что готов в мормоны, если они будут присылать девочек.

Приедут две румяные лохматки, и я пойду в мормоны. Но мне старейшине Палмеру эти тонкости не перевести.

Я говорю своей жене Женьке:

— Ты слышала о штате Юта, со столицей Солк Лейк Сити? Там разрешено двоеженство!

— Какие еще мормоны? — спрашивает меня Женька.

Список моего курса. Космач — доктор мед.наук, Бобка Клементьев — доктор мед.наук., Боря Шашков — профессор зав.отделением, главный врач, главный врач, профессор-консультант. Ху из ху. Профессора, профессора, доктора наук, главные врачи, главврачи тюремной больницы, завотделениями. Я завидую всем страшной завистью. Ужасно, что все это не из моей жизни. А где моя жизнь? Она нигде. Гинеколог специальной поликлиники творческих работников! Скорее даже работниц. Им мог бы быть я! Как бездарно пролетела жизнь. Я мечтал стать акушером-гинекологом волейбольной сборной. Я до сих пор еще думаю об этом, когда смотрю волейбол. Потому я и перестал быть гинекологом, что меня беспокоили эти мысли. Еще я мечтал стать председателем совета отряда, но дальше звеньевое я ни разу не поднялся. Бог шельму метит!

Я объясняю своей жене, профессорской дочке Женьке, что думать, будто актер театра «Глобус» Шакспер, этот Василий Иванович с его молибденовым носом, мог быть создателем Ромео и Джульетты, значит допускать, что человек, не обладающий сверхкультурой, человек ниоткуда, может сделать скачок к гениальным откровениям. В пример я обычно ставлю себя: если бы мне ещё хоть капелючку сверхкультуры, разве я сидел бы здесь на этом колченогом стуле, разве я писал бы эти idiotские репортажи? Разве я торчал бы безвыездно в этой благословенной стране, где красная икра дешевле сыра?

Открытый чемпионат Петербурга. Ветеранам и инвалидам бесплатно, но в первый сектор. Это из гуманности. Не ветеранам чего-нибудь, а просто ветеранам жизни. Я пришел на закрытые корты с инвалидом. По дороге мы долго карабкались по склонам обледевшего парка Победы. Там есть места, где на одной ноге не подняться. И инвалид скатывался под горку. Но по глубокому снегу мы все-таки добрались до зала. Инвалида направили в первый сектор, а меня не пустили в первый сектор, потому что у меня был билет в третий сектор, а первый сектор специально предназначался для инвалидов. Правда, первый сектор не просто за пределами корта, но с него вообще не видно корта. И сначала я долго перелезал из третьего сектора к инвалиду, а потом мы долго перелезали с инвалидом поближе, чтобы было видно как Сафин бездарно играет со швейцарцем. Эти перелезания меня очень утомили, и до конца встречи я клевал носом. Всё-таки мне намного больше нравится женский теннис.

Обменный пункт в Пассаже. Вкладываешь туда доллары и с ужасом ждешь, появятся ли русские рубли. Чувствуешь себя полным идиотом. Особенно когда появляются рубли.

В России мне нет смысла нагибаться за деньгами, — идешь, выпрямившись, глаза сверкают от духовности и холодного счастья. На деньги, которые тут роняют, не купить даже спичек. В Иерусалиме — не так. Согнешься в три погибели и скрюченный бредёшь по базару, ищешь под ногами шекели. Особенно зимой, когда нет работы. Особенно перед началом субботы. Найдешь пару шекелей и долго ходишь по рядам, думаешь, чего бы еще купить. Маслинок черных мятых, авокадо с бочком, хумуса баночку можно взять грамм 250, фейхуа мягонькое, яблочек на варенье, кукурузки молоденькой, баклажанчик, клубнички январской, всё это в шабат кушенькаешь. Я ненавижу материю! Но очень хочется мятых арабских маслин. Просто наваждение какое-то.

Моя жена, профессорская дочь Женька тихо бранится на кухне: «...я ни черта не понимаю в этой пьесе, у меня депрессия. Завкафедрой даёт мне idiotскую тему, по которой я ничего не собираюсь

писать. Ты покупаешь на редкость пересохшую икру и еще говоришь какие-то глупости о Станиславском. Весь мир считает его гением, а какой-то debil, невежда, который ничего о нём никогда не слышал, считает его «напыщенным самодовольным павианом». Откуда ты это взял? Ты хоть понимаешь, что он был идеалом мужской красоты?! Женщины валялись у подъезда его дома. Ты просто примитивный идиот. Ты хуже Гезенцвея, который что-то невнятно бормочет про Чехова!»

— Так разводимся?

— Нет, ты никогда не увидишь развода!

— Но почему!?

— Исключительно из принципа.

Женька говорит, что мужчины обычно не любят выяснять отношения. Но, к сожалению, бывают исключения.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Я смотрю на жизнь со стороны, из кармана времени. «Год 1999-10-13», — услужливо подает компьютер.

В комнате открыто окно. На столе сидит голый ребенок, нога закинута за ногу — это ангел. Он постоянно просит ряженки с сахаром. На столе компьютер и принтер hewlett pacard? gjkrhe; rb jndhfnbntkm-yuj xfz ghbywtccf ubnf, полкружки отвратительного чая «Принцесса Гита», я отмечаю все подробности, которые воссоздадут время, если мне понадобится сюда вернуться. Не увлекайтесь деталями, но комнату сделайте победнее, чтобы не было больших искажений. Вода желтая, в Неве мазут.

По времени можно двигаться в параллельном времени и в колоде времени. Об этом отдельно. Для движения в колоде — нужен колодец. Для движения в параллельном времени — сеть контор. Где они расположены? Везде. Они есть, но их меньше, чем брачных контор и контор Спортлото.

Зачем люди путешествуют по времени — не знаю. Меня интересует история, культура и женщины. Но если речь идет об истории и культуре, то и в этом случае всё кончается женщинами. Мне не трудно повторять это слово — женщины.

Я уже переписал на стены очень много стихотворений из Евгения Онегина и погружался туда всё глубже. Шли пушкинские чтения, и по радио выступала всякая сволочь. В любом случае, Пушкин ни до нобелевской премии, ни до седины не дожил.

Невероятно быстро течет время. Скорость жизни равна скорости света. Даже быстрее.

Репортаж четырнадцатый

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Меня угораздило проснуться в жуткую рань, да еще искусанным комарами. Я прошелся по комнате и заделал штанами большую щель над дверью. Видимо, комары летели оттуда. Было еще очень темно, но комары уже гундосили всюю. Мне приснился текст из параллельного времени, и я заставил себя встать. Я проснулся оттого, что мне снилась любовь. Не какая-то конкретная любовь, не конкретная женщина. Стоп. Это ещё чужой сон, сон из другой реальности. Меня просто дразнят. Я умею по каким-то признакам их отличать. Просыпаешься, и сразу понятно, что ты где-то был. Вообще всё это — записки мёртвого, и у обычных людей таких снов быть не может. Это значит, что меня вызывают. Непонятно, откуда сигнал. Это не повторное рождение, потому что я никогда не умирал. Я могу путешествовать по чужим снам. И сама жизнь моя измеряется цветными снами. Мне осталось восемьдесят два цветных сна.

Я писал роман о параллельном времени и всё время туда сползал. Вообще говоря, никому не нужно доказывать, что параллельное время существует. Но оно настолько слабое, что заметить можно только его следы. Для большинства людей это только не прочерченные карманы в будущем и в прошлом. Но если вы можете передвигаться в параллельном времени, значит, вы можете двигаться вдоль нашей жизни. Вперед и назад. У меня это началось после (психического заболевания, аварии, развода, всё перечисленное, нужное подчеркнуть). Но я могу летать только в прошлое. Да и то всё время присутствует страх, что не вернешься. Может быть, вы помните, что это есть в Первой Книге Царей. «И спросил Давид Господа, придет ли Саул в Кеиль, и Господь сказал, придет. И спросил Давид, предадут ли меня жители Кеиля, и Господь сказал, предадут». Речь идет о не прочерченных карманах будущего, они реальны, они существуют, но они неосознаемы и слабы. Это варианты шахматных партий, которые вы проигрываете в уме. Одна стала материальной, но остальные, конечно же, тоже существуют.

НА МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ

Голодаю седьмой день. Вечером я, наконец, поем. Что бы ни говорили любители голодания, но для меня это — сушая пытка. Меня утешает только, что профессорская дочь Женька к вечеру купит мне большой помидор, головку чеснока и сварит мне каких-нибудь овощей с солью. И я оттянусь. Нет ничего вкуснее этой первой еды после голода. А пока я в бане, я мирно парюсь. Господи, я у себя на родине. Я свой, я парюсь с моим голым народом в общем зале. Потому

что люкс, черт его дери, работает только с девяти и ждать его целый час мне лень. Номерков больше не существует. Здесь не воруют, здесь больше нечего украсть, кроме кальсон. Я налил себе в тазик жёлтенькой нездоровой водички, я зажал под мышкой веник. Я в царстве белой плоти. Я на старческом призывном пункте Союза ССР. Нас вместе с тазиками отсылают в Усть-Мартановский район Чечни. Мы суровые римляне, вот и римские цифры на башенных часах в предбаннике. Как быстро течет римское время! И кто напустил сюда столько страшных обрюзгших латинцев?!

Нас тут 27 голых человек с сабельными шрамами, 53 ноги. Передайте куда-нибудь в Галактику, что мы мирные люди, из нас можно на мыльном кафеле выложить слова «миру мир». Вот, читайте нашу доску объявлений! Помывка 3,5 рубля (раздевание, помывка, одевание), за помывку меньше часа оплата полная, за помывку больше часа доплата 26 копеек за каждые 5 минут. А в льготный понедельник час всего 1 рубль 05 копеек, а за каждые пять минут больше часа доплата всего девять копеек. Считайте, что если доллар стоит 25 рублей, то помывка в течение часа стоит 4 цента, а доплата каждые пять минут всего 0,37 цента, то есть, в Чикаго даже нет такой валюты, и за лишние пять минут помывки в Чикаго доплатить просто невозможно. Эй, в Галактике, прилетайте к нам помываться!

Но я не советую вам прилетать в льготные дни.

Миша сегодня катался мимо нашего катка на лестнице троллейбуса. Мише восемь лет, а его сестре Маше скоро одиннадцать. Миша много катается на троллейбусах. Он висит сзади на лестнице, а ноги волочатся по асфальту. В трёх метрах за ним едет ряд легковых машин. Я бы так не смог. Вот это жизнь! Это покруче секса.

Девочка Маша уже неделю живет в подвале соседнего дома, чтобы её не убил дед. На этот раз она украла триста рублей из сахарницы. Бабушка-дворник в подвале чистенько прибрала, и Маша говорит, что совсем не страшно. По утрам Маша приходит к нам за питьевой водой, и я делаю ей бутерброд. Девочка Маша говорит, что если у неё родятся дети, то она этих уродов сразу утопит. Она вообще пока не хочет детей. Еду она ворует в магазинах, и всё-таки для одиннадцати лет она очень много курит.

Мой одноклассник всю жизнь работает на оборонном заводе. Говорит, что все разворовывают. Посылают снаряды в Индию, но те ничего не платят. Или кто-нибудь перехватывает снаряды по пути. Йоги. Но завод получает новый заказ из Индии, и безо всяких денег сразу начинает над ним работать. Зарплаты уже много месяцев никто не получает, но голодных бунтов нет. Все держатся за свои рабочие места и как-то выкручиваются. У кого огород. Кто ездит за грибами. Кто ставит сеточку.

Миноги, которые я закупил во время кризиса, оказались испорченными. Вот так проживешь жизнь, и никогда не попробуешь миног. Надо сразу всё съедать, нужно пользоваться жизнью и ничего не экономить. Не нужно оставлять запас красной икры, который после твоей смерти достанется неизвестно кому!

Хорошо бы ещё этими миногами накормить моего соседа Василия Ивановича, но как же его заставить их съесть, даже очень пьяного?

Наш учитель физики Николай Николаевич идет после запоя по Рубинштейна. Во время этого запоя он ночевал у нас всего один раз, он спал под столом на кухне и пил только настойку боярышника. Хорошая вещь. Она на 70-градусном спирту, но её дают в аптеках без рецепта. Даже можно попросить в долг от аритмии. Получается на сто граммов по десять копеек за градус. Самая дешевая водка сейчас стоит втрое больше, Николай Николаевич считает это в доли секунды. На ступеньках маленького гастронома сидит рабочий магазина и допивает бутылку пива. На руке наколка, перстенок, ну, типа «отсидел срок звонком», пара ходок, еще что-то такое. И рабочий сидит уже прилично поддавший. Физик мой спрашивает: «За наколки отвечаешь?» А тот говорит: «Ясное дело, отвечаю». Николай Николаевич хороший физик, кандидат наук, две монографии, я забыл, на какую тему, кажется, по физике твердого тела, но во время запоя на него страшно смотреть. Запой у него не очень частые, раза три-четыре в год. И он говорит рабочему: «Оставь, земля, глоточек». А рабочий вытирает рот и говорит: «Отгадай загадку, и я тебе оставлю». Физик говорит: «Ну, давай!».

— Что такое гугол?

А Николай Николаевич без секундной паузы говорит: «Это единица в сотой степени». И они устали друг на друга с очень большим удивлением. Рабочий не ожидал, конечно, что задрипанный и потёртый алкаш мог ответить на такой сложный вопрос, а Николаю Николаевичу тоже было от чего удивиться. И рабочий тогда ему говорит: «пойдем, я тебе не глоток, а бутылочку пива куплю. Или держи червонец, и купи сам, какое хочешь». И Николай Николаевич купил себе Балтику, четверочку. Вот такая история.

Я говорю своей жене, профессорской дочке Женьке: «Неужели тебе не хочется снова стать невестой? Встретить человека своего круга, с высокими духовными запросами!»

Пока не удастся уговорить ее сделать решительный шаг и меня бросить.

— А твои родители отоварились? — заботливо спрашиваю я жену.

— Когда мы будем есть все, что ты закупил? — отвечает она мне вопросом на вопрос.

— Никогда! Это не для пожирания, это в высшем смысле!

— Все, что заплесневевает, я тебя заставлю прожевать, проглотить и съесть!

— Ты удивительная мещанка. А еще папа-профессор. Неужели ты не понимаешь, что к весне мы будем варить и есть мокасины?

Вообще непонятно, что же люди едят? Пенсионеры рыщут по округе в поисках бутылок. Я тоже припрятал несколько бутылок из-под пива на антресолях. Бутылки от шампанского никто не принимает.

На Просвещения сегодня ночью шел снег. Но в квартире тепло, бесплатно телефон, вода. Газ — сущие копейки. Есть консервы и гречка, зиму можно выдержать.

Я получил письмо из Америки от одной докторицы:

It was so hot here that we broke some power cables and lost electricity in this region of the city. We walked up 32 stories in dark stairways, we had no water, no email!, etc. But now we have air conditioning again and everything is «normal» (to the extent that it ever is).

Хорошо, что у нас нет небоскребов! 32 этажа пешком мне был бы не выдержать. И еще в руках полные сетки с продуктами, и подкурренные негры с ножами, которых и не увидеть в темноте! Им тоже нелегко, нечего злорадствовать. Но я продолжаю искать счастливое место на Земле, в котором захочется весело и беззаботно поджидать близкий конец света.

Звоню Фельке Залесову — он зав. отделением в платной поликлинике. Я не видел его двадцать семь лет.

— Феликс Владимирович?

— Да. С кем имею честь говорить?

— Это майор Степанцов из главного пожарного управления. Мы вас очень долго искали. Вы ведь служили в пожарных частях в 1970 году? Так вот, вы были премированы медалью и денежным призом. Вы ведь были в первом карауле.

...Клунет или не клунет?

Фелька всегда был жадноватым. Против денежного приза он ничего возражать не будет.

— Приз-то большой? — спрашивает он со смешком.

— Да в районе двух тысяч рублей уже набежало, считайте, сто долларов. И прекрасная история для «Медицинской газеты»! Награда двадцать лет искала своего владельца! Но вам нужно будет участвовать в лыжном кроссе, 50 км для ветеранов, бежать можно медленно, вы же бывший мастер спорта!

Прибежали мальчишки, которые заливают со мной каток. Говорят, что у помойки лежит расчлененный труп. Жалуются, что взрослые его даже не могут прикрыть брезентом. Рядом стоит милиционер, пьет чай из термоса и ест бутерброд с докторской.

Очень тяжело заливать каток, когда нужно перетягивать с ведрами с восьмого этажа. Хорошие дети не помогают мне заливать каток, потому что по утрам они ходят в школу.

Снег идет без конца. Хочется его пить, курить, купаться. Якутская кровь, с этим ничего не поделаешь. Профессорская дочка вышла со мной убирать снег. Я чувствую себя Макаренко. Может быть, у меня к ней, я боюсь этого слова. Иногда пятилетнего брака и двух сыновей недостаточно, но вдруг, когда фифа, с которой вы проживаете, выходит вместе с вами убирать снег, вы начинаете приглядываться к ней повнимательнее. Скорее всего, её выход с лопатой — чистейшая случайность. Может быть, она слышала, что мой каток показывали по телевизору. Других реальных причин я пока придумать не могу.

Старушки — смешной народ. Они любят сидеть на морозе и торговать. Идёт снег или дождь, но сидит очередь инициативных старушек, обхохочешься. Молодых берут в участок, а старушек милиция не трогает. Старушки и рады были бы, чтобы их увезли с мороза. Но куда их повезешь? И их там надо кормить, даже если это какая-нибудь специальная тюрьма для старушек или спецприемник. Да ещё теплой пищей. И милиция их почти бесплатно вообще не замечает. Торгуют кто чем, кто соленьем, кто вареньице варит. Попрячут свои ящики за Союзпечатью и под кустами, а утро наступает, и уже снова тянутся с мешочками. Я довольно хорошо варю яблочное варенье и клубнику, скоро я натренирую себя на старушку и попробую с ними там зарабатывать. Правда, радиокомитет обещал заплатить мне за серию передач, но только двадцать семь рублей за семь передач. Это доллар с четвертью. На семь эта сумма вообще не делится, поэтому я не могу определить, сколько стоит одна передача.

Кондуктора обходят беременных женщин и женщин с новорожденными сторонами. Денег с них не берут. В городе заговор кондукторов! Я тоже хочу стать кондуктором. Но я точно знаю, что я буду весь день ходить и закидывать билеты. А еще хуже, что я весь день буду считать, сколько раз по два рубля я уже наворовал, и всё время сбиваться, поэтому я пока не работаю.

— Что это у тебя на шкафу? — спрашивает меня Женька.

— Это тыква.

— Почему она не желтая?

— Она пожелтеет.

Мы все тут еще пожелтеем.

— Я за тебя держусь, — задумчиво говорит она, — только потому, что все остальные мужики еще хуже.

— Но достаточный ли это повод, чтобы портить мне жизнь?

— Достаточный.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я ЖИВУ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ.

Я однажды видел по телевизору, как Ахмадулина и Окуджава жрали осетрину на какой-то своей поэтической сходке. Там и сёмга была, и балычок, был уставлен целый стол. И они говорили друг другу разные комплименты и жрали эту рыбу. Там был целый зал поэтов, кто поел, отходили в сторону. Это было достаточно противно. Но я решил концентрироваться на Пушкине. И, собственно, это я тоже пишу о Пушкине. Если описывать его негативными параметрами, то нужно решить, стал бы такой гений жрать осетрину по телевизору или не стал. Скорее всего, стал бы. Но, может быть, он вообще не любил осетрину. Но эти всё схрумкали, и не потому, что на халяву, а просто они думали, что песни про Олимп оказались правдой, и вот они на Олимпе, среди своих товарищей, среди поэтической братии, и всё, что они делают для населения, очень ценно. Я остальных просто не запомнил, наверное, Искандера, Пригова не было. Но все совершенно достойные писатели. Просто им приятно было показаться по телевизору.

Хорошо было бы нарядить кого-нибудь Пушкиным и пустить за общий стол. Никто бы не удивился.



Владимир Грицовник

/ Киев /

Аполлон в траве

В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.

Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячее, чем бесполезней.

Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давяльне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.

Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадной времена.

Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град, в траве лежи.



Арсений Ровинский

/ Копенгаген /

■ ■ ■

Вот жизнь, достойная сонета:
с утра рысак, потом карета,
потом марьяжные дела.
Сторожка на краю села,
слеза, улыбка, шуры-муры.
Быть на крючке прокуратуры,
опальных бардов привечать,
крамолу отправлять в печать.

С волками жить и петь по-птичьи.
Объехав трижды шар земной,
вернуться с радостью домой,
тирана обвинить в двуличье,
и, загремев на десять лет,
узнать об этом из газет.

Французские стихи

* * *

Когда я поджигал столицу,
мне местный помогал народ.
Ты рядом, даль Аустерлица;
Бородино наоборот.
Глоток вина, остаток хлеба —
нам мало места на земле.
Ложишься спать под чистым небом,
а просыпаешься в Кремле.

Туземка изумлённо дышит,
своё лепечет буриме
что монастырская овечка.
О, русские! Всегда припишут
все достижения себе,
пока Москва горит, как свечка.

* * *

Устав от грохота и крика,
теплей не может быть зима:
представь, вокруг растёт клубника.
Я от России без ума.
Как мы их гнали! Как сверкал
мой штык! В какие рататули
я их мундиры превращал!
Осенний воздух, кровь, и пули
над головой, и верный конь
несёт вас к славе и могиле.
Мне вспоминается Гасконь,
как с дедом на слона ходили,
и как сосед наш, Беранже,
от папы бегал неглиже.

* * *

Рязань, Дорогобуж, Калуга —
типичный варварский язык.
Ребёнка позовёт старуха
и вздрогнешь, если не привык.
На огороде пьяный пахарь
лошадке задаёт урок,
и некуда бежать от страха,
и ангел плачет между строк.

■■■

Казённое письмо, история болезни,
где чудо из чудес попало в решето.
Кончайся, календарь, мгновение — исчезни
в столбцах воздушных цифр, где всё разрешено.

Классический юнец стучался к Бедной Лизе,
боялся расплескать, да поздно, не донёс.
Там трещина в стене, сорока на карнизе
и белый потолок в лепнине старых роз.

Бездонные пруды там будут нам наградой,
дубовые луга под ледяной травой.
Неведомый язык, репейник за оградой —
здесь можно жизнь прожить с чугунной головой.

Не лучше ли туда, где ко всему привык,
где в мойке навсегда застыли Пиренеи,
и ворон за окном, как тающий старик,
всё тише говорит, всё глуше, всё вернее.

■ ■ ■

Звезда не знает, где упасть звезде.
Что, выкормыш пленительных мелодий —
опять тебя одолевает дрожь?

В который раз, приятели мои,
свернув сигарку из вчерашней прессы,
смешные ваши песенки пою.

Прощай, тюрьма народов, рать твою.

Греческие стихи.

1

НАТО летает с утра
над синевой марин.
Опадает хурма,
может быть — мандарин.

Зелень, песок, ржавый гвоздь.
Не о чем говорить.
Ялта в мёртвый сезон,
если её отмыть.

2

Керинейская лань,
так же, как критский бык,
созданы для ловца,
чтобы он их кадык

сжал в стальной пятерне,
поместил между икр.
Для тишины в стране,
для Олимпийских игр.

3

Сотня злых мужиков
женихалась к вдове.
Обложили дворец
что твои ВДВ.

Но появился муж,
под рубищем — ордена.
Хорошо, если кто
успел сказать «вот те на».

4

Так и родная речь
вскоре заставит нас
созерцать небосвод
драхмами вместо глаз,

покорять города,
не спросясь о цене,
в совершенном всегда,
как в Троянском коне.

Павел Лукаш

/ Баж-Иан /

От Алексов

«О прошлом и о нынешнем — всё бред...»

Последняя конка

В Париже

1

Двое уже немолодых молодых людей, благополучно пройдя регистрацию и положенные проверки, оказались, наконец, в салоне самолета, вылетающего в Париж. Они расположились поудобнее и завели, либо продолжили начатый разговор:

— Инстинкт — безотчетное чувство, самое верное из всех чувств, — сказал один из них, тот, которого звали Алекс. — Можно не расслышать, не разглядеть, перепутать запахи, очень холодное принять за очень горячее, съесть соевый заменитель мяса и обмануться... Не подводит, или выручает, только шестое чувство — инстинкт.

— Но ребенок, — перебил второй, которого тоже, кстати (или некстати), звали Алекс, — не знает никаких философий. И, если хочет спрятаться, закрывает глаза, то есть: я не вижу, и меня не видят. Не подтверждает ли это теорию, будто Мир не существует вне наших ощущений?

— Эта теория основана на повышенном самолюбии, — возмутился Алекс. — Значит, если ты кого-нибудь облапошил, то благополучно справился с поставленной задачей. Ведь они не люди, а какая-то нереальная сволочь.

— Наверное, ты прав, — согласился Алекс. Но в чем именно прав был его собеседник — не уточнил.

Самолет набрал высоту. Красивая стюардесса¹ предложила пледы, от которых наши друзья отказались, о чем впоследствии пожалели.

— «А имел ли ты в виду захватить с собой дуду?», — процитировал Алекс стихи, известные, похоже, им обоим.

— Если под словом «дуда» подразумевается «еда», то ее уже разносят, — ответил Алекс.

Еду развозили, тяжело протискивая между рядами специальную металлическую тележку.

После завтрака Алексы смотрели в иллюминатор. Так как один из них сидел возле иллюминатора, другой заглядывал через его плечо.

Внизу открывалось нечто необыкновенное.

— Это горы, — сказал Алекс.

— Это тучи, — сказал Алекс.

После обеда раздавали напитки и Алексы взяли... Оба, конечно же, обратили внимание на красивую стюардессу.

— Вот я, — начал один из них, — старше тебя. Но мы — одно поколение. Мы дружим, у нас общие интересы. Мы пьем одинаковые напитки, читаем те же книги, слушаем ту же музыку. Дело не во вкусах, просто мы принадлежим к одному поколению. Несчастному поколению, потому что счастливых поколений не бывает. То есть, детям своим я говорю, что мы счастливы, но перед тобой нет смысла рисоваться. Одно поколение включает в себя пятнадцать лет. Значит, я принадлежу и к поколению твоего отца. Мы пьем, читаем, слушаем... Два несчастных поколения. И ничего не меняется. Посмотри на эту стюардессу. Я мог бы ее полюбить, но не имею права — она так молода.

— Право на любовь, — продолжил другой, — легче признать, чем право на нелюбовь. Например, люди, любящие кошек, гораздо агрессивнее относятся к тем, кто кошек не любит, чем наоборот. А любовь к стюардессе тебе простят. Гораздо сложнее простить человеку ненависть к стюардессам, особенно если он совершает в связи с этим какие-либо проступки. Можешь влюбиться, тем более что я тебя понимаю...

— Жена не поймет, — сказал Алексу Алекс.

¹ Красивая стюардесса — стюардесса, доставляющая наслаждение взору приятным внешним видом, гармоничностью, стройностью; рослая блондинка двадцати-двадцати двух лет, с правильными чертами лица, не слишком худая и на высоких каблуках.

— Ты больше зарабатываешь, — сказал Алексу Алекс. — У тебя солидный жизненный опыт. Устроенный быт. Жизнь размеренная, но не без приключений, и ты можешь себе их позволить при твоих доходах. А я зарабатываю в два раза меньше.

— Больше, чем в два раза меньше, — уточнил Алекс, но получилось неточно, так как имелось в виду, что Алекс зарабатывает меньше, чем в два раза меньше, чем зарабатывает Алекс.

Самолет направился на посадку. Приблизительно через час обремененные небольшим (или не обремененные большим) багажом оба Алекса оказались в Париже.

Доехав до гостиницы и оформив номер на двоих, они распаковали сумки, нетерпеливо поглядывая на окно.

— Так что бы мы ответили десять лет тому назад на вопрос: а увидишь ли ты, Алекс, когда-нибудь Париж? — спросил Алекса Алекс.

— Ответили бы, что, наверное, да, — сказал Алекс.

— Ответили бы, что, наверное, нет, — сказал Алекс.

2

— Художники и писатели ходили по этим улицам. То есть, они ходили по всем улицам, и не существует такой, по которой не прошелся бы какой-нибудь художник или писатель, а в худшем случае — музыкант, — витийствовал Алекс, поглядывая направо и налево, прямо и назад. — Но здесь ходили знаменитые художники и писатели и, в большинстве своем, знаменитые сейчас, а не тогда. Но почему? Парижский воздух приятен музам? Архитектура способствует? Сколько есть центров мира? Нью-Йорк? Париж? Иерусалим? Быть может, дело в том, что французы пьют хорошее вино, а не самогон из картошки? Но мясо они готовить не умеют, и, например, вчерашний стейк не имел ни вкуса, ни стыда, ни совести...

— Да, — соглашался Алекс. — Пора обедать.

Алекс прибыл в Париж в поощрительную командировку, что означало немного дел и много свободного времени. Алекс же поехал заодно с приятелем, чтобы провести отпуск и выполнить обязательную туристическую программу.

Посетив основные музеи, в том числе Лувр и Версаль (ветхий какой-то), Алексы решили посвятить оставшиеся дни прогулкам по городу. Они заходили в маленькие кафе, и пили красное, понижающее холестерин вино, и однажды забрели в ночной бар, где перепробовали все виды пива, предлагаемые в Париже.

— Не знал, что бывает вишневое пиво, — сказал Алекс, допивая шестой бокальчик и безнадежно трезвея. — Я ощущаю необыкновенную легкость и готов на подвиги.

Больше в этом баре делать было нечего.

— Хорошо, что мы не в Баварии, — сказал Алекс.

— Что же способствует творчеству, — вопрошал Алекс, — любовь, измена, перемена климата, голод или хорошая еда, личные неприятности, мировые катаклизмы, благополучие? Икс не может рисовать без несчастной любви. Игрек раз в году вскрывает себе вены, предварительно обзвонив друзей и знакомых, после чего испытывает очередной творческий подъем. Зет женится, находит работу, строит дом, под окном сажает пальму, перестает сочинять и ни о чем не жалеет...

— Что же способствует творчеству, — вопрошал Алекс, — праздность, физический труд, воздержание, алкоголизм, патриотизм, идиотизм, иммиграция? Икс получает наследство, много пишет, издает книги одну за другой. Игрек счастливо женат, растит детей, преподает, устраивает выставки и вечеринки. Зет всегда был отлично устроен, а стал и вовсе знаменит после того, как утонул в позапрошлом году...

В один из лунных вечеров с помощью фуникулера друзья взобрались на гору Монмартр и познакомились с двумя вполне симпатичными туристками. Пары выпали так, что дама помоложе прильнула к одному из Алексов, а барышня постарше, наоборот — к другому. Поскольку был важен сам факт, удачливые Алексы пригласили подружек в кафе, где заказали бутылку вина и тарелочку разнообразных сыров. От серьезного ужина диетически настроенные женщины отказались наотрез.

В отличие от начала XX-го века, в конце того же века — художниками на Монмартре работали в основном представители Дальнего Востока. Расставив повсюду переносные стульчики и мольберты, они рисовали портреты, быстро и уверенно удовлетворяя спрос на искусство. Каждый портрет чем-то напоминал Будду: Будда в очках, Будда с косичками, Будда в ковбойской шляпе... Среди гуляющих по Монмартру почти не наблюдалось французов, а парижан так, похоже, не было вовсе.

Парижанина от прочих можно отличить по одежде: пиджак, рубашка с галстуком, строгие брюки, туфли. Женщины — в элегантных костюмах, часто — в деловых.

Шорты, джинсы, кроссовки и футболки с надписями и картинками обозначают туриста.

В Париже Алекс носил пиджак по долгу службы. Но и Алекс носил пиджак — из принципа. «Человеку свойственно одеваться», — решили они, тем более что было прохладно, несмотря на июль.

Романтический вечер на Монмартре чуть было не закончился скандалом, так как барышня постарше не сошлась с Алексом во взглядах на искусство, науку, технику, мировую политику и еврейский вопрос.

— «Эта старая карга наживет себе врага», — процитировал Алекс известные всем четверым стихи, но процитировал их не вслух, а про себя.

Впрочем, дама помоложе подругу не поддержала. Да и Алексу было все равно. Спор в конце концов сошел на нет, и все расслабились, когда Алекс купил две розы у пробежавшего мимо индуса. И Алекс купил две розы.

Романтический вечер плавно перешел в романтическую ночь.

Женщины уезжали на следующий день.

3

— Моя жизнь — это призрачная паутина, — говорил Алекс, — а я сам — паук. Вокруг меня остатки желаний и амбиций, чувств и надежд. Все то, из чего я давно уже высосал соки. Лишь иногда, изредка, залетит такая цокотуха, и Мир обретает новый смысл. Правда, с возрастом мне все менее ясно: кто же из кого пьет кровь?

— Моя жизнь — это вчерашний день, — говорил Алекс. — Вчера я был влюблен, сочинил роман и похудел на двадцать килограммов. Сегодня у меня похмелье, расстройство желудка и полное безразличие ко всему происходящему. Мне даже не хочется смотреть телевизор. Разве это жизнь?

— Когда я родился, — вспоминал Алекс, гуляя по Люксембургскому саду, — у меня были очень большие уши, и все решили, что у ребенка с такими ушами должен быть абсолютный слух. Потом я вырос, а мои уши — не очень. Теперь у меня вполне нормальные уши. Но абсолютного слуха нет. Я пел в школьном хоре и потом брэнчал на гитаре. Но в мире музыки — не живу. Как я завидую тем, кто живет в мире музыки. Где все говорят на одном международном языке и понимают друг друга с полувзвуха. Если бы кто-то спросил, чего мне не хватает, я бы ответил — музыки. Верните музыку! Избавьте меня от комплекса немзыкальности! Но это лишь теоретический комплекс. Мне на музыку наплевать, — вот что обидно.

— В свое время я не поступил в мореходное училище, — говорил Алекс, глядя на зеленоватую колонну-obelisk, расположенную

на площади недалеко от здания суда, — и не стал капитаном дальнего плавания. Но за границу, наверное, меня бы не выпустили. Из той страны, где я родился и вырос, не выпускали. В другие страны иногда не впускают. Представь себе, что преступника держат в тюрьме, чтобы перевоспитать и выпустить. А так как он не поддается перевоспитанию или опять нарушает закон, то его не выпускают или сажают снова. Если с точки зрения государства я был хорошим, меня выпускали, а если был плохим — оставляли там. Значит, я родился и вырос в тюрьме.

— Я родился и вырос у самого моря, — говорил Алекс, стоя на палубе маленького речного парохода, проплывавшего в данный момент под мостом Александра III-го, царственного тезки Алексов, — но море не люблю. При этом мне необходимо знать, что оно рядом, и в любое время можно к нему подойти. Я переехал в другой город, в другую страну и опять живу возле моря. Думаешь — мне это нужно? Правильно — мне это необходимо.

— Еще в школе я понял, что не хочу учиться тому, что неинтересно, — вспоминал Алекс, прохаживаясь по тротуарам вдоль стен университета Сорбонна. — А ничего интересного для меня в школьной программе не было. И пришлось учить то, что нужно: математику, физику... Пришлось поступить в нужный институт. Хотелось поступить в интересный... Но уж это было точно никому не нужно. Теперь я хороший специалист. А для самообразования — посещаю библиотеку.

Во дворике Национальной Французской библиотеки Алексы отдыхали на скамейке.

— Проза «молодеет», — объяснял Алексу Алекс, — а поэзия — нет. Возьмем, к примеру: «Я помню чудное мгновенье...» и «Капитанскую дочку». Не для детей среднего школьного возраста сочинил наш великий тезка эту, тогда уже историческую повесть. Даже «Отверженные» Гюго стали детской литературой, чего не скажешь о его поэзии. Ты же не читаешь сегодня «Айвенго» Вальтера Скотта?

— Конечно, нет, — отвечал Алекс, — я читаю «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Приятели гуляли по Парижу, фотографировались на фоне, покупали открытки. А на Эйфелеву башню не поднялись — осточертела толкотня. Зато купили бутылку дорогого шампанского и разлили из пластмассовых стаканов под платанами на Елисейских Полях. Не будучи уверенными в законности этого мероприятия, распивали в сумерках и несколько в стороне. Шампанское оказалось тепловатым,

кисловатым и слишком пенистым. Но, опять-таки, был важен факт. Заходили в дорогие магазины. Алекс купил неплохой свитер по уценке, но Алекс купил дорогой галстук и без всяких уценок. Выбирали сувениры, чтобы недорого и сердито. Говорили о вещах важнейших и о всяческой ерунде.

Дома

1

Через несколько дней Алексы возвращались домой. Страна встречала всех сорокаградусной жарой. А если учесть и повышенную влажность, — обстановка, можно сказать, была накалена. Два автобуса, поскольку Алексы жили в разных городах, развезли их по домам. Расстояние между этими городами составляло километров сто.

Обычно приятели общались по телефону. Иногда наезжали друг к другу семьями. Но общение получалось вялым: много сил уделялось застолью. Часто встречались на нейтральной территории, тогда и удавалось поговорить.

Встреча состоялась в небольшом приморском городе, куда Алексов занесло по делам службы. Быстро разобравшись с делами, они сошлись запланированно: недалеко от набережной в небольшом ресторане. Тягучая мелодия лилась из динамика тихо и потому ненавязчиво. Громко здесь бывало по вечерам, а пока что, в три часа дня, посетителей не хватало. Гулко гудел кондиционер, в центре зала действовал небольшой фонтан, где три бетонных карапуза декоративно мочились в разные стороны с прямым попаданием в три бетонные ракушки.

Первая кружка развязывает язык, вторая — раскрывает глаза.

— Мне неинтересно, — жаловался Алекс. — Наверное, это депрессия. В нашу фирму приходят молодые люди, совсем еще дети, готовые трудиться по двадцать четыре часа. Для них работа — игра, а мне надоело... Сколько лет я работаю? Чуть меньше, чем живу? Но если раньше я мечтал о свободе, то теперь болею по выходным. Слабость, апатия... Жена зовет на природу, дети требуют внимания, а мне надоело даже читать. Зачем свобода? Вот если бы лет десять тому назад... Только на работе я в седле. Столько лет ездить верхом — ходить поневоле разучишься. Если бы сочинять или рисовать... Но не хобби, а так, чтобы стало жизнью. Как говорит один художник: «Мне жалко тех, кто не умеет рисовать».

— Я на грани катастрофы, — жаловался Алекс. — Сказать точнее: на грани катастроф. Финансовой, семейной... Не лезь в карман, не в этом дело. Это — перманентное состояние. Ведь так было всегда — не хватало. Чего? Всего. А сейчас — особенно. Потому что уходят годы. Я не люблю работу, бросил спорт... Куда идти? К Богу? Наверно, Он существует. Особенно здесь. Кого не спросишь, все верят. А я не верю — я надеюсь. Но не только я на грани катастрофы. Весь мир на грани катастрофы. Биржа, например, падает... Хотя это уже другой разговор.

— «Когда слагались эти строфы, был мир на грани катастрофы», — процитировали Алекс хорошо им обоим известные стихи.

В принципе, все складывалось нормально. Алекс, работающий в государственном секторе, получил небольшую прибавку к зарплате, после изнурительно долгой профсоюзной забастовки, надоевшей бастовавшим работникам больше, чем нанимателям. Алекс же, работавший в частной фирме, на бестактный вопрос: «Сколько ты получаешь?», всегда отвечал тактично: «Мне хватает». Никаких особых неприятностей в последнее время также не наблюдалось.

2

— Как-то раз в армии солдаты из моего взвода поймали лису, — рассказывал Алекс. — Это был еще лисенок — щенок. Его пытались приласкать... Но перепуганный звереныш укусил кого-то. Тогда ребята встали в круг и забили животное ногами. Как в футбол играли. И подобных случаев я видел немало. То прямо гринпис какой-то, и вдруг — бесконечная ненависть.

— В наш класс пришла новая девочка, — рассказывал Алекс. — Ее посадили за последний стол. Еще заранее кто-то сообщил, что если ей сказать: «Покажи...», — она покажет. Она сидела и улыбалась. Мы, мальчики, по очереди наклонялись под стол и смотрели. Нужно было только поймать момент, когда отвернется учитель.

— Мама где-то училась, папа что-то внедрял... А я приходил домой по деревьям. То есть шел от одного знакомого дерева к другому, чтобы не упасть и не заблудиться. Так, как я напивался в четырнадцать лет, я больше никогда не напивался. Дома бабушка встречала криком. А я шел спать. В школу не ходил. Моя подружка от имени мамы писала записки в школу, что я заболел или уехал куда-то с родителями. Сама же эти записки и относила, — вспоминал Алекс.

— В отрочестве мы с приятелем придумали такую штуку: будто у каждого в голове есть полый шарик, вроде мячика для пинг-понга. В этом шарике скапливается вся дрянь, достающаяся человеку в те-

чение жизни. Дрянь скапливается в виде черной грязи. И когда шарик заполняется — человек умирает, — рассказывал Алекс.

— Ночью, в детстве, я просыпался от страха. Я не хотел умирать и плакал. Дедушка мой — коммунист и атеист — обещал, что, пока я вырасту, изобретут лекарство от смерти. Можно было бы верить в загробную жизнь, но об этом со мною не говорили. А в лекарство я верил. Как-то раз я проснулся и попросил красный мячик. Я его кому-то обещал, потом забыл и вдруг вспомнил. Ночью мячик достать было негде. То есть, положение было безвыходным. Значит, если положение действительно безвыходное — не помогут никакие таблетки, — говорил Алекс.

— Я помню первый луна-парк в нашем городе, — вспоминал Алекс. — Его привезли то ли чехи, то ли венгры. Американские горки, электрические автомобильчики... Деньги, на которые семья могла бы жить несколько дней, в луна-парке тратились за несколько часов. Взрослые заинтересовались аттракционами не меньше, чем дети. Многие впервые в жизни садились за руль как бы автомобиля. В наши детские обменные фонды, кроме марок и обычных значков, поступила всякая разноцветная дребедень. Мы еще не поняли, но почувствовали, что в мире существует валюта. Если раньше трудно было представить себе, что такое рай, то теперь некоторое представление о нем появилось. Ежедневный праздник — больший, чем первомайская демонстрация. Всегда, когда захочешь или когда сможешь.

3

Жара на улицах начинала спадать, поскольку кончался сентябрь, а с ним и самое жаркое лето (и начало осени) за последние сто лет. Кстати, позапрошрое лето было самым жарким за последние двадцать лет, а прошлое — за последние пятьдесят.

— Если так будет продолжаться, — говорил Алекс, — придется эмигрировать на Аляску.

— Меня утешает лишь то, что сто лет тому назад было еще жарче, — говорил Алекс.

Они гуляли по набережной. Потом присели на парапете. День в преддверии выходного дня переходил в предвыходной вечер. Людей снаружи появилось много. Школьники стайками проплывали по мощеному тротуару, на их налитые фигурки было тревожно смотреть. Старцы выходили на вечернюю прохладу и рассаживались по скамейкам. Целые семейства прорастали на газонах, раскрывали шез-

лонги и складные столики. Дети катались на велосипедах и на роликах... Прогуливались молодые парочки и немолодые пары...

— Меня зацепила советская власть, а тебя — не успела, — говорил Алекс. — Ты не был настоящим комсомольцем, не читал передовиц, не принимал участие в общественной жизни школы или института, а если собирался вступить в партию коммунистов, то из конъюнктурных соображений. Из всех возможных догматов ты воспринял лишь тот, что Маяковский — великий поэт: «Почему же уголь, черный-черный, должен делать белый человек?». Ты ведь умел уже, так или иначе, эту власть не замечать. Ну, конечно же, ты пострадал. Тебе не дали уехать, унижали на собраниях, вынудили на время бросить институт, забрали в армию за двадцать тысяч километров от дома... Ты бедствовал вместе со всеми и не имел нормального жилья... Власть внедрилась в кровь твою и в жилы, но не смогла влезть в твой мозг, то есть в душу. А я читал газеты, активно участвовал в общественной жизни на местах, пытался бороться с видимой несправедливостью... И понял, что к чему, лишь когда меня потащили в Контору. А самоочищение души — это изнурительный и долгий процесс. Вся разница между нами в какие-то несколько лет, и вот — тебя уже не успели отравить.

— Мой отец сирота и многое понял с детства: «Он там трубку курит, а мы окурки собираем», — возмущались счастливые сироты в детском доме. И родился я чуть раньше, ничего бы не изменилось. Обо всем и всегда со мной говорили открыто, но предупреждали: на улицах не болтать. Я таился и дважды потому терпел. Боялся тюрьмы и армии и образумившей тебя Конторы. Кстати, русский язык любил, так как других не знал. А свой город любил, потому что другие, мною виденные, были хуже. И вовремя не уехал — все сомневался. Я понимал, что происходит здесь (то есть — там), и не знал, что происходит там (то есть — здесь). И поверил в перемены, а потом очнулся, как от столбняка. Я моложе, но если завтра нам всем хана, ты — ни с того ни с сего проживешь больше, в пересчете на общие годы наших жизней. Это шутка, но, между прочим, правда, — говорил Алекс.

Надо было разъезжаться.

В машине Алекс включил радио. Передавали новости. На границе ранили солдата. Приняли новый закон. Кто-то приехал. Кого-то назначили. Средняя заработная плата выросла на ноль целых и сколько-то там десятых процента в местных деньгах. Вырос и доллар, чего следовало ожидать.

В машине Алекс включил магнитофон. Песни давности-незрелости. Все, как вчера. Сколько лет прошло? Наверное, сто. «Как малыды мы были...». Ну, были. И будем еще... Ему звонили, писали... Где-то он был нужен — просто необходим...

4

Алексы встретились снова в дикорастущем, но искусственно посаженном лесу на пикнике в последний день очередного праздника. Утолив первые голод и жажду, ублажив семейства свои индюшачьими шашлыками, они сидели под деревьями на хвойном покрове со стаканами в правых и тарелками в левых руках. Поскольку рук больше не было, обходились без вилок. Наблюдая за мирно беседующими женами и за веселящимися в меру детьми, Алексы разговаривали.

— Смею надеяться, что в литературе я кое-что понимаю, — говорил Алекс. — Мы все читали понемногу, а кто-то и помногу. В то время я одолел родительскую библиотеку и библиотеки моих бабушек и дедушек с обеих сторон. Периодика за мной не поспевала. Не было еще общества любителей книги и книжных базаров... Что-то можно было купить в букинистических магазинах и на птичьих рынках. Книги не применялись для украшения интерьеров. Эта мода пришла потом. Но ни тогда, ни потом — во время книжного бума, я лично не был знаком ни с одним писателем. Писатели проживали на небесах, кто в прямом, кто в переносном смысле. Сегодня, здесь я знаком со столькими писателями, что создается впечатление, будто пишет каждый второй. Все выпускают книги. И публикуют все, что в голову взбредет. Спрашивается: «А сам-то ты иногда думаешь или только с Богом разговариваешь?» Но когда Бог молчит, устает, наверное, от постоянных разговоров, делают еще проще. Открывают Ветхий Завет, и пошло-поехало своими словами. В стихах, или в прозе...

— Это нормально, — подхватил Алекс любопытную тему. — Работа с первоисточниками. Другие пишут понаслышке и начинают с фразы: «Научно доказано, что...».

— Эти уже не беллетристы, — согласился Алекс. — Эти — философы. Сочинит один такой книгу, а у кого-то нервы не выдерживают. И начинает этот кто-то да кому-то объяснять, что подтасовка спорных тезисов и перифраз известных фраз — еще не философия и тем более не открытие. Но тут же получает сильнейший отпор: «Как вы смеееете покушаться на великого философа, первооткрывателя и моего лучшего друга, тогда как все его открытия уже сто лет, как научно доказаны».

— Предлагаю написать большой роман и назвать его «Кирпич», — сказал Алекс, — издать в твердом переплете размерами 6 на 12 на 24 сантиметра. Это будет единственная в мире книга, соответствующая строительным стандартам. Не говоря о формальной изначальной оригинальности данного литературного произведения и учитывая дороговизну стройматериалов, его можно использовать при строительстве некоторых зданий. Кстати, таким образом решается вопрос быстрой реализации всего тиража.

— Кстати, если в процессе реализации книжек не хватит, — поддержал Алекса Алекс, — их можно заменить обычными кирпичами, что экономически тоже выгодно, при теперешних ценах на печатную продукцию.

— Знал я одного поэта, — вспоминал Алекс. — Ему очень нравилось, что я читаю и хвалю его стихи. Он был, что называлось, молодой писатель, то есть мужик лет тридцати, женатый, и в обычной жизни — инженер. Таких редко хвалят, а еще реже их произведения читают. В перестроечные годы его стихи немного публиковали. Даже в Москве... В Москву поэт ездил каждый год, поздней осенью, когда писательско-издательская братия возвращалась из отпусков. Однажды его познакомили с живым классиком. Классик выпустил к тому времени сборник рассказов и был знаменит в самых узких литературных кругах. Пили они в ресторане ЦДЛ коньяк вперемешку с портвейном. А когда понадобилось выйти, пошли в направлении туалета, через фойе, где как раз была выставка неизвестных итальянских художников восемнадцатого века. На стендах висело десятка полтора картин. Классик курил сигарету и в порыве умиления начал тыкать ею в нарисованную гондолу, приговаривая: «Подумать только: это же восемнадцатый век». Подскочила женщина-охранник, та, что стерегла вход в ресторанные залы, а заодно и выставку невеликих итальянцев. «Что Вы делаете, — закричала она на классика, — это же восемнадцатый век!». «А я что говорю?» — удивился он.

— В другой раз, — продолжал Алекс, — моему приятелю удалось встретиться с пожилым, а теперь уже умершим, известным детским поэтом. Важный литературный босс, по слухам, иногда помогал «молодым». Ему позвонили нужные люди: приятели приятелей моего приятеля, и попросили проявить участие. Он согласился и назначил встречу в том же ЦДЛ, но через несколько дней. Обещал оставить на входе пропуск. Мой приятель явился заранее — минут за двадцать, чтобы сдать пальто в гардероб и морально подготовиться к встрече. Пропуска на входе не оказалось, а известный поэт еще не пришел. Он появился через час, был обаятелен, изви-

нился за опоздание, сказал, что очень устал, так как только что прилетел из Торонто. Встреча заняла две минуты: «Вон, видите, стоит молодой человек, подойдите к нему, он сделает все, что нужно». Мой друг подошел к молодому человеку, представился. Тот, казалось, был в курсе дела. Дал номер телефона. Велел позвонить «обязательно завтра». Но ни завтра, ни послезавтра этот номер не отвечал. Похоже, он вообще не был подключен. А через какое-то время, известный детский поэт говорил с приятелями приятелей моего приятеля.

— Странного парня вы прислали, — сказал он. — Все суют мне свои рукописи, а он не дал.

— Посмотри на этот лес, — сказал Алекс, — ему лет тридцать. Я старше этого леса. Тут была пустыня. Кто-то работал — и получилось. Если ты художник — рисуй, если писатель — пиши. Не пройдет и ста лет, как все станет ясно.

— «Частицу своего труда и я вложил туда..., сюда...», — процитировал Алекс известные им обоим стихи.

Времени было много, продуктов — в достатке. Дети, поставленные перед фактом, и смирившиеся с тем, что отдыхать придется здесь и с родителями, а не перед телевизорами и не в компании друзей-разбойников, продолжали всякие безобразия. Жены о чем-то щебетали между собой по-женски и без видимого раздражения. Алексы, в стороне от всех, перестали иронизировать, но продолжали разговаривать в установленном беспорядке. Рассказ предыдущий рождал рассказ последующий, а благодать лесочка настраивала на лирику.

5

— Однажды, — рассказывал Алекс, — случилась в моей жизни несчастливая любовь. Я ходил в поликлинику на лечебные процедуры. Приходить полагалось два раза в неделю, в одни и те же часы. Любая униформа, в том числе и медицинская, скрывает индивидуальность. Сначала я не обратил внимания на эту женщину, хотя постоянно попадал в ее смену, в конце рабочего дня. Ну, кто я для нее? Очередной клиент-хроник? Она сама меня заметила. Как-то раз мы разговорились, и я почувствовал вызов. В словах и во взгляде... Явно нервничая, она попросила проводить ее домой. Мы оказались в темном дворе. «А где шампанское?», — спросила она, как бы в шутку. Шампанского я, понятно, с собой не носил. Я взял ее руку в свою. Наши руки дрожали. Мы целовались. «Хватит, — сказала она, — ничего не случилось. Просто мы познакомились». Я пытался ее удержать, но она заспешила. Мы встретились через несколько дней.

Мне пришлось ее уговаривать, долго — часа полтора. Сначала она сообщила, что любит мужа, и боится романов, и не хочет, чтобы эта встреча была последней. Она как будто договаривалась сама с собой. Еще сказала, что предохраняться придется мне, так как у нее с этим какие-то проблемы. Я был перевозбужден, озадачен и, честно говоря, раздражен. Времени у нас оставалось мало, ведь, исходя из всего предыдущего, я рассчитывал на мгновенное согласие. «Ты влюбишься, и начнется кошмар», — заявила она к тому же. Как говорил один мой знакомый майор: получилось скомканно. «А у меня все прошло», — сказала она после... Мне тогда показалось, что и у меня все прошло. Я ошибся. Это было похоже на ломку у наркомана. Я думал только о ней, спотыкался на ходу, ни на кого не мог смотреть. По ночам руки мои и ноги сводило в судорогах. Она соглашалась встречаться на людях, как бы случайно, например, в кафе во время обеденного перерыва. Я дарил ей цветы, небольшие подарки, говорил, что люблю. Похоже, ей это нравилось. Но пойти со мною еще раз она не соглашалась. И не отказывалась окончательно. Говорила: «Может быть, потом, когда-нибудь...». Но скоро — начала избегать встреч. «Произойдет трагедия», — сказала она. Я знакомился с другими женщинами. Но терапия не помогала. Если это была болезнь, то требовалось хирургическое вмешательство. И я себя заставил. Вынудил. Обломал. Больше мы не виделись. Затем я уехал. Говорят, отрезанный палец чувствуешь, как живой. Я долго ждал чего-то, надеялся на чудо. Потом все прошло. Или почти прошло. В моей жизни бывало всякое, но лишь тогда я понял, что любовь — это болезнь. И, знаешь, я рад, что болел этой болезнью.

— Если существует несчастная любовь, — говорил Алекс, — то существует и счастливая нелюбовь. Нам было по семнадцать. Мы уже несколько лет встречались в компании, куда, независимо друг от друга, приходили в гости. Потом подружились. Я знакомил ее со своими девчонками, она меня — со своими парнями. Иногда мы ходили в кино или просто гуляли по улицам. Однажды она призналась, что была влюблена в меня два года тому назад и тогда «на все была согласна». Мне захотелось рискнуть. Она была согласна и сейчас. Официально — у нее был парень, а я встречался с другой девушкой. Про наши возникшие вдруг отношения никто ничего не знал. Я звонил по телефону и, если заставал ее дома одну, приходил. Я был первым ее любовником и долгое время — единственным. Нам было хорошо и легко. Потом начались экзамены в институте. Это был полный и закономерный провал, поскольку, вместо того, чтобы ходить на занятия, я по утрам приходил к ней. Нужно было сдавать — исчезнуть на целый месяц... А когда я вернулся — узнал, что она сделала аборт. Мне стало обидно: почему, мол, не сказала.

Тут она и говорит: «Ну, какой из тебя муж...». Отношения еще продолжались. Вскоре она влюбилась, и взаимно. Мы разошлись без обид и не прервали знакомство. Я был свидетелем на их свадьбе. Она живет здесь — недалеко. Но время все изменило. Недавно мы встретились и не знали, о чем говорить. Как живешь? Как семья? Как работа?

— А как ты женился? — спросил Алекса Алекс.

— Встретил женщину и понял, что не смогу без нее жить, — сказал Алекс.

— А ты?

— Встретил женщину и понял, что смогу с ней жить, — сказал Алекс.

6

— Ничего не забывается, — сказал Алекс, — даже так называемые случайные связи, не имевшие продолжения и, казалось бы, не сыгравшие в твоей жизни особенной роли. Будучи студентами, шатались мы как-то с приятелем по родному городу. Полные сил и желания, но, разумеется без копейки денег в карманах. Наши однокурсники уехали в колхоз принудительно помогать сельскому хозяйству. Мы же оба каким-то образом от колхоза освободились и отбывали трудовую повинность в институтских лабораториях с девяти утра до четырех-пяти вечера ежедневно. На пляж, основное место знакомства со скучающими курортницами, мы не успевали физически, а по родному городу бродили вечерами. Почему-то ничего у нас не складывалось. Знакомые девчонки поразъехались кто куда, а те, что остались в городе, были заняты. Однажды, гуляя по набережной, мы повстречались с компанией знакомых ребят, среди которых я увидел бывшего своего одноклассника. Он учился в мореходке, а практику проходил на шикарном океанском лайнере, стоявшем уже несколько дней в городском порту. Товарищ согласился провести нас на судно при условии, что мы раздобудем денег. На судах этого класса были отличные бары. Заняв у ребят рублей пять, мы вскоре оказались на месте. Деньги закончились моментально, но мы успели познакомиться и потанцевать с двумя девушками из корабельной obsługi, которые в свободное от вахты время отмечали какой-то свой праздник. В каюту к девушкам я попал вместе с институтским приятелем, а школьному товарищу не повезло, пятый — лишний. Это были очень красивые девушки, других -- на советских океанских лайнерах, наверно, не держали. Они были не местные, поэтому ночевали на корабле. Две их соседки по каюте должны были прибыть на судно рано утром. Рано утром мы расстались, договорившись

встретиться, когда корабль в следующий раз придет в порт. Мы с приятелем возвращались домой пешком по утреннему городу, так как троллейбусы и автобусы еще не ходили. Мы были довольны и делились впечатлениями. Но океанский лайнер в наш порт больше не пришел. Он затонул, а из команды спаслись единицы.

— Говорят, что люди не помнят плохого или предпочитают вспоминать о хорошем, — сказал Алекс. — Но твои истории трагедийны. Расскажи о чем-нибудь веселом. Расскажи о счастливой любви. Неужели все счастливые истории скучны и неинтересны. Почему нужно бросаться под поезд, топиться, например, в пруду, драться на дуэли, вешаться, стреляться, страдать, ломать себя и других? Ведь бывают романы со счастливым концом. И в жизни, и в литературе... Почитай у тетки Грина: «...Они жили долго и счастливо и умерли в один день».

— Все-таки умерли, — сказал Алекс.

Не договорили о любви, не договорили о литературе... Не договорили о многом другом.

Например, Алекс регулярно посещал военные сборы, то есть, тратил на этот, необходимый, к сожалению, бред не менее месяца жизни в каждом календарном году. Армию он ненавидел в любых проявлениях и начинал стонать уже за неделю до получения очередной повестки. Получение повестки предощущалось интуитивно. Когда никакие ухищрения не помогали и Алекс в очередной раз попадал на сборы, он немного успокаивался. Там постоянно встречались одни и те же люди, а некоторые сдружились настолько, что общались и в обычной жизни. Сам факт ежегодного принуждения к несвободе Алекс считал одной из самых серьезных неприятностей в нынешней своей жизни. Этим, кстати, он не сильно отличался от большей части подлежащего военным сборам населения. Хотя многие, уставшие от работы и семьи, с удовольствием отрывались от повседневности на месяц-полтора в году. Алекс же по безалаберности какого-то компьютера на военные сборы не ходил, но помогал родной полиции, то есть не больше двух часов в месяц ездил по городу на джипе с удостоверением гражданского полицейского в кармане, с карабином сорокалетней давности в руках и в компании нескольких таких же добровольцев, а изредка и одного настоящего полицейского. Задачей было успокоить хулиганов, предотвратить, по возможности, кражу, например, автомобиля со стоянки, да и вообще глядеть по сторонам, не происходит ли чего подозрительно-незаконного, а в случае чего сообщить куда следует по рации. Выезды эти Алекс не любил, но считал, что так надо, и потому от дежурств отлынивал редко, только если уж совсем не было никакого настроения...

В машине Алекс включил магнитофон. Жена тихонько подпевала. Дети на заднем сидении занимались каратэ. Побаливала голова. На природе он перепил немного, а теперь хмель вышел. Не помог даже черный кофе из термоса. Жена перестала петь, и дети неожиданно успокоились. Праздники кончились.

В машине Алекс включил радио. Опять граница. Биржа. Террористы. Тяжелая автомобильная авария по дороге на юг. Остановка в мирном процессе. Праздник кончился. Завтра на службу. Жена приуныла. Дети уснули на заднем сидении. Инфляция. Горячая точка. Заграничный приятель не приехал в гости. Ему турагент не советует... А может быть, мы к вам? Рабочая виза. Другие заработки. Без войн. Будем платить взносы в поддержку исторической родины. И списывать их с налогов.

На распутье

Самая популярная в стране игра: «Подготовка к отъезду за границу навсегда, или на неопределенно продолжительное время».

1

Мужской разговор

(маленькая пьеса, но в трех действиях)

Действующие лица

А л е к с , мужчина в возрасте от... до... лет, одет в спортивный костюм и кроссовки; между действиями переодевается в домашние брюки, светлую рубашку и домашнюю куртку или безрукавку, меняет кроссовки на теплые тапочки, импозантен, выглядит молодо для своих лет, с начала второго действия и до второй-третьей рюмки все время зябнет.

Алекс, тоже мужчина, но в возрасте от... до... лет, одет в фирменные джинсы и свободный джемпер, обут в кожаные, не слишком дорогие туфли, невысок, выглядит моложе своих лет, в соответствии с поговоркой: «Маленькая собачка — всегда щенок», много курит, изрядно нервничает во время разговора.

Все происходит в квартире Алекса, непосредственно в гостиной (то есть, в первой и главной комнате). Видна входная дверь, проем внутреннего выхода из гостиной и какое-нибудь окно. Из мебели — обязательно кресло, трехместный диван, журнальный столик сред-

него размера и небольшая горка или сервант, откуда в любой момент можно достать посуду. На журнальном столике телефон и приставка автоответчика. На стене, возможно, несколько репродукций известных импрессионистов, но никакого оружия. Вся обстановка очень приличная.

(Продукты и напитки должны быть не бутафорскими, а настоящими, иначе разговор не получится).

Действие первое

Явление 1

(явление голосов)

Свет

Телефон звонит четыре раза, потом включается автоответчик.

Голос Алекса:

Здравствуйте, сейчас мы не можем подойти к телефону, оставьте, пожалуйста, сообщение, и Вам перезвонят, спасибо, до свидания.

Недолгий гудок

Голос Алекса:

Привет. Хотелось бы увидеться в связи с хорошей погодой и выходным днем. Пожалуйста, отзовись.

Явление 2

Открывается входная дверь. Входит Алекс. Он явно совершал утреннюю пробежку. Включает автоответчик и выходит из комнаты.

Явление 3

(явление голоса)

Голос Алекса:

Привет. Хотелось бы увидеться в связи с хорошей погодой и выходным днем. Пожалуйста, отзовись.

Явление 4

Входит Алекс с полотенцем в руках. Вытирает лицо и шею. Набирает телефонный номер. Говорит с паузами.

Алекс:

Алло, Алекс? Приезжай... Семья у тещи... Этого нет... Возьми маслины, что-нибудь еще... Это есть... Хватит... Полный литр и упаковка пива... В крайнем случае, заночуешь... Мои там до завтра... Жду.

Свет гаснет

Действие второе

Явление 1

Свет

Алекс в домашней одежде сервирует журнальный столик: водка и пиво уже на столе, тарелки, вилки, стаканы, рюмки и ножи — достаёт из серванта, что-то насвистывает, или напевает — знакомая, ностальгическая мелодия, вероятно: «Там вдали, за рекой...».

Звонок: два коротких, один длинный.

Алекс открывает входную дверь.

Явление 2

Входит Алекс, в руках пакеты.

Направляется к столику и выкладывает продукты.

Алекс:

Все закрыто. Ездил к арабам. Маслины — в маринаде, копченных не нашел. Еще кое-что... Ассортимент незелик, но в количестве...

Алекс:

Начнем. А то что-то зябко.

Разливают по рюмкам. Выпивают. Садятся за столик. Разливают, едят.

Секунд через десять выпивают снова, и так далее. Разговаривают в процессе застолья.

Алекс:

Дело в том, что у меня есть рабочая виза. Я переслал документы одному парню за океан. Мы вместе росли. И даже выросли вместе — на какое-то время. Он стоит прочно — контора по найму. А тут еще воспоминания о детстве. Я нашел его по интернету. Фирма «Никико». Коля и компания. Короче, помог товарищ. Что теперь делать? Ума не приложу. Я весь извелся.

Алекс:

Дело в том, что меня ждут в родном городе. Предлагают возглавить одно предприятие. Серьезнейшие люди прелагают. Ты же знаешь... С моим опытом... С моими связями... Годы прошли, а связи остались. Им нужно имя, а деньги у них есть. Это не совсем коммерческое предприятие, благотворительное в своем роде. Кое-кто так обьелся, что созрел до меценатства. Но кому угодно денег не дадут. А мне — дают.

Алекс:

Жена никуда не хочет, дети тут подросли... Уговорю или нет? А почему — нет? Другие деньги. Другие нервы. Рассчитаться со всеми ссудами. Не принимать участия в мирном процессе. Я же не обрубая концы. Здесь родня, квартира... Я привык, и буду скучать. Приеду в отпуск. Это — прекрасное место для отдыха, только цены завышены.

Алекс:

Я говорю жене, что надо бы съездить, посмотреть... Она говорит, что меня там убьют, и ее убьют и детей... Разве там никто не живет? Кто я здесь? Наемный работник с приличной зарплатой. А творчество где? На кой им всем сдалось мое творчество?

Алекс:

Хочется спокойной жизни. Хочется думать о себе, о семье. Мне надоели социализмы: и со звериной мордой, и с человеческим лицом. И с человеческой мордой социализм — тоже надоел. Не могу жить без движения. Или я двину туда, или я двинусь совсем.

Алекс:

Мне дают машину с шофером и сто человек в подчинение. Я ведь не люблю водить машину. Как давно у меня не было шофера. Как давно у меня не было в подчинении ста человек. А ведь когда-то бывали и тысячи... В конце концов, кто-то же должен помочь родному городу.

Во время последних реплик медленно гаснет свет.

Действие третье

Явление единственное

Медленно загорается полусвет.

Алекс спит лежа на диване, и Алекс спит сидя в кресле.

В окне виднеется полная луна.

Свет гаснет.

2

Все дорожные сборы происходят как во сне. На автопилоте. Цитируя известные стихи: «Когда ни мысли, ни чело не выражают ничего». Они не выражают, они отражают... Смотришь на холодильник — нужно продать, и телевизор нужно продать, и стиральную машину... Смотришь на сборник любимых стихов — нужно упаковать, взять с собой. Встречаешь товарища — спрашиваешь, а нет ли у него кого-нибудь, кто хотел бы снять квартиру на два года и желательно — с мебелью. Автомобиль — оставить родичам (плюс доверенность), вдруг сумеют продать. Компьютер — отдать приятелю, а если он не возьмет, то другому приятелю, а если и он не возьмет, то другому приятелю... Собаку подарить — поручить это дело детям. Рыбок выпустить в море. Все старое выбросить. Все нестарое не выбрасывать. Устроить отвальную в ресторане «Байкал» или в ресторане «Гудзон». Только для своих. А может быть, ничего не устраивать. Но с лучшим другом — выпить. И с не лучшим — выпить. И не с другом — выпить.

Алексы встретились в порту, в рыбном, на этот раз, ресторане. Под потолком на цепях и цепочках висели различные морские чудовища: чучела и макеты.

— Такого монстра только во сне увидишь, — сказал Алекс, указывая на трехметровую акулу с открытой пастью.

— В страшном, — согласился Алекс.

Алекс предложил форель. Алекс предпочел кефаль. Оба решили выпить сухого вина.

Поскольку непрерывно шли дожди, гуляющих в порту не наблюдалось, а в ресторане клиентов было раз-два и обчелся. Но официантка, смуглая девица лет двадцати², суежилась медленно.

— Я мог бы влюбиться в эту девочку, — сказал Алекс, — несмотря на то, что она так молода.

— Стареешь, — сказал Алекс, — потому тебя и тянет на молодых.

— Мне и в детстве нравились двадцатилетние, — возразил Алексу Алекс, — и в юности, и в университетах, нравятся и сейчас.

Подошла официантка. Алекс «пустился вскачь» — минут на пять залез в безнадежный разговор. Неожиданно девушка начертала номер своего телефона — на бумажной салфетке.

— Она получит чаевые, — сказал Алекс.

² Смуглая девица — девица с кожей темноватой окраски, явно восточного — йеменского или индийского происхождения.

— Как во сне, — сказал Алекс, но не уточнил, о чем же сне идет речь.

— Как дела? — спросил Алекс.

— Как во сне, — сказал Алекс. — Но мы прорвемся.

3

Перед тем, как распрощаться, Алекс прочел Алексу стихотворение:

Ни русскому, ни турку, ни китайцу, —
куда деваться вечному скитальцу?
Америка, Америка-страна —
далекая, родная сторона.

Сто поцелуев статуе Свободы,
встречающей у входа пароходы,
которые в Америку идут,
где братья томагавк нам отдадут.

И Алекс прочел Алексу стихотворение:

Не поддамся ностальгии.
У меня дела другие —
я там больше не живу.

И пока еще не сбрендил,
помню, как свободой бредил
и во сне, и наяву.

Чтоб уже не возвращаться:
получилось распрощаться,
отъезжая за моря...

Город в некотором царстве
в мыслях ближе, чем в пространстве,
о душе не говоря.

То ли Алексы не уехали. То ли они вернулись. Может быть, уехал один из них, но потом вернулся, — все равно (хозяин — барин, а мне за ними бегать недосуг и накладно: мы уже были в Париже). А пока что игра закончилась, по крайней мере до следующего тура (хватит дорогостоящих путевых заметок, погуляем поблизости, тут есть воистину чудеса света).

Арье Ротман

/ Иерусалим

— Санкт-Петербург /

■ ■ ■

Слово в запертом доме живет,
сквозь глазок зарешеченный дышит,
милосердного стража зовет,
но шагов его тихих не слышит.

Так и я — на другой стороне,
ставлю времени воду и пищу.
Тихой поступью тень по стене
проношу, но стенаний не слышу.

Как же быть? Перебрал я ключи
и с петель эти двери срываю.
Говори что-нибудь, не молчи,
открываю, уже открываю!

■ ■ ■

Мне хочется к друзьям, в холодный зимний воздух,
взять в руку снег и пальцы закусить.
Льдяную хрупкость дач, прокуренных, морозных,
ладонью теплой воскресить.

И чтобы печь согрела нам беседу,
и сердце лыжное стучало хорошо.
Я завтра — нет, я нынче же приеду!
Сорву крючок, откину капюшон.

О Господи! Лыжня ныряет с кручи.
Пар изо рта разит тцетою тцет.
В прихожей, ожиданием замучен,
ржавеет до весны велосипед.

■■■

Кровью ягод и хмелем дымящихся гроз
из пустыни к прохладной луне восходя,
иноверец паломник, туман-альбинос
смуглый воздух смутил предсказаньем дождя.

И под кровлей тревожно запахнутых туч,
услышав из глубин обитаемой тьмы
грозный скрип, исполинский заржавленный ключ,
всполошились, вскочили, помчались холмы.

■■■

Моцартом пьян и зимою утешен,
жизнь узловатую глажу, дивясь
мощи ствола и обилью скворешен, —
каждый скворец как сиятельный князь.

Грянет мне хор, и развеются страхи.
Жизнь узловата, да короток век,
глядь — под корой коренятся букахи.
В голову Моцарт, а в бороду — снег.

Праздновать будем бугров узловатых,
мощь симфонических наших корней.
В дуплах глубоких, в извивах горбатых,
сколько скворцовых и княжеских дней?

Жилистой жизни конец деревянный,
жизни древесной финал дровяной.
Моцарт вернулся скворцом в фортепьяно.
Жизнь узловата, да нету иной.

■■■

Только твои губы мне и теплы,
только твои
певчие речи внятны,
будто над озером
клин колокольный поплыл
дзинь-дзинь-бом
сквозь тумана слепящие пятна.

Только твои руки ко мне добры,
только твои
ладони и терпеливы,
будто у грустной старшей моей сестры,
или у юной
чужой невесты счастливой.

Только одна ты для меня молода.
Ослепительна,
желанна до детского всхлипа.
Я бы всю тебя без стыда,
как листвою,
обожаньем своим засыпал.

У Стены невысыхающих слез
Я кричал Вездесущему:
«Где ты?»
Без нее
в сердце моем мороз.
Видишь,
в январе мое сердце раздето!

В чернолесье,
в лающем том аду,
перед тем, как сойти в жирную яму ночи,
я обещал,
что, воскреснув, тебя найду.
Как же теперь
ты меня узнавать не хочешь?

■ ■ ■

Самой скучною из рутин,
нотой «си» в комарином плаче,
вялость августовских паутин
одолеет тебя на даче.

Дети вырвутся по грибы
в темный папоротник преисподней.
Дальним гомоном их гурьбы
отзовется печаль Господня.

Вдруг захочется уколоть
всю себя о густую хвою,
расчесать, окровавить плоть,
защемить виски тетивой.

Что же было? И где оно?
Сквозь подлесок, сырой с изнанки,
бликом неба поманит дно
заржавелой консервной банки.

Ты попробуешь побежать
так, как в детстве, без всякой цели,
спрятать э т о и удержать,
затаиться в объятьях ели.

Дети кинутся вслед, крича,
и затеют возню под елью.
Ты стряхнешь паучка с плеча
и заплачешь над их весельем.



Я живу над сиренью, как певчий
птичий князь,
соловиный барон.
Добрый сад меня листьями лечит
и баюкает шелестом крон.

Только легких,
безвольных,
летучих
тополиных касаюсь ветрил,
и одна меня бабочка мучит
упоительным хохотом крыл.

Мы столкнулись,
как эльфы в подпенье,
и упали в траву, веселясь,
потому что блаженно соитье,
и крылат небожителей князь.



Весной кораблик скрутим из газет,
помчимся в Грецию с Дианой-ротозейкой
на остроносых эллинов глазеть,
брэнчать по храмам медною копейкой.

В Афины чинные, где царствует Платон,
как заточивший музу академик,
в жестокий Аргос, ханжеский Афон,
помчимся, если раздобудем денег.

Там в чаще выследит купальщиц Актеон,
поймают псы его и приведут за полы, —
за подвиг свой срамной, за грех веселый,
любим, а не наказан будет он.

Смотри, Харон, ладью не опрокинь,
когда по мартовским, вакхическим, Эгейским,
летейским ручейкам, — на Лесбос любодейский,
помчимся в Грецию подглядывать богинь.

Первая бабочка

Луг и мостик на сваях,
хрупкий зимний рогоз,
в черностволье живая
пара вечных берез,

и, обнявшийся крепко
с каждым клейким листком,
воздух свежести терпкой
задремал над леском.

Первый раз за полгода
захотелось вдохнуть —
нет, не ширь небосвода —
просто воздуха чуть,

этот лес суеверный,
нерастаявший лед,
и спросонья неверный
первой бабочки лет.

Утро

Под сапогами тоненько
повизгивает снег.
Рассвет с лицом покойника
не поднимает век.

И медленная, влажная,
как смятая постель,
красуется вальяжная,
продажная метель.

Пусть дешева тесемочка,
зато зевоты всласть.
Мети, мети, позёмочка, —
мне б только не упасть.

И с вечера нестрашного,
до самой до зари,
темнее сна вчерашнего
пылают фонари.

И походя, с присвистами,
под топот-перепляс,
убийцы с гармонистами
убьют меня сейчас.

Илья Кучеров

/ Санкт-Петербург /

Геральдика

Что будет на гербе, того не миновать.
С тех пор, как наша степь очерчена Страбоном,
Балтийский леопард поставлен воевать
Пределы Азии, лежащие за Доном.

Там ходят люди с головами псов,
Олень стучит копытами в ворота,
И где-то в глубине серебряных лесов
Цветут лазурь и позолота,

Там белый витязь башню стережет
И тяжелой булавой приветственно вращает;
Он подвиг совершит и город подожжет,
Но даже этот грех Владычица прощает.

А дальше — вечный день и вечная весна,
Где светят соловьи у каждого алькова,
Взлетает роза, падает луна,
И рвется в небеса крылатая подкова.

Зачем же сущности всегда разделены
Девизом и копьем, финифтью и эмалью, —
Мы только видим упоительные сны,
Как женщиной, пленясь немой согдийской далью.

И, выйдя на войну и падая на снег,
Навек раскрашенный лазоревым и алым,
Ты вспоминаешь, что вчера во сне
Она тебя и впрямь поцеловала.



Александр Мильштейн

/Мюнхен/

Первая книга

Юдит Герман живёт в Берлине. В его восточной части. Вскоре после падения Стены она переехала из Западного Берлина в Восточный. Тогда ей было девятнадцать, но и сейчас она, похоже, не собирается возвращаться. Говорит, что все её друзья — восточные немцы. Её саму после появления книги приняли за писательницу из бывшей ГДР. С удивлением узнавали, что родилась и выросла писательница в Берлине Западном. Она не была исключением, многие художники, поэты и музыканты двинулись тогда в ту же сторону. Образовали в заброшенных домах свои поселения, что-то вроде арт-коммун. Юдит не была в этих первых рядах, по её словам, она переехала позже и в основном из-за работы, — устроилась официанткой в одном из баров Пренцлауэр-Бэрг. Потом занялась журналистикой. Делала «социальные репортажи». Потом... Нет, между журналистикой и прозой был ещё Нью-Йорк. Юдит поехала туда на полгода в рамках журналистской учёбы, слушала лекции, посещала вполне предметные семинары, но именно там, по её словам, она стала замечать, что теряет уже приобретенные структуры и начинает писать по-другому. В Нью-Йорке она сделала три наброска прозы. Вернувшись в Германию, представила их на конкурс, выиграла его, получила стипендию и уединилась в дачном домике под Берлином. За полгода написала девять историй, составивших книгу «Летний дом, позже». Книга вышла в издательстве «Фишер» в 1999 году, была восторженно встречена критикой, разошлась тиражом 200 000 экземпляров. После этого жизнь Юдит Герман изменилась. Она стала популярной писательницей. Не было ни одной серьёзной немецкой газеты или журнала, которые не поместили бы на своих страницах материал о Юдит Герман. Сама она относится к этой внезапной славе довольно подозрительно, говорит, что её выбрали потому, что она — удачный объект для средств медиа. Вскоре от неё стали требовать продолжения. В статье во «Франкфуртер Альгемайне» Юдит Герман уже вменяют в вину, что она слишком медлит со второй книгой, что так нельзя делать. Юдит говорит, что чувствует это давление, что оно

страшно мешает. Почти все, кто был причислен критикой к феномену «нового поколения немецких писателей» (Юдит, которую причислили туда же, вообще не верит в возможность такого словосочетания) своими вторыми книгами привели читающую публику в уныние. В статье во «Франкфутер» утверждается, что в литературу нельзя войти с одной книгой, что только вторая служит свидетельством о рождении писателя. Спорный тезис. Во всяком случае, нужно ли так спешить? Кажется, Саша Соколов сказал о литературе, что она делится на две: на ту, что писалась в спешке и ту, что очень медленно. Приятно, что в этом смысле Юдит не торопится. На вопрос «когда» отвечает, что не знает. Не скоро. Не раньше, чем через два года. При этом если она пишет, то пишет быстро. За день получается довольно большой текст. Но пока не наступит момент, пока «не призовет к ответу...» И потом — счастье, по её словам, это всегда момент «до того». Перед этим. Она написала об этом рассказ, она повторяла это в интервью и в беседах. По-моему, это ощущение относится и к состоянию молчащего писателя. Достоевский в начале «Униженных и оскорблённых» вдруг признаётся: «...мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лениности».

Я бы сказал, что прелесть рассказов Юдит отчасти заключается в том, что перед нами — не совсем готовые произведения. В них есть то, что потом иногда исчезает из рассказов зрелого писателя, Пруст называл это «бархатом».

Юдит Герман живёт в Берлине, в той его части, которая когда-то называлась «Восточной». А действие одного из её рассказов перенесено ещё дальше на Восток — в Санкт-Петербург. «Меня часто спрашивают, — говорит Юдит, — не была ли я в России, не оттуда ли мои девушка и бабушка. И я всегда отвечаю, что не могу всё рассказать, потому что выдам тогда тайну этой истории. «Красные кораллы» нанизаны на длинную нить, которая ведёт прямо ко мне. И это — всё, что я могу сказать. Я никогда не была в России. Один из моих великих планов состоит в том, чтобы когда-нибудь туда поехать».

Юдит Герман

/ Берлин /

Красные кораллы

Мой единственный визит к психотерапевту стоил мне красного кораллового браслета и моего возлюбленного.

Красный коралловый браслет был из России. Точнее, он был из Петербурга, ему было больше ста лет, моя прабабушка носила его на левой руке, и он убил моего прадедушку.

И эту историю я хочу рассказать? Я в этом не уверена.

Моя прабабушка была красавицей. Она приехала в Россию с моим прадедушкой, чтобы прадедушка строил печи для русского народа. Прадедушка занял большую квартиру на Васильевском острове в городе Петербурге. Васильевский остров омывается большой и малой Невой, и если встать на цыпочки и выглянуть из окна квартиры на Малом проспекте, можно увидеть реку и большую Кронштадтскую бухту. Но прабабушка не хотела видеть ни реку, ни Кронштадтскую бухту, ни высокие стройные здания Малого проспекта. Она не хотела видеть из окна чужбину. Она задёргивала красные бархатные шторы, закрывала двери, ковры поглощали все звуки, и прабабушка сидела на диване, в креслах, на кровати с балдахином, покачиваясь взад и вперёд, тоскуя по Германии. В этой большой квартире на Малом проспекте свет всегда был сумрачным, как на дне моря, и, может быть, моей прабабушке казалось, что чужая сторона, Петербург, и вся Россия — ни что иное, как глубокий непонятный сон, от которого она скоро очнётся.

Тем временем мой прадедушка ездил по стране и строил печи для русского народа. Он строил шахтные печи и слоевые топки, и пламенные печи, и печи Ливермора. Его подолгу не было дома. Он писал моей прабабушке письма, и, когда они приходили, она немного приоткрывала тяжёлые красные бархатные шторы, впускала в комнату узкую полоску дневного света и читала:

«Я хочу тебе объяснить, что печь Газенклевера, которую мы здесь строим, состоит из муфельей, соединённых друг с другом вертикальными каналами, и они нагреваются пламенем обжиговой печи — ты помнишь полую печь, которую я построил в Бломешенской пустоши в Гольштейне, она тебе тогда ещё особенно понравилась, — вот теперь и в печи Газенклевера руда будет через отверстия попадать в верхний муфель, и...»

Мою прабабушку очень утомляло чтение этих писем. Она уже не могла вспомнить полую печь в Бломешенской пустоши, но она помнила Бломешенскую пустошь, равнины и пастбища, стога сена на полях и летом — вкус сладкого, холодного яблочного сусли. Она отпускала шторы, и комната снова погружалась в сумерки. Она ложилась усталая на диван и повторяла: «Бломешенская пустошь, Бломешенская пустошь», это звучало, как детская песенка, как колыбельная, звучало красиво.

На Васильевском острове в те годы рядом с деловыми иностранными людьми и их семьями жило много русских учёных и художников. Они прослышали о красивой, бледной немке со светлыми волосами, которая жила в конце Малого проспекта, и почти всегда была одна в комнатах, таких же тёмных, мягких и прохладных, как Балтийское море. Ей представили учёных и художников. Прабабушка приглашала их войти усталым жестом маленькой руки, говорила мало, ничего не понимала, смотрела сквозь полуприкрытые веки медленными сонными глазами. Учёные и художники садились, глубоко утопая в мягких креслах и диванах, горничные приносили чёрный чай с корицей и варенье из черники и ежевики. Моя прабабушка грела руки на самоваре и чувствовала себя слишком усталой, чтобы проводить учёных и художников. И они сидели. Они не сводили с моей прабабушки глаз, и замечали, как она сливается с сумеречным светом во что-то печальное, красивое, странное. А так как печаль, красота и странность — главные черты русской души, учёные и художники были влюблены в мою прабабушку, а моя прабабушка позволяла им себя любить.

Итак: прадедушки не было очень долго. Прабабушка очень долго позволяла себя любить, она вела себя крайне осторожно, была осмотрительной и вряд ли допускала ошибки. Она грела руки на самоваре, а свою промёрзлую душу — на пламенных сердцах своих любовников, она научилась различать в чужом, мягком языке слова: «Ты нежнее всех берёзок». Она читала письма о плавильных печах и о трубчатых печах в узкой полоске света, после чего сжигала их в камине. Она позволяла себя любить, по вечерам, перед тем, как ус-



Б.Констриктор, графика, 1999

нуть, она тихонько напевала песенку Бломешенской пустоши, а когда её любовники вопросительно смотрели на неё, улыбалась и молчала.

Прадедушка обещал вскоре приехать и вернуться с ней в Германию. Но он не приезжал.

Прошла первая и вторая и третья петербургская зима, а мой прадедушка всё ещё занимался строительством печей где-то на российских просторах, а моя прабабушка всё ещё ждала, когда она вернётся домой в Германию. Она писала ему в тайгу. Он писал ей в ответ, что скоро приедет, вот только построит ещё одну печь. Он каждый раз писал, что это — последний раз, и после этого они уже точно уедут домой.

Вечером того дня, когда вернулся мой прадедушка, моя прабабушка сидела перед зеркалом в спальне и расчёсывала свои светлые волосы. В ящичке перед зеркалом лежали подарки её любовников: брошь от Григория, кольцо от Никиты, жемчуга от Алексея, кудри Емельяна, медальоны, амулеты и диадема от Михаила и от Ильи. В ящичке также лежал коралловый браслет от Николая Сергеевича. Шестьсот семьдесят четыре маленьких коралла были нанизаны на шелковую нить и гневно светились красным светом. Прабабушка положила гребень на колени. Медленно закрыла глаза. Открыв глаза, она достала из ящичка коралловый браслет и надела его на левую руку. У неё была очень белая кожа.

В тот вечер она ужинала с моим прадедушкой впервые за три года. Прадедушка болтал по-русски и смеялся. Прабабушка складывала руки на коленях и тоже смеялась. Прадедушка говорил о степях, о пустынях, о светлых русских ночах, и о печах, он произносил много названий, и моя прабабушка кивала, как будто она всё это понимала. Прадедушка сказал ей по-русски, что он должен ещё раз поехать во Владивосток, говоря это, он ел руками пельмени. Он вытер ладонью масляный рот и сказал, что это будет последний раз, и после этого они вернутся в Германию. Или она хочет остаться ещё?

Моя прабабушка не всё поняла. Но она поняла слово «Владивосток». Она положила руки на стол, и коралловый браслет на её белоснежной руке разгневанно засветился красным светом.

Прадедушка уставился на браслет. Он вытер руки льняной салфеткой и приказал горничной покинуть комнату. «Что это?» — сказал он по-немецки.

Прабабушка сказала: «Браслет».

Прадедушка сказал: «Можно мне поинтересоваться, откуда он у тебя?»

Прабабушка очень тихо и мягко сказала: «Я вообще-то ждала, когда ты спросишь. Это — подарок Николая Сергеевича».

Прадедушка позвал горничную и послал её за своим другом Исааком Бару. Исаак Бару пришёл, кривой, горбатый, он выглядел заспанным и растерянным, была уже поздняя ночь, он то и дело пытался пригладить рукой всклокоченные волосы. Прадедушка стал быстро ходить по комнате, Исаак Бару бегал за ним, они спорили, Исаак Бару напрасно пытался успокоить прадедушку, слова, которые он произносил, напоминали прадедушке о любовнике. Моя прабабушка чувствовала себя опустошённой, утопала в мягком кресле и грела руки на самоваре. Мой прадедушка и Исаак Бару говорили по-русски, прабабушка уловила только слова «секундант» и «Петровский парк». Горничную послали с письмом в темноту. Как только рассветло, прадедушка и Исаак Бару покинули дом. Прабабушка заснула в мягком кресле, её маленькая рука с красным коралловым браслетом безжизненно свисала с подлокотника; в комнате было темно и тихо, как на дне морском.

Исаак Бару пришёл в полдень, и после множества расшаркиваний и выражений соболезнавания сообщил прабабушке, что в восемь часов утра скончался прадедушка. На холме в Петровском парке пуля Николая Сергеевича попала ему в сердце. Прабабушка ждала семь месяцев. 20 января 1905 года, в первые дни революции, она родила мою бабушку, упаковала вещи и вернулась в Германию. Поезд был последним; после этого железнодорожники объявили забастовку, и сообщение между Россией и границей было прервано. Когда закрылись двери и локомотив выпустил в зимний воздух белый дымок, в конце перрона появилась кривая фигурка Исаака Бару. Прабабушка заметила его, приказала проводнику подождать, и Исаак Бару в последнюю секунду вскочил в немецкий поезд. Он сопровождал прабабушку до самого Берлина, он носил её чемоданы и коробки со шляпами и всю ручную кладь, и не проходило минуты, чтобы он не заверял прабабушку, что будет благодарен ей всю жизнь. Прабабушка молча улыбалась ему в ответ, на левой руке у неё был красный коралловый браслет, и моя маленькая бабушка, лежавшая в ивовой корзинке, уже тогда намного больше походила на Николая Сергеевича, чем на моего прадедушку.

Мой единственный визит к психотерапевту стоил мне красного кораллового браслета и моего возлюбленного.

Мой возлюбленный был на десять лет старше меня и напоминал рыбу. У него были серые рыбы глаза, серая рыба кожа, он напоминал дохлую рыбу, он целый день лежал на кровати, холодный и безмолвный, ему всегда было плохо, он лежал на кровати, и если он что-то говорил, то только одно-единственное предложение: «Я сам себе не интересен». И эту историю я хочу рассказать?

Не знаю. В самом деле, не знаю:

Мой возлюбленный был правнуком Исаака Бару, и в его тонких жилах текла русско-немецкая кровь. Исаак Бару оставался верен моей бабушке всю жизнь, но женился на её пухленькой горничной. Она родила ему семерых детей, эти семеро детей подарили ему семь внуков, и один из этих семи внуков подарил ему его единственного правнука — моего возлюбленного. Родители моего возлюбленного утонули в море во время летней бури, и моя прабабушка наказала мне пойти на похороны, — последние свидетели петербургского прошлого должны были уйти в бранденбургскую землю, а с ними и истории, о которых она больше не хотела говорить. И я пошла на похороны внука Исаака Бару и его жены, и над могилой стоял мой возлюбленный, и по его щеке текли три серые слезы. Я взяла его холодную руку в свою, и когда он пошёл домой, я пошла с ним; я думала, что смогу утешить его петербургскими историями, я думала, что он может рассказать мне их заново. Но мой возлюбленный ничего не говорил. И он не хотел ничего слышать о зимнем утре 1905 года, когда моя прабабушка задержала поезд, чтобы его прадедушка смог уехать. Мой возлюбленный лежал на кровати, и, если что-то говорил, то только одно: «Я сам себе не интересен». Его комната была темной и пыльной, окно выходило на кладбище, на кладбище всё время звонил погребальный колокол. Если я вставала на цыпочки и выглядывала в окно, я видела свежие могилы, букеты гвоздик и скорбящих. Я сидела в углу комнаты на полу, поджав колени, моё дыхание приводило в движение пыль, мне казалось это поразительным — не интересоваться самим собой. Я интересуюсь исключительно собой. Я разглядывала своего возлюбленного, мой возлюбленный разглядывал своё тело так, как будто он уже был мёртвым, иногда мы с неприязнью занимались любовью, я кусала его солёные губы. Я чувствовала себя худой, тощей, хотя я такой не была, но я как будто была не собой. Свет падал сквозь деревья, стоявшие за окном, это был водянистый свет, как на море, и хлопья пыли перемещались по комнате, как водоросли или тина. Мой возлюбленный был грустен. Я безучастно спросила, не хочет ли он, чтобы я рассказала ему одну короткую русскую историю, и мой возлюбленный ответил загадочно, что истории закончились, что он не хочет их слушать, и вообще, я не

должна путать свою собственную историю с другими. Я спросила: «А у тебя есть своя собственная история?», и мой возлюбленный сказал: «Нет». Но два раза в неделю он ходил к врачу, к психотерапевту. Он не разрешал мне себя сопровождать, и он не хотел мне ничего рассказывать о психотерапевте, он говорил: «Я говорю о себе. Вот и всё», а когда я его спрашивала, говорит ли он о том, что он сам себе не интересен, он смотрел на меня взглядом, полным презрения, и молчал.

Так мой возлюбленный молчал или произносил эту единственную фразу, я тоже молчала и начинала думать о психотерапевте, лицо моё было таким же пыльным, как босые ноги. Я представляла себе, как я сижу в кабинете психотерапевта и говорю о себе. Я не имела ни малейшего представления, о чём бы я могла говорить. С тех пор, как я стала жить с моим возлюбленным, я давно уже по-настоящему не разговаривала, я почти ничего не говорила ему, он ничего не говорил мне, кроме единственной фразы, и были моменты, когда мне начинало казаться, что весь язык состоит только из этих пяти слов: я сам себе не интересен.

Я стала часто думать о психотерапевте. Мысли о разговорах в кабинете, который я до сих пор не видела, доставляли мне удовольствие. Мне было двадцать лет, мне нечего было делать, на левой руке я носила красный коралловый браслет. Я знала историю своей прабабушки, мысленно я могла пройти по тёмным, сумрачным комнатам квартиры на Малом проспекте, я видела Николая Сергеевича её глазами. Прошлое так сплелось со мной, что порой казалось собственной жизнью. История прабабушки была моей собственной историей. Но где была моя история, помимо истории моей прабабушки? Этого я не знала.

Дни были тихими, как будто мы были под водой. Я сидела в комнате моего возлюбленного, и пыль окутывала мои голени, я сидела, поджав ноги, склонив голову на колени, я рисовала указательным пальцем на сером полу, я где-то растеряла все мысли, и так проходили годы. Могу ли я об этом говорить? Время от времени приходила моя прабабушка и стучалась в дверь квартиры костлявой рукой, она кричала, что я должна выйти и пойти с ней домой, голос её прорывался сквозь пыль, которая покрывала дверь, и казался очень далёким. Я оставалась неподвижной и не отвечала, мой возлюбленный лежал на кровати, уставившись мёртвыми глазами в потолок и не шевелился. Прабабушка кричала, пытаясь меня выманить, ласковые имена, которыми она называла меня в детстве: Солнышко моё, Ры-

бонька, Заинька, и упрямо стучала в дверь костлявой рукой, она ушла только тогда, когда я закричала: «Ты меня к нему послала, жди теперь, пока это закончится!», после этого она ушла.

Я слышала, как затихли её шаги на лестнице, пыль с двери, которая из-за стука пришла в движение, улеглась. Я посмотрела на моего возлюбленного и спросила: «Так ты всё же не хочешь услышать историю красного кораллового браслета?»

Мой возлюбленный повернул ко мне лицо, на котором была изображена мука. Он вытянул перед собой руки, растопырил пальцы, его рыбы глаза немного вылезли из глазниц. Тишина, стоявшая в комнате, дрожала, как поверхность моря, в которое бросили камень. Я показала моему возлюбленному руку с красными кораллами, и мой возлюбленный сказал: «Они из семейства корковых кораллов, родовой ствол которых бывает высотой до одного метра, у них красные скелеты из извести. Известь».

Мой возлюбленный говорил это, запинаясь, слова давались ему с трудом, он лепетал, как будто он был пьян. Он сказал: «Они растут у берегов Сардинии и Сицилии. В Триполи, в Тунисе и в Алжире. Там, где море голубое, как бирюза, очень глубокое, можно плавать, нырять, вода тёплая...» Он снова отвернулся от меня, тяжело вздохнул, два раза толкнул стенку ногой, и замер.

Я сказала: «Я хочу рассказывать истории, слышишь ты! Петербургские истории, старые истории, я хочу их рассказывать, чтобы выйти из них и пойти дальше!»

Мой возлюбленный сказал: «Я не хочу их слышать».

Я сказала: «Тогда я буду их рассказывать твоему психотерапевту», и мой возлюбленный встал, он так дышал, что перед его ртом началась пылевая буря, он сказал: «Ты ничего не будешь рассказывать моему психотерапевту, иди к кому угодно, но не к моему психотерапевту», — он закашлялся и стал стучать себя по голой серой груди, я не могла не рассмеяться, потому что мой возлюбленный ещё никогда так много не говорил. Он сказал: «Ты не будешь обо мне говорить с тем, с кем я говорю о себе, это невозможно», и я сказала: «Я не хочу о тебе говорить, я хочу рассказывать истории, а мои истории — это и твои истории». Мы начали спорить. Мой возлюбленный угрожал меня бросить, он схватил меня и стал дёргать за волосы, он кусал мою руку и царапался, в комнате подул ветер, раскрылись окна, колокола на кладбище неистово зазвонили, ступки пыли полетели на улицу, как мыльные пузыри. Я оттолкнула своего возлюбленного, распахнула дверь, мне казалось, что я вправду очень худая; что я слышу, как пыль оседает на пол, мой возлюбленный с

серыми рыбьими глазами, с серой рыбьей кожей молча стоял у своей кровати.

Психотерапевт, из-за которого я потеряла красный коралловый браслет и своего возлюбленного, сидел в большой комнате за письменным столом. Комната и в самом деле была очень большая, и в ней почти ничего не было, кроме стола, за которым сидел психотерапевт, и перед которым стоял маленький стул. На полу лежал мягкий ковёр, тёмно-синий, как море. Когда я вошла в комнату, психотерапевт серьёзно посмотрел прямо на меня. Я пошла к его столу, мне казалось, что я буду очень долго идти. Я думала о том, что на этом стуле в другое время сидит мой возлюбленный и говорит о себе — о чём же ещё? — мне было немного грустно. Я села. Психотерапевт кивнул мне, я кивнула ему, я уставилась на него, ожидая начала разговора, первого вопроса. Психотерапевт смотрел на меня, пока я не опустила глаза, но ничего не говорил. Он молчал. Его молчание мне что-то напоминало. Он был тих. Тикали невидимые часы, высотное здание оведал ветер, я смотрела на синий ковёр между своими ногами и нервно теребила шёлковую нитку красного кораллового браслета. Психотерапевт вздохнул. Я подняла голову, он постукивал остро заточенным карандашом по блестящей поверхности стола, я смущённо улыбнулась, он сказал: «Что с вами».

Я вздохнула, я подняла руки и снова их опустила, я хотела сказать, что я собой не интересуюсь, я подумала, что это — ложь, я интересуюсь исключительно собой, но что же тогда? Совсем ничего? Только усталость и пустые тихие дни, жизнь рыбы под водой, смех без причины? Я хотела сказать, что во мне слишком много историй, и это делает мою жизнь тяжёлой, я думала, что могла бы остаться с моим возлюбленным, я вздохнула, и психотерапевт раскрыл глаза и рот, я потянула за нитку красного кораллового браслета, и нитка порвалась, и шестьсот семьдесят четыре гневных красных маленьких коралла во всём своём сверкающем великолепии скатились с моего запястья.

Я растерянно смотрела на руку, она была белая и голая. Я посмотрела на психотерапевта, он откинулся на спинку стула, карандаш лежал перед ним, параллельно краю стола, руки он сложил на коленях. Я соскользнула со стула на синий, как море ковёр, шестьсот семьдесят четыре коралла лежали по всей комнате. Они светились, как никогда, гневным багряным светом, я ползала по полу и собирала их, они были и под столом, и под ногой психотерапевта, он чуть-

чуть отодвинул ногу, когда я её коснулась, под письменным столом было темно, но красные кораллы светились.

Я думала о Николае Сергеевиче, я думала, не подарил бы он моей прабабушке красные кораллы, не выстрелил бы он тогда моему прадедушке прямо в сердце. Я думала о горбатом, кривом Исааке Бару, не задержала бы моя прабабушка поезд, не покинул бы он Россию. Я думала о своём возлюбленном, о рыбе, я думала, не молчал бы он всё время, не ползала бы я теперь под столом какого-то терапевта; я смотрела на ноги терапевта, на его сложенные на коленях руки, я слышала его запах, я ударилась головой о стенку стола. Собрав кораллы под письменным столом, я выползла обратно на свет, и поползла дальше по комнате, поднимая кораллы правой рукой, и собирая их в левой. Я уже начинала плакать. Стоя на коленях на синем, как море ковре, я смотрела на психотерапевта, а он смотрел на меня, сидя на своём стуле, сложа руки. Моя левая рука была полна кораллов, но вокруг меня светились и сверкали ещё сотни других, я думала, что мне понадобится целая жизнь, чтобы их все подобрать, что мне никогда не удастся это сделать, жизни не хватит. Я встала. Психотерапевт наклонился вперёд, взял со стола карандаш и сказал: «Сегодня приём окончен».

Я пересыпала кораллы из левой руки в правую, они при этом издавали красивый, нежный звук, похожий на тихий смешок. Я подняла правую руку и швырнула кораллы в психотерапевта. Психотерапевт пригнулся. Красные кораллы градом посыпались на его письменный стол, а вместе с ними посыпался весь Петербург, малая и большая Нева, моя прабабушка, Исаак Бару и Николай Сергеевич, бабушка в ивовой корзинке и возлюбленный-рыба, Волга, Луга, Нарва, Чёрное море и Каспийское море, и Эгейское, и залив, и Атлантический океан.

Вода Мирового океана образовала большую зелёную волну, которая побежала по столу психотерапевта, сорвала его со стула, поднялась выше, опрокинула стол, из водоворота на мгновение показалось лицо психотерапевта и исчезло, вода шипела, пенилась, пела, поднималась, затопляя мои истории, возвращая кораллы обратно в заросли тины, к облепленным ракушками берегам, на морское дно. Я затаила дыхание. Я пошла к своему возлюбленному, чтобы ещё раз его увидеть. Он лежал на мокрой кровати. Свет был серым, как на дне моря, в его волосах были хлопья пыли, они дрожали. Я сказала: «Ты знаешь, что кораллы становятся чёрными, когда они долго лежат на дне?», я сказала: «Была ли это история, которую я хотела рассказать?», но мой возлюбленный уже не мог меня слышать.

Соня

Соня была гибкой. Я имею в виду не телесную гибкость, «гибкая, как тростник» и всё такое, нет, Соня была гибкой... Это тяжело объяснить. Может быть, так, — она позволяла любые проекции. Она могла быть незнакомым человеком, маленькой музой, женщиной, которую увидев на улице, вспоминаешь потом спустя много лет, испытывая чувство ужасного упущения. Соня могла быть глупой и честной, циничной и умной. Красивой, превосходной, и были моменты, когда она была просто бледной девочкой в коричневом пальто, не имеющей никакого значения. Я думаю, что она была такой гибкой, потому на самом деле она была ничем.

Я встретил Соню в поезде. Я возвращался в Берлин из Гамбурга, где я провёл восемь дней с Вереной. Я был полностью влюблён в Верену. У неё был вишнёвый рот и чёрные, как смоль, волосы, каждое утро я заплетал их в две толстые тяжёлые косы, мы гуляли вдоль гавани, я прыгал вокруг неё, выкрикивал её имя, распугивал чаек. Она казалась мне прекрасной. Она фотографировала доки, грузовые баржи, киоски закусочных, она много говорила, всё время смеялась надо мной, а я пел: «Верена, Верена», целовал её вишнёвый рот, и мне хотелось вернуться домой, к работе, увезти с собой запах её волос.

Это было в мае, поезд ехал через Бранденбург, на зелёных полях лежали длинные вечерние тени. Я вышел из купе, чтобы покурить, и увидел Соню. Она курила сигарету, её правая нога упиралась в пепельницу; когда я стал рядом, она передёрнула плечами. Я почувствовал — что что-то не так. Ситуация вроде бы самая обыкновенная — узкий проход скоростного поезда где-то между Гамбургом и Берлином, два человека, оказавшиеся рядом только потому, что им одновременно захотелось покурить. Но Соня смотрела в окно в таком оцепенении, как будто сейчас должна была начаться бомбёжка. Она не была красивой. Она была какой угодно, но только не красивой в тот момент, её лицо было необычным и старомодным, — как у мадонн на картинах пятнадцатого века. Узкое, заострённое книзу лицо. Я смотрел на неё сбоку, и мне было нехорошо, я злился, потому что образ прекрасной Верены начинал ускользать из моей памяти. Я закурил сигарету. Я испытывал желание подойти к ней и прошептать на ухо непристойность. Когда я повернулся, чтобы зайти в своё купе, она посмотрела на меня.

В голове у меня промелькнула ехидная мысль, мол, наконец-то девушка отважилась на меня взглянуть. Поезд вздрогнул, в одном из купе закричал маленький ребёнок. В её глазах не было ничего особенного, возможно, они были зелёные, не очень большие и очень узко посаженные. Я больше ни о чём не думал, просто смотрел на неё, она смотрела на меня, без всякой эротики, без заигрывания, но так прямо и серьёзно, что я чуть не дал ей пощёчину. Наконец я очутился в своём купе и, резко задвинув дверь, перевёл дыхание.

Когда поезд остановился на станции «Zoo», было уже темно. Я сошёл на платформу, было тепло, я слышал запахи, по которым узнаю свой город с закрытыми глазами. Я встал на эскалатор и сразу же её увидел. Она была в трёх-четырёх метрах от меня, в правой руке у неё была красная коробка со шляпой. В её маленькой фигурке чувствовался вызов, который я проигнорировал. Я остановился возле киоска и стал покупать табак и вечернюю газету. Но Соня была тут как тут. Она сказала: «Я должна тебя подождать». Она не спросила, а сказала, при этом она смотрела себе под ноги, но в её хриплом голосе не было никакого смущения, наоборот, в нём была твёрдая уверенность. Она была совсем ещё юной, лет девятнадцать-двадцать. Я сказал: «Да», сам не зная, зачем я это делаю, заплатил за газету и за табак, и мы пошли вместе ко входу в метро. Пришла электричка, мы сели в неё, Соня всё время молчала. Она поставила на пол свою дурацкую коробку, и, прежде, чем затянувшаяся пауза сделалась неприятной, спросила: «Где ты был?» Это уже был настоящий вопрос. Я бы должен был сказать, что был в Гамбурге у своей подружки, но по неизвестной мне самому причине сказал, что был на рыбалке со своим отцом. Она смотрела на мои губы, при этом я не был уверен, что она вообще меня слушала. И вдруг я понял: она решила мной завладеть. Возможно, она видела меня раньше, в Гамбурге, или в Берлине. В тот момент, когда я увидел её впервые, она уже знала меня. Когда я стал возле неё в вагоне, чтобы покурить сигарету, она начала действовать. Она спланировала эту ситуацию, она заранее знала, что всё так и будет. Мне вдруг стало жутко. Я надел рюкзак и сказал: «Я выхожу». Она с невероятной быстротой схватила из шляпной коробки ручку, что-то написала на бумажке и протянула мне: «Ты можешь мне позвонить».

Я не ответил и, не попрощавшись, покинул электричку. Вместо того, чтобы сразу же выбросить клочок бумаги, я сунул его в карман куртки.

Май был тёплый и солнечный. Я рано вставал и много работал в мастерской. Писал бесчисленные письма Верене. Она редко отве-

чала, но иногда звонила, чтобы рассказать мне какую-то историю, и я наслаждался её голосом, её беззаботностью. Во дворе цвели липы, я играл с турецкими мальчишками в футбол, тосковал по Верене, но не страдал при этом. Когда темнело, я выходил из дому, город казался слегка пьяным, и я тоже шёл куда-нибудь выпить и потанцевать, и были женщины, которые мне нравились, но я каждый раз вспоминал Верену и возвращался домой один.

Через две недели я нашёл в своей куртке листок, на котором были написаны большие кругловатые цифры, и имя, которое я прочёл вслух: «Соня». Она подошла к телефону так быстро, как будто две недели больше ничего не делала, только сидела и ждала моего звонка. Я не должен был ничего объяснять, она сразу же поняла, кто говорит, и мы договорились встретиться в кафе на набережной.

Я положил трубку, ни о чём не жалея, и сразу же позвонил Верене, и стал кричать, что безумно люблю её. Она засмеялась и сказала, что через три недели приедет в Берлин. Я принялся за работу, насвистывая мелодию *Wild Thing*, вечером вышел из дому, держа руки в карманах, ни капельки не волнуясь.

Соня опоздала на полчаса. Я сидел у стойки и пил уже второй бокал вина, когда она вошла в кафе. На ней было невероятно старомодное платье из красного бархата, я с раздражением заметил, что она привлекает к себе внимание. Она подошла ко мне, неуклюже ступая на высоких каблуках, сказала: «Привет. Я извиняюсь». Меня так и подмывало сказать ей, что её наряд и её «пунктуальность», и вообще вся она невозможна и нелепа. Она улыбнулась и взобралась на стульчик, достала сигареты из крошечного рюкзака, и мой гнев прошёл. Я выпил вино, свернул себе папироску, улыбнулся и начал говорить.

Я говорил о своей работе, о родителях, об увлечении рыбалкой, о моём друге Мике и об Америке. Я говорил о людях, которые хрустят в кинозале обёртками от конфет и о Фрэнсисе Бэконе, о Поллоке и об Ансельме Кифере. Я рассказывал о Дании, о турецких мальчишках из моего двора и о женихе, который был у моей матери десять лет назад, о том, как готовят баранину и кролика, о футболе и Греции. Я описал Киос и Афины, прибой у Хусума и то, как летом в Норвегии лососи мечут икру. Я мог бы заговорить Соню насмерть, и она бы не сопротивлялась. Она просто сидела, подперев голову руками, смотрела на меня, курила невероятное количество сигарет и пила единственный бокал вина. Она слушала меня целых четыре часа. По-моему, она не сказала за всё это время ни единого слова.

Остановившись, наконец, я расплатился за нас обоих, пожелал ей спокойной ночи, взял такси, поехал домой и проспал восемь часов глубоким сном без сновидений.

Я сразу же забыл о Соне. Я готовил свою выставку, она должна была открыться в июне, ко мне приехала Верена, сдала пустые бутылки, купила уйму всякой еды, заставила кухню букетами сирени и всегда была готова лечь со мной в постель. Она пела в другой комнате, пока я работал в мастерской, она мыла окна, часами разговаривала по телефону со своими друзьями из Гамбурга, а потом приходила ко мне в мастерскую что-нибудь рассказать. Я расчёсывал её волосы, фотографировал её со всех сторон и начинал уже говорить о детях, о свадьбе. Она была высокая и стройная, на улицах мужчины провожали её взглядами, она распространяла вокруг себя чудесный запах, короче говоря, когда я говорил, что хочу на ней жениться, я отнюдь не шутил.

Выставка открылась в конце месяца. Верена поехала на вокзал, чтобы встретить своих друзей, а я взволнованно ходил по галерее. В семь часов Верена вернулась, её друзья разбрелись по залу, разглядывая картины, а мне захотелось пять минут побыть одному, и я вышел из галереи. Я перешёл на другую сторону улицы и увидел Соню. Я по сей день не знаю, проходила она там случайно, или она каким-то образом узнала о выставке. Она не знала моей фамилии, только имя, а о галерее я вообще ей ни слова не говорил. «Ты же сказал мне, что позвонишь, — сердито сказала она, — и не позвонил. Это плохо. Я хочу знать, почему».

Я был поражён этой наглостью, я разозлился и в то же время почувствовал неуверенность. Я сказал: «Моя подруга здесь. Я не могу себя делить. И не хочу».

Мы стояли, глядя друг на друга в упор. Губы её задрожали. «Можно мне всё-таки зайти?» — сказала она, я сказал: «Да», развернулся и пошёл назад в галерею.

Она пришла через двадцать минут. За это время помещение заполнилось людьми, найти кого-то в этой толпе было трудно, но Соню я сразу увидел. Она вошла с гордым видом, но при этом выглядела очень маленькой и ранимой. Она искала меня глазами. Я посмотрел на неё и перевёл взгляд на Верену, стоявшую возле буфета. Соня проследила за моим взглядом и всё поняла. Я не испытывал страха, для скандала не было ни малейшего повода. И всё же я знал, что он возможен, и знал, что он не случится. Соня переходила от одной картины к другой, и единственное, чем она себя выдавала, было то, что она простаивала у каждой картины по полчаса. Я сидел

на стуле, наблюдал за ней, пил много вина, иногда ко мне подходила Верена и говорила что-то вроде того, что «она мною гордится». Всё было хорошо, но в глубине души я чувствовал ранее незнакомое мне беспокойство. Соня на меня больше ни разу не взглянула. Простояв полчаса у последней картины, решительно прошагала к дверям и ушла.

В июле Верена уехала в Гамбург. Я от неё не устал, я был уверен, что могу провести с ней всю свою жизнь, но, когда она уехала, и букеты сирени на кухне засохли, и скопилось множество пустых бутылок, и по мастерской стала летать пыль, я не скучал по ней. Город неделями утопал в жёлтом свете, было очень жарко, я часами лежал голый на деревянном полу в своей комнате, глядя на потолок. Я не чувствовал ни беспокойства, ни раздражения, только усталость и какое-то странное безразличие. Может быть, поэтому я и позвонил Соне, заранее зная безнадёжность этой затеи, но, боже мой, была середина лета, во дворе турецкие женщины общипывали гусей, белые перья парили в воздухе, поднимаясь до моего окна; я набирал Сонин номер, ждал десять гудков и клал трубку. Её не было дома. Или она не подходила к телефону. Я пробовал снова и снова, я испытывал безумное желание мучить её, доставлять ей страдание. Но Соня исчезла.

Она не появлялась в течение четырёх месяцев. Только в ноябре я получил открытку, которую она послала мне через галерею, это была чёрно-белая фотография группы людей, похожих на чеховских персонажей, на обратной стороне стояло приглашение на праздник.

Я начистил туфли, долго не мог выбрать между кожаной курткой и пальто, остановился в конце концов на кожаной куртке и в полночь вышел из дому; я нервничал, потому что шёл на праздник, на котором все люди были мне незнакомы. Я долго блуждал в дебрях заводского района, в котором жила Соня, пока не нашёл её дом. Он стоял между прессом автосвалки и фабрикой, прямо на Шпрее. Он был серый и старый, все окна, кроме окна на третьем этаже, были тёмными. Света в подъезде не было. Меня это разозлило и в то же время вызвало идиотский смех. Поднявшись по лестнице, я увидел, что дверь в квартиру открыта, кто-то затащил меня в коридор, и там стояла Соня. Она стояла, опершись на стенку, она была подвыпившей. Она победно улыбнулась и впервые показалась мне красивой. Рядом с ней была маленькая рыжая женщина в зелёном, как морские водоросли, длинном платье, с очень пышной причёской, Соня показала ей на меня и сказала: «Вот он».

Она пригласила по меньшей мере пятьдесят человек. Я был уверен, что она не знала и половины этих людей. Это был парад лиц и типажей, сопровождавший медленное расставание с реальностью старого дома на Шпрее. Собственно говоря, такого рода приёмы мне всегда были чужды, но иногда — очень редко — бывают праздники, которые никогда не забываются, и таким был Сонин праздник. В трёх или четырёх полупустых комнатах горели свечи, где-то пел Том Вэйтс, я вовсе не был пьян, и всё же перед глазами плыло. Я взял на кухне стакан вина и пошёл через Сонины комнаты, ведя какие-то странные разговоры с какими-то странными людьми. Соня как-то умудрялась быть во многих местах одновременно. Где бы я ни очутился, она стояла напротив, может быть, на самом деле это я всё время был там, где была она. Она пригласила множество своих поклонников, во всяком случае, она всё время была окружена группой молодых людей, состав которой то и дело менялся, и при этом всё время с ней рядом была эта рыжая женщина. Соня непрерывно пила водку, в руке у неё всё время была сигарета; разговаривая с другими людьми, мы с ней смотрели друг на друга. По-моему, мы не сказали друг другу за весь этот вечер ни слова. Это было и ненужно, казалось, она была очень довольна, что я просто там был, а мне нравилось ходить по её комнатам, давая ей возможность рассматривать меня.

В какой-то момент я увидел её с очень большим и неповоротливым человеком возле входной двери, она прислонялась к нему, я почувствовал холодок под ложечкой. Через полчаса её уже не было в квартире. В окнах появился серый свет, я ходил по комнатам, пытаюсь её найти, но её нигде не было. Ко мне подошла маленькая рыжая женщина, её улыбка была такой же победоносной, как у Сони за несколько часов до этого, она сказала: «Ушла. Она всегда уходит под конец». Я допил вино, натянул свою куртку и тоже ушёл. По-моему, я надеялся, что она ждёт меня внизу, на холоде, пряча руки в карманах пальто... Но, конечно же, никто меня не ждал. Река в утреннем свете казалась стальной, я поплёлся по улице, было очень холодно, до сих пор помню, как я был зол.

После этого я стал видеть Соню почти каждую ночь. Я снова начал рано вставать. С утра я выпивал две чашки чая, принимал ледяной душ и начинал работать. В полдень я ложился спать, спал один час, потом пил кофе, читал газету и снова принимался за работу. Я находился в опьянении красками и формами, и в то же время такого ощущения ясности в голове у меня до этого никогда не было. Соня приходила поздно вечером, иногда она была настолько усталой, что

засыпала за кухонным столом, но она всегда приходила, и она выглядела всё более храброй. Я готовил еду для нас обоих, мы выпивали бутылку вина, я убирал в ателье, я не отдавал себе отчёта, что сам факт того, что я пускаю её в свою квартиру и в своё ателье, что она может сидеть за кухонным столом, когда я делаю свои заметки, что я на её глазах проявляю фотографии и делаю эскизы, Соня рассматривала как подарок. По-своему она относилась ко мне очень серьёзно. Она переступала порог мастерской с чувством сакральности этого действия, она стояла возле моих картин, испытывая благоговейный ужас музейного посетителя, она сидела за моим кухонным столом, как будто ей давали аудиенцию. Мне всё это не мешало, потому что я этого не знал. Я не замечал, что Соня пытается закрепиться в моей жизни. В эти ночи она была просто неким маленьким, усталым, чем-то одержимым существом, которое составляло мне компанию, сидело возле меня, слушало меня, тешило моё тщеславие, давая возможность почувствовать мою собственную значительность.

Соня ни о чём не говорила. Я и теперь ничего не знаю о её семье, о её детстве, в каком городе она родилась, о её друзьях. Я не имею ни малейшего понятия, на какие деньги она жила, зарабатывала ли она сама, или была у кого-то на содержании, хотела ли она приобрести специальность, к чему она стремилась и всё в таком роде. Единственный человек, о котором она иногда говорила, была маленькая рыжая женщина, которую я видел на празднике; больше она ни о ком не говорила, мужчины вообще не упоминались, хотя я уверен, что их было немало.

В эти ночи говорил я. Я говорил как будто с самим собой, а Соня слушала, а часто мы просто молчали, и это тоже было хорошо. Мне нравилось, что её приводят в восторг такие вещи, как первый снег, пластинки с органными концертами Баха, турецкий кофе после еды, поездки на метро в шесть утра, подглядывание в чужие окна ночью в моём дворе. Она крала у меня всякие мелочи из кухни, орехи, мел, самокрутки, и хранила их в карманах пальто, как амулеты. Почти каждый вечер она приносила книги, оставляла их на моём столе, просила меня их прочесть, но я их никогда не читал и не хотел их с ней обсуждать. Когда она засыпала, сидя, я давал ей поспать пятнадцать минут, а потом будил, тактично, как школьный учитель. Я одевался, и мы выходили из дому, Соня держала меня под руку и оглядывалась на наши следы, единственные во дворе, покрытом свежим снегом.

Мы переходили из одного ночного бара в другой, пили виски и водку, и иногда Соня отходила от меня, садилась в другом конце бара и делала вид, что она со мной незнакома, — пока я, рассмеявшись, не звал её. С ней всё время заговаривали мужчины, но она не отвечала, а с гордым видом возвращалась ко мне. Мне это было совершенно безразлично. Её странная привлекательность льстила мне, я наблюдал за ней почти с интересом естествоиспытателя. Иногда мне хотелось, чтобы она, наконец, исчезла вместе с кем-нибудь из этих поклонников. Она, однако, оставалась со мной, пока улица не начинала светлеть. Тогда мы покидали бар, я приводил её на остановку и ждал, пока придёт автобус. Она садилась в автобус, подрагивающая, грустная, я кивал ей головой и уходил, снова погружённый в мысли о своих картинах.

Теперь я думаю, что в те ночи я был по-настоящему счастлив. Я знаю, что с прошлым всегда так, всё кажется умиротворённым. Может быть, эти ночи были просто холодными и, хотя эти слова звучат цинично, — у меня было чем себя развлечь. Но сейчас они мне кажутся такими важными и безвозвратно потерянными, что болит душа.

Верена в это время путешествовала, она была в Греции, в Испании, в Марокко, она слала мне открытки с пальмами и пляжами, арабами на верблюдах, иногда она мне звонила. Если у меня в это время была Соня, она вставала и выходила из комнаты и возвращалась, только когда я создавал какой-нибудь шум, например, двигал стулом, давая понять, что разговор окончен. Верена кричала в трубку, связь чаще всего была плохая, шум моря и ветер врывались в разговор, или так казалось, и это оправдывало мою неразговорчивость. Я не забывал о Верене. Я думал о ней, я посылал письма и фотографии на её гамбургский адрес, я радовался её звонкам. Соня ко всему этому не имела никакого отношения, если бы кто-нибудь спросил меня, влюблён ли я в неё, я бы очень удивился и уверенно ответил бы — нет. Верена, тем не менее, говорила, что чувствует какие-то перемены, она кричала в трубку, что мне больше не о чем с ней говорить, она хотела знать, как часто я ей изменяю. Я смеялся в ответ, она вешала трубку.

В январе пришла открытка из Агадира, в которой она сообщала о своём прибытии в конце марта. «Я приеду весной — писала она, — и останусь надолго». Я положил открытку на кухонный стол и стал ждать, когда Соня её заметит. Я знал, что она уже взяла в привычку без всякого спроса перелистывать мои бумаги. В этот вечер я наблюдал за ней, стоя в дверях. Она стояла у стола, смотрела на ле-

жавшую там фотографию, что-то чёркала моим мелком, свернула себе папироску и вдруг увидела открытку, на которой было изображение фейерверка. Она прочла открытку, подержала её в руке, потом обернулась ко мне, как будто знала, что я там стою и за ней наблюдаю.

«М-да», — сказал я. Она ничего не сказала, и я почувствовал что-то наподобие страха. Мы вышли из дома вместе, но всё было фальшиво, я чувствовал себя виноватым, я злился, мне казалось, что я должен объяснить ей что-то, что, сам не знаю. В эту ночь она впервые спала со мной вместе. До сих пор я ни разу её не поцеловал, вообще до неё не дотронулся, мы только ходили под руку по улице и всё. Пока я мылся в душе, она надела одну из моих рубашек, когда я вошёл в комнату, она уже лежала в постели и стучала зубами. Было ужасно холодно, я лёг возле неё, мы повернулись спинами друг к другу, мы касались друг друга только холодными ступнями. Соня сказала: «Спокойной ночи», голос её был детским и мягким, я почувствовал ответственность за неё, я был тронут. Я не испытывал желания, ничто не показалось бы мне более абсурдным, чем секс с Соней, и всё же меня обидело то, что она так спокойно дышала и почти сразу заснула. Я долго не мог уснуть, под одеялом было тепло, я тихонько потирал свои ступни о её ноги. Мне и теперь совершенно ясно, что, если бы я по-настоящему переспал с ней, это было бы как инцест, даже если бы я просто коснулся её груди. Я только представил себе, как бы это было, если бы я поцеловал Соню, и уснул.

Утром её уже не было, на кухонном столе лежал листок с ответствием, я вернулся в постель, натянул на себя рубашку, в которой она спала.

И она снова исчезла. Она не пришла ни в этот, ни в следующий вечер. Я ждал три дня, а потом начал ей звонить. Она не подходила к телефону, или её на самом деле не было дома. Я бродил с утра по городу, сидел в кафе, о которых она иногда говорила, часами стоял перед старым домом на Шпрее, но её нигде не было. В её окнах никогда не горел свет, но на двери по-прежнему висела табличка с её фамилией, и кусочек бумаги, который я для контроля иногда подкладывал под дверную раму, всегда бывал сдвинут. Она меня избегала, и, когда пришёл март, поиски мне осточертели, и я начал готовиться к приезду Верены.

Я убрал в квартире и постарался уничтожить возможные следы Сониных посещений. Хотя на самом деле никаких следов не было. От трёх месяцев с усталой, маленькой, нежеланной Соней не оста-

лось ровным счётом ничего, все поиски были напрасны, я злился. Впервые за долгое время я позвонил своему другу Мику, мы пошли поиграть в бильярд, попить пива, танцевали с какими-то женщинами, целую неделю таскались по всевозможным барам. Я периодически делал попытку рассказать ему о Соне, но каждый раз умолкал, — что я, собственно, мог рассказать, если сам ничего не знал?

В конце марта растаял снег, лежавший на крышах, и вернулись стрижи. Я подарил турецким мальчишкам новый футбольный мяч и коротко постригся. Я всё ещё ждал неизвестно чего, — до тех пор, пока однажды вечером в моих дверях не возникла Верена. Тогда я забыл о своих поисках, о своём ожидании, я стал заплетать волосы Верены в косы, я подарил ей кофеварку-эспрессо. Казалось, она хочет оставаться у меня долго, как долго — я не спрашивал. Я работал, она гуляла по городу; вечером мы ходили в кино, сидели в маленьких кафе на набережной. Верена повесила свои платья в мой шкаф и устроилась на работу в бар, который был напротив моего дома; когда звонил мой телефон, она брала трубку. Мик сказал, что она — самое красивое из всего, что он видел, и я с ним согласился. Время пошло по заведенному ритму. Я хорошо себя чувствовал, может быть, я был счастлив, во всяком случае, спокоен. Во дворе начинали цвести липы, над городом проносились первые грозы, было жарко. Только изредка на улице у меня возникало ощущение, что кто-то идёт за мной следом; я разворачивался, и там никого не было. Были моменты, когда мне хотелось чего-то, какого-нибудь события, встряски, перемен, но это желание пропадало раньше, чем успевало появиться.

Однажды утром в июне мы поехали на велосипедах в открытый бассейн, Верена заплатила за нас обоих, утверждая, что вода — это её страсть, и побежала босая по лужайке в поисках свободного места. Она остановилась в крохотной тени одинокой берёзки, торжественно расстелила там полотенце и села. Рядом сидела Соня.

Услышав сильные, неровные удары своего сердца, я подумал: не эти ли сбои в ритме и есть те самые «перемены», по которым я тосковал? Я стоял, переводя взгляд с Сони на Верену, Соня подняла глаза от книги, которую читала, и увидела меня, потом увидела Верену.

Я сказал: «Верена. Я не хочу здесь сидеть», — и посмотрел на ошеломлённое лицо Сони. У неё теперь были длинные волосы, она загорела, похудела, на ней был синий купальник. Голос Верены доносился как будто издалека: «Это — лучшее место во всём бассейне». Казалось, она ничего не замечает, а я чувствовал, что начинаю

дрожать. Соня медленно поднялась, надела красное платье и пошла. Верена что-то говорила, но я больше её не понимал. Я только слышал, что в её голосе нет никакого недоверия, и, уронив сумку на подстилку, я пошёл за Соней. Я догнал её на выходе из бассейна. Она шла быстро, со спины она выглядела, как прямая красная палка. Я почти бежал, и, догнав её наконец, схватил за руку. Её кожа была горячей от солнца, она повернула ко мне своё безумно серьёзное лицо и сказала: «Хотим мы друг друга видеть или нет?».

Она сказала это тем же голосом, что тогда на вокзале: «Я должна тебя подождать», я чувствовал себя, как идиот, я был в растерянности, я сказал: «Да», а она сказала: «Ну, так вот», освободилась от моей руки и выбежала за ворота бассейна на улицу. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду, а потом вернулся к Верене, которая загорала на спине и так ничего и не поняла. Трава на том месте, где сидела Соня, выглядела смятой, я смотрел на два-три окурка, которые после неё остались, и пытался не потерять контроль над собой окончательно.

Мне не надо было просить Верену уехать, — я бы это и не стал делать, я бы увиделся с Соней тайком, — Верена сама уехала. Она заявила, что не хочет беспокоить меня во время моей «рабочей фазы», — хотел бы я знать, что это такое; она упаковала свои вещи, уволилась из бара и поехала назад в Гамбург. Я думаю, она и в самом деле надоела мне. Она хотела убедиться в том, что я люблю её. Убедившись, она уехала. Провожая её на вокзал, я был расстроен и слишком сентиментален, я сказал: «Верена, когда-нибудь», и она засмеялась и сказала: «Да».

Это было Сонино лето. Мы ездили на озёра, брали лодку, я грёб, и мы плыли по гладкой, как зеркало, зелёной воде, пока у меня не начинали болеть руки. По вечерам мы ужинали в сельских трактирах, — пиво с ветчиной, — у Сони были красные щёки и выгоревшие на солнце светлые волосы. Мы ехали домой на поезде с букетами полевых цветов, которые она собирала. Я почти не рисовал, я изучал карты окрестностей и хотел поплавать во всех озёрах, какие только есть. Соня всегда тащила с собой полный рюкзак книг, что-то читала мне вслух, читала стихи наизусть. Вечера были тёплые, мы считали комариные укусы, Соня дула на травинку. Лето было цепью светлых, голубых дней, я нырял в них и ничему не удивлялся. Мы проводили ночи в Сониной квартире, сквозь большие, высокие окна которой видна была Шпрее, мы не спали друг с другом, не целовались, почти не касались друг друга, да нет, вообще не касались. Я

говорил: «Твоя кровать — корабль», Соня ничего не отвечала, но всё лето она выглядела маленькой победительницей.

В конце июля, когда мы сидели на пустынном вокзале в Риббеке и ждали электричку, Соня вдруг отверзла уста и сказала: «Когда-нибудь ты на мне женишься».

Я посмотрел на неё, убил комара у себя на запястье, небо было красноватым, над лесом стелилась голубая дымка, я сказал: «Что-что?», и Соня сказала: «Да. Женишься. У нас родятся дети, и всё будет хорошо».

Я подумал: ну и дура. Ничто не могло показаться мне более абсурдным, чем возможность жениться на Соне и завести с ней детей, я сказал: «Соня, но это же смешно. Именно ты должна это понимать, — какие могут быть дети, если мы даже ни разу с тобой не спали?».

Соня встала, зажгла сигарету, ударила ногой маленький камешек, скрестила руки на груди: «Ну, с этой целью мы это сделаем. Всё получится, я знаю».

Я тоже встал, у меня было чувство, как будто я уговаривал капризного ребёнка: «Соня, ты рехнулась. Что это за глупые слова «всё будет хорошо»? Что это значит? Всё и так хорошо, так что жениться мы не будем».

Рельсы начали вибрировать, послышался высокий звук, вдалеке показался поезд. Соня выбросила сигарету и зашагала к рельсам. Она прыгнула с платформы на щебень, и, расставив ноги, ждала, пока поезд подъедет ближе. Я сел на скамейку. Поезд подъехал и остановился. Соня разгневанно крикнула: «Женишься ты на мне или нет?» Я засмеялся и крикнул в ответ: «Дорогая Соня! Да! Я женюсь на тебе, как только ты скажешь!» Соня тоже засмеялась, поезд тронулся, в воздухе был запах металла. Я произнёс её имя, тихо, испуганно, и тогда она запрыгнула с рельс на платформу, поезд прогромыхал мимо, она сказала: «Не сейчас. Я ещё не хочу, но позже, позже я хочу».

Осенью мы виделись реже, а потом она на какое-то время исчезла. Однажды утром она появилась в дверях в зимнем пальто и сказала: «Милый, я должна уехать, но перед этим я бы выпила чайку».

Я впустил её, вскипятил воду, она прошлась по моей квартире, она казалась чем-то взволнованной. Я спросил, куда она едет. Она сказала, что должна месяц где-то поработать, а потом вернётся; как всегда, она явно не хотела ничего рассказывать. Мы выпили чай, она встала, потянула меня за руки и обняла меня.

Я сжал её, я оказался безоружным перед этой её серьёзностью, она сказала: «Следи за собой» — и ушла.

Всё, что после этого случилось, случилось из-за страха. Я думаю, что я испугался Сони, испугался перспективы жизни с этим странным, маленьким существом, с девушкой, которая не разговаривала и не спала со мной, только смотрела на меня широко раскрытыми глазами, с девушкой, о которой я ничего не знал, и которую я при этом любил, ну да, любил, конечно.

Я чувствовал, что не могу больше жить без Сони. Мне казалось, что она мне необходима, что я скучаю по ней. Я боялся, что она не вернётся, и в то же время я больше всего на свете хотел, чтобы она никогда не вернулась.

В конце месяца я уложил вещи в маленький чемодан и поехал в Гамбург. Затаив дыхание, я сделал поражённой моей внезапностью Верене предложение, и она согласилась. Я оставался у неё три недели, ездил с ней к своим родителям, мы назначили свадьбу на март следующего года. Верена заказала путёвку в Санта-Фе для свадебного путешествия, представила мне свою ужасную мамашу и сообщила мне, что мою фамилию она брать не будет. Мне было всё равно. Мне казалось, что я в последний момент сумел избежать самого страшного, я воображал, что спасён и нахожусь в безопасности. Мы немного ссорились с Вереной — она хотела, чтобы я переехал в Гамбург, а я сказал, что, по-моему, всё может и дальше быть, как было, неважно, женаты мы теперь или нет, после чего поехал назад в Берлин.

В моём почтовом ящике ничего не было, в мастерской, как всегда, на всех картинах лежал слой пыли, на оконных рамах была паутина. От Сони не было никаких известий. Я был теперь хозяином положения, я предотвратил худшее, и мог теперь быть любезным и скромным. Я поехал к её дому на велосипеде, с силой нажимая на педали, взбежал по лестнице, насвистывая. Она была дома, открыла и впустила меня как-то рассеянно, явно ожидая кого-то другого, потом улыбнулась и сказала: «У тебя всё хорошо, да?»

Мы сели в большой, почти что пустой комнате, Соня за письменный стол, а я в кресло у окна, за которым текла коричневая Шпрее, и над прессом автосвалки проносились чайки. Соня не спрашивала меня, где я был. И не рассказывала о своих путешествиях, она казалась очень маленькой и немного испуганной за своим письменным столом, она курила одну сигарету за другой.

Я непринуждённо говорил о погоде, о моих творческих планах, о своей выставке, которая должна была открыться зимой в Национальной галерее, я чувствовал себя уверенно. Соня сказала, что в ноябре она хочет снова устроить праздник. Я сказал, что охотно бы на него пошёл, и она сухо улыbnулась. «Ты уедешь со мной в начале года?», — спросила она, и тогда я наконец произнёс фразу, которую готовился всё это время произнести, я её предвкушал, я про себя репетировал, и теперь произнёс её громко, чётко, хорошо артикулируя, и прежде всего — вежливо: «Это не получится. В марте я жёнюсь на Верене».

После этого она меня выставила из квартиры. Она встала, указала рукой на дверь и сказала: «Вон!».

Я сказал: «Соня, что ты, что это значит?», и она повторила: «Вон!», при этом лицо её осталось бесстрастным. Я засмеялся, я не уверен был, что она говорит всерьёз, пока она не крикнула: «Вон!» голосом, который я ещё никогда не слышал. Я неуверенно поднялся, я уже не знал, на что я, собственно говоря, рассчитывал. Но мне совсем не хотелось уходить, мне хотелось увидеть, как Соня теряет самообладание, как она рыдает, воеет, мне хотелось, чтобы она меня ударила, не знаю, чего мне хотелось.

Но Соня просто вернулась за стол, села ко мне спиной, я переступил с ноги на ногу, было тихо, у реки за окном был невыносимый коричневый цвет. Я шумно вздохнул, но ничего не произошло, и тогда я ушёл, закрыл за собой дверь, прислушался — ничего. Никакой вспышки, никаких подавляемых рыданий. И Соня не крикнула мне вдогонку, чтобы я вернулся.

Я поехал домой на велосипеде, очень медленно; я был — удивлён. Я думал, что всё будет как-то так продолжаться.

Соня не появлялась, но это я, по крайней мере, предполагал. Это была игра, правила которой я уже знал. Я ждал неделю, а потом позвонил ей, и, конечно, она не подошла к телефону. Я написал ей письмо, потом ещё одно, потом третье; я писал какую-то чепуху, беспомощные извинения. Она, понятное дело, не отвечала. Я оставался спокоен, я уже всё это знал, я думал: «Дай ей время».

Я звонил ей регулярно три раза в неделю, считал десять гудков и вешал трубку. Я работал, звонил Верене, ходил с Миком развлекаться и набирал Сонин номер так же, как чистят зубы, или каждое утро смотрят в почтовый ящик. Меня всё это забавляло, и я гордился Соней, решительностью, с которой она меня избегала, я думал, что придёт время, и она прекратит это. Мне хотелось её видеть. Было холодно, пошёл первый снег. Я вспоминал прошлую зиму, ночи, ко-

торые она проводила у меня, и мне хотелось, чтобы всё это повторилось.

Я думал: «Ну, давай, Соня, подойди к телефону, давай пойдем, погуляем, я согрею тебе руки, и всё будет, как всегда, всё будет, как было».

Но в начале декабря в почтовом ящике появилось моё последнее письмо Соне. Я в недоумении рассматривал свой собственный почерк и не знал, что всё это значит, пока не перевернул письмо и не увидел штампель: «Адресат выехал в неизвестном направлении». Я стоял, ничего не понимая, в коридоре, было холодно, я замёрз. Я положил письмо обратно в ящик и поехал на велосипеде, качаясь на снегу, вдоль реки в заводской район; я ехал медленно и осторожно, отказываясь о чём-либо думать. Возле Сониного дома я привязал велосипед к фонарю и посмотрел вверх на тёмные окна. Ни гардин там не было, ни света, но это ещё ничего не значило. Дверь подъезда закрипела, когда я её толкнул, я ощутил запах сырости, угольной пыли. Мне всегда казалось, что в этом доме, кроме Сони, никто больше не живёт, а теперь я чувствовал, что дом опустел окончательно. Всё же я поднялся по лестнице, перила на втором этаже были сломаны, ступеньки подозрительно громко трещали. Я вспоминал праздник, гомон, музыку, Соню, стоящую рядом с маленькой рыжей женщиной в зелёном платье. Табличка на её двери была содрана. Я нажал на кнопку звонка, но он не работал. Я заглянул сквозь замочную скважину в длинный, пустой, выкрашенный белой краской коридор её квартиры и понял, что Сони там нет.

Я уверен, что дом очень скоро снесут. На дворе февраль, я всё время подкладываю в печку дрова, но теплее от этого не становится. Соню я больше не видел и ничего о ней не слышал. Липы тыкаются своими холодными ветками в моё окно, пора уже покупать новый футбольный мяч для турецких мальчишек. Я надеюсь когда-нибудь встретить эту маленькую рыжую женщину, чтобы спросить у неё, где теперь живёт Соня и как у неё дела. Иногда на улице мне кажется, что кто-то за мной идёт, я резко оборачиваюсь, и там никого нет, но беспокойство не проходит.

Женщина с острова Бали

Зима иногда мне о чём-то напоминает. О настроении, которое было у меня однажды, о желании, которое я когда-то почувствовала? Я точно не знаю. Холодно. Пахнет дымом. Снегом. Я оборачиваюсь и прислушиваюсь к чему-то, что не могу услышать, на языке у меня слово, которое я не могу выговорить. Какое-то беспокойство,

знаешь? Ты знаешь. Ты скажешь: то, что не имеет имени, называть не стоит.

Во всяком случае, в тот вечер, когда ты не захотел со мной встретиться, Кристиана танцевала. Она включила радио и танцевала под *Never knew a girl like you before*, у неё было лицо *cheerleader*¹, длинные рыжие волосы падали ей на плечи, она была очень красива. На Маркусе Вернере была облезлая шуба его бабушки и розовые резиновые перчатки. «У тебя такой глупый вид», — сказала Кристиана. Маркус Вернер, не глядя на неё, сделал на поверхности карманного зеркальца две маленькие улицы из кокаина. Я не была усталой. Я сидела, облокотившись на Маркуса Вернера, на диване, его шуба была влажной от снега и смешно пахла, Кристиана подкрашивала губы помадой сливового цвета. Маркус Вернер оторвал глаза от своего зеркальца и смотрел в никуда.

Где ты был? Я тебе звонила, ты сидел перед телевизором, ты сказал, что принял не те наркотики, у тебя был усталый раздражённый голос, и ты не хотел никуда идти. Я сказала: «Кристиана влюбилась», ты сказал: «Тоже мне новость», потом мы молчали, слышен был звук телевизора, очевидно, шёл фильм про войну, взрывы, сирены воздушной тревоги; я знала, что в твоей комнате холодно, на стёклах морозные узоры. Ты положил трубку.

Голос Эдвина Коллинза был с надломом, я выкурила подряд три сигареты. «Кто же на этот раз», — сказал Маркус Вернер как бы мимоходом, его перчатки издавали какой-то неприятный звук. «Помолчи», — сказала Кристиана и посмотрела на себя в большое зеркало, уперев руки в бёдра, взгляд исподлобья, под глазами синеватые тени — она отлично выглядела. «Мы получим удовольствие», — сказала она и поцеловала меня в губы. Я схватила Маркуса Вернера за руку и зашептала ему на ухо, казалось, Кристиана не хотела мне мешать, я шептала: «Это очень известный режиссёр. Он женат. Мы идём на приём по поводу его премьеры, будет водка, много еды, слышишь, ты получишь удовольствие», пока Кристиана не рассмеялась и не оттащила меня от него.

Снаружи было очень холодно. Я думала, как ты там сидишь в своей комнате, в кресле перед телевизором, я знала, что ты не смотришь фильм, а просто так сидишь в полутьме, глядя перед собой; я не была разочарована или обижена, мне было немножко грустно, да, может быть, чуть-чуть. Было и вправду холодно. Пахло снегом, наши голоса на пустой улице звучали до смешного глухо, и мы ничего больше не говорили; вокруг фонарей были сгустки замороженного

¹ Англ. «заводила» (прим.ред.).

света. Кристиана была на высоких каблуках, она поскользнулась, я посмотрела на Маркуса Вернера, мы не помогли ей подняться. На перекрёстке мы поймали такси, Кристиана сказала: «В театр», опустила стекло и включила радио. Таксист поморщился, но промолчал. Перед театром развевались красные флаги, двери были раскрыты, Маркус Вернер нагнулся и сказал: «Та пьеса, что сегодня шла...?», и Кристиана кивнула. «Но о чём ты хочешь с ним говорить, если не о пьесе?», — сказал Маркус Вернер и хихикнул. Кристиана обеими руками притянула его лицо к своему и сказала: «Я вообще не хочу с ним говорить. Ясно?»

В дверях я ещё раз оглянулась. Я в последний раз подумала, не вернуться ли мне. Пойти к тебе, сесть рядом с тобой перед телевизором. Я бы выключила телевизор, посмотрела бы на тебя, всё могло бы быть очень просто. Я не могла решить, пока не вдохнула холодный воздух и не задержала дыхание. После этого я побежала догонять Кристиану и Маркуса Вернера.

В фойе стояли длинные столы, какая-то невероятная еда, холодильники, заполненные водкой, заиндевшие маленькие стаканы, приглашён был русский ансамбль духовых инструментов, включён красный свет. «Я сейчас», — сказала Кристиана и исчезла. Я взяла в буфете хлеб и рыбу, Маркус Вернер стал рассовывать бутылки с водкой и стаканы по карманам шубы, на нём всё ещё были розовые резиновые перчатки, никто на него не обращал никакого внимания. Мы ели, сидя на ступеньках лестницы, я пила водку большими глотками, и мне становилось тепло, Маркус Вернер выглядел беспокойно и непрерывно вытирал нос. «Ты слишком часто нюхаешь кокаин», — сказала я, а он сказал: «Где он, режиссёр этот». Режиссёр стоял возле бара. Он был большой, толстый, опустившийся, он курил сигару и пил виски, и в нём было то, что влекло Кристиану к пожилым мужчинам, к сексу с ними. Кристиана никогда не могла перед этим устоять. К тому же он был знаменит. Я указала на него пальцем и сказала: «Вот он», Маркус Вернер истерически рассмеялся, а потом сказал: «Ну, конечно!». Я смотрела на режиссёра и думала о бесчисленных режиссёрах и драматургах, актёрах и театральных художниках, которые ели за нашим с Кристианой кухонным столом, стояли под нашим душем, лежали в наших постелях, я думала об их голосах, записанных на плёнку нашего автоответчика, о ночном стуке в дверь, о разбитых стаканах и непрочитанных письмах; я думала о том, что всегда чего-то не хватало, и, что в этот раз тоже не хватит, я думала о тебе, о морозных цветах на стекле, о запахе дыма, я думала, что нас с тобой тоже не хватило.

Пришла Кристиана. Должно быть, она была в туалете, стояла там перед зеркалом, завязывая волосы в узел, который она потом

распускает заколкой, и волосы тогда текут по её спине волной, глядя на которую я всегда чувствую себя усталой. Она отошла в другой край фойе, послонялась между колоннами, приблизилась к бару и отошла от него, закурила сигарету, глядя по сторонам сквозь полу-прикрытые веки. Ансамбль играл Вина, *Buenas Tarde, Amigos*. Маркус Вернер вытер нос резиновой перчаткой, вытер перчатку о мех своей шубы и сказал: «Подходящая песенка, а?». Кристиана качнула головой, наклонилась вперёд, на секунду так зависла, а потом вышла на пустую танцевальную площадку, встала в самом центре, прямо на большую звезду, под люстру, залившую её красным светом. Режиссёр перед этим всё время безучастно взирает на танцплощадку, но потом отвернулся в другую сторону. Когда он снова посмотрел на танцплощадку, он увидел Кристиану. Кристиана танцевала: лицо *cheerleader*, руки на бёдрах, она запрокидывала голову, глубокий вырез на спине доходил до попы. Маркус Вернер всё время хихикал, я не знала, что было тому виной, кокаин или танец Кристианы, я вынуждена была тоже рассмеяться и сказать: «Она это может. Может, и всё».

Она танцевала долго. В какой-то момент она подняла руку и распустила узел, волосы упали на спину, Маркус Вернер зарыл лицо в ладони и сказал: «Я этого не выдержу». Режиссёр превратился в маленький, расплывчатый, толстый комочек вожделения. Я отошла в сторону. Я пила водку и смотрела на люстру, у меня немного кружилась голова, и я думала о всех тех ночах, когда мы с тобой вместе пили, я и ты за деревянным столом какого-то бара, всегда была зима, снаружи снег, и никогда не светало, всё время было темно. Лета я не помню. Почему? Я пыталась понять, почему между нами всё кончено, хотя я знала, что понимать тут нечего. Я думала о тебе, о твоей комнате, о голубоватом свете телевизора, о наполовину выкуренной сигарете в твоей левой руке, я думала, что ты всё это дольше меня знаешь, что ты мог бы мне что-нибудь сказать. Что? Что-нибудь.

Я столкнулась с Маркусом Вернером, он сказал: «Эй, где ты ходишь, ты должна на это посмотреть», и я посмотрела на площадку, где всё ещё танцевала Кристиана. Рядом с ней теперь танцевала ещё одна женщина. Она была очень маленькая, тоненькая, она казалась ребёнком, скороспелым ребёнком, кожа у неё была тёмная, волосы чёрные. На ней было красное платье, и когда она крутилась, можно было видеть её голый зад и лобок. Она крутилась неустанно, маленькие руки летали вокруг неё, как птички, она танцевала босая, и её танец сильно отличался от танца Кристианы. Кристиана выпала из ритма. Она пыталась подстроить своё лицо *cheerleader*, качание

бёдрами, круговые движения ног к мягким движениям этой женщины, но у неё ничего не получалось. Она слишком много смотрела по сторонам. А маленькая женщина закрыла глаза и казалась отрешённой, на лицо её упали чёрные волосы. Маркус Вернер смотрел на это, раскрыв рот, он закурил сигарету с видом человека, который пытается сконцентрироваться. Внезапно он резко обернулся ко мне и деловито спросил: «А это ещё кто?», и я сказала: «Это его жена. Жена режиссёра. Она с острова Бали. Там они и поженились».

Она бы тебе понравилась, эта маленькая женщина. Она была такая нетронутая, как раз то, что ты любишь, она была где-то далеко, но при этом её можно было созерцать и выдумывать про неё разные истории. Она выглядела ранимой и красивой, у неё были крошечные ножки, и она казалась такой ненастоящей в этом фойе, на этих мраморных плитах, под этими люстрами. Кристиана сошла с танцплощадки и подошла к бару. Режиссёр стал рядом с ней, на жену он не смотрел, он смотрел на Кристиану, она заказала большую порцию виски. Маленькая женщина продолжала танцевать босиком на холодном каменном полу. Маркус Вернер посмотрел на меня и сказал: «Поговорим?», я сказала: «Нет», он поднялся и пошёл прочь. Я выпила сама. Было уже очень поздно. Я видела снег за огромными окнами, большие, плавно опускавшиеся хлопья. В какой-то момент между колоннами появился шатающийся Маркус Вернер, он был в стельгу пьян, и у него в руках, — бог знает, откуда он его взял — был мегафон, и он кричал сквозь мегафон всё время одно и то же, но я не могла разобрать ни слова. Я облокотилась на перила и смотрела на него. Я подумала о том, что я его ещё никогда не видела днём, и спросила себя, хотела бы я узнать о нём больше того, что я знаю, — что зимой он носит эту шубу, а летом оранжевую куртку мусорщика. Три раза в неделю он проводил вечера с Кристианой и со мной, и если бы я с кем-то о нём говорила, я бы сказала «мой друг». Принимала я его всерьёз? Принимал ли он меня всерьёз, хотел ли он чего-то, когда предлагал поговорить? О чём говорить? Я вспомнила, как он однажды сказал: «Я бы мог снять один фильм? Фильм про нас», я сказала: «И что же это был бы за фильм», он ответил: «Это был бы фильм о том, что ничего нет, ничего больше нет ни между нами, ни вокруг нас, только одна ночь с тобой, со мной и с Кристианой», я чуть не умерла со смеху. Он был слишком молод, он был под кокаином, и к тому же пьян, он ревел в мегафон, так, что у него вздулись жилы на шее, толпа расступалась перед ним. Мне было жаль его, и при этом я чувствовала, что никогда не захочу его снова увидеть. Я подавила в себе желание подняться, подойти к нему, забрать у него мегафон и поцеловать его. На звезде, которая была в

центре танцплощадки, сидела на корточках девушка и билась лбом о пол, лоб у неё был в крови, она плакала и несла какую-то чушь. Бүфет был пуст. На большом красном диване одна актриса е...ась с работником сцены, работник сцены сильно вспотел, актриса отчаянно пыталась разорвать его футболку, на которой сзади был изображён Майк Тайсон, кусающий ухо Холифилда. Маленькая женщина ушла, режиссёр ушёл, Кристиана ушла. Свет не гасили, кто-то бросал в стенку стаканы, двое ненастоящих калек проехали на инвалидных колясках через танцплощадку и исчезли за колоннами. Актриса поправила юбку, влезла на маленькую сцену и сказала в ненастроенный микрофон: «Для бэби», она говорила: «Для бэби, для бэби», а потом упала. Я закрыла глаза. Я слышала Маркуса Вернера, по-прежнему не понимая, что он говорит. Я уснула. Проснулась я оттого, что Кристиана потянула меня за руку, она стояла передо мной, она выглядела точно так же, как несколько часов назад, в квартире, на улице, в такси, она выглядела по-зимнему, бесстрастной, холодной, сомкнутые губы, узкий рот. Она встряхнула меня и сказала: «Вставай. Нужно идти. Где Вернер, вообще, что ты тут делаешь?», всё это она говорила не впопыхах, не быстро, а наоборот, очень медленно и сосредоточенно. Я поднялась на ноги, схватила её, посмотрела ей в глаза. Глаза были синие, как лёд. Я сказала: «Как дела?», она глянула на меня и сказала: «Хреново. Хреновые дела. Но мы всё равно поедём».

Ты завидуешь? Чуть-чуть завидуешь, да? Ты слегка заинтригован — куда? Куда они теперь пойдут? Ты бы пошёл домой. Нет, ты не завидуешь, ты никогда не был завистлив. Мы стали искать Маркуса Вернера и нашли его в туалете, он стоял перед умывальником, пытаясь что-то смыть со своих резиновых перчаток, из кабинки раздавался плаксивый девичий голосок: «Ну, что случилось, почему ты прекратил, я ничего не могу понять». На лице Кристианы появилось отвращение, она захлопнула дверь кабинки левой ногой, Маркус Вернер обернулся и очень тихо сказал: «Так нужно». «Она ждёт», — сказала Кристиана. «Она ждёт, мы должны скорее идти, тотчас же», и Маркус Вернер внезапно стал выглядеть беспомощным и произнёс с горечью, так, как будто от него требовали слишком многого: «Да кто там ждёт?» Когда мы уже шли по коридору, Кристиана ещё раз раздражённо обернулась к нему и закричала: «Женщина с острова Бали! Нас ждёт женщина с острова Бали».

Часы перед зданием театра остановились в одиннадцать часов. Снег покрыл толстым слоем улицу, машины, фонари, мир был тих и в то же время грохотал в моих ушах. Женщина с острова Бали была по-прежнему босая, без пальто, она стояла в своём красном платье возле такси и держала нам дверцу. Кристиана втокнула Маркуса

Вернера в машину, мегафон упал в снег, она втокнула и меня, а потом села сама. Маркус Вернер шептал: «Твои глаза, маленькая сестра, разрывают мне сердце», я не знала, чьи глаза он имеет в виду. Я подумала, не это ли предложение он весь вечер выкрикивал в мегафон? Женщина с острова Бали села на переднее сидение рядом с водителем, обернулась к нам, на лице у неё была улыбка. Я улыбнулась ей в ответ. Таксист поехал, я наклонилась к Кристиане и тихо сказала: «Куда мы едем?», и Кристиана, глядя в окно, сказала: «К нему. Или к ней. Мы едем к ним домой, он уже там, она хотела, чтобы мы сейчас к ним поехали». Я сказала: «Почему она этого хотела?», и Кристиана пожала плечами, я сказала: «Почему ты этого хочешь?», и она сказала: «Не всё ли равно».

На дверной раме, сверху, лежит ключ от твоей квартиры. Я знаю. Я могла бы встать на цыпочки, в темноте лестничной площадки, дотянуться пальцами до ключа, вытянуть его оттуда, вставить в замок, тихонько открыть дверь. Я могла бы пройти по коридору в твою комнату, телевизор ты уже выключил и лёг спать, я могла бы постоять возле твоей кровати, глядя, как ты спишь, лечь рядом с тобой, а ты бы ничего не заметил. Но ключ там лежит не для меня. Это я тоже знаю. Он лежит для кого-то, о ком мы никогда не говорили, он лежит наготове, и когда придёт время, кто-то встанет на цыпочки, дотянется до него, откроет дверь, поставит свои чемоданы возле твоей кровати и разбудит тебя. Вот так вот, правда? Ты ждёшь. Ты не знаешь её, но ты знаешь, что она придёт, и ты этого ждёшь, ты сидишь, смотришь на морозные узоры на стекле и ждёшь. И я тоже жду.

Во всяком случае, у женщины с острова Бали ключа не было. У неё не было ключа от собственной квартиры, или она притворялась, что у неё его нет. Мы стояли перед дверью, она держала на кнопке звонка свой маленький коричневый пальчик, звонок разрывался, Маркус Вернер ходил кругами по лестничной площадке, вытирал нос и изможденно повторял: «Я больше не могу». Женщина с острова Бали обернулась к нему и улыбнулась, до сих пор она не промолвила ни одного слова, я увидела, что передние зубы у неё спилены, от них остались только маленькие кусочки. Маркус Вернер вымученно улыбнулся и сказал: «Может, нам лучше уйти?», после чего дверь открылась, и мы увидели маленьких детей, стоявших в тёмном коридоре. Четверо или пятеро маленьких детей в спальных костюмах, босых, с растрёпанными волосами. Они смотрели на нас, мы на них, они выглядели как гротескная смесь их родителей, они были толстые, рыхлые, как их отец, но глаза у них были такие же тёмные и узкие, как у их матери. Женщина с острова Бали вступила в эту массу, состоящую из спальных костюмов, игрушечных зверей и мягких дет-

ских ручек, дети облепили её и заговорили с ней на их языке. Маркус Вернер посмотрел на Кристиану и сказал: «Ты знала об этом?». Первый раз за этот вечер Кристиана выглядела так, как будто для неё это уже тоже слишком, она сказала: «Нет. Этого я не знала».

В квартире режиссёра мы два раза наступили на хомяков. Хомяки издавали ужасные звуки, женщина с острова Бали смеялась, поднимала их и забрасывала в одну из многочисленных комнат. Дети выглядывали из-за дверей и снова прятались. Режиссёра мы нигде не видели, квартира была тёмной, женщина с острова Бали повела нас на кухню, зажгла свечи, поставила чайник. Мы были смущены, мы сели за кухонный стол, мне хотелось сидеть рядом с Маркусом Вернером, Кристиане хотелось сидеть рядом со мной, мы долго передвигались вокруг стола, чувствуя стыд. Наконец, мы расселись. Кухня была большая и тёплая, за окнами была ночь, под потолком протянуты гирлянды, пахло чем-то странным. Мы молчали. Кристиана старалась не встречаться со мной взглядом. Маркус Вернер шептал, как маленький ребёнок: «Что мы тут делаем?», ему никто не отвечал. Женщина с острова Бали заварила чай из зелёных листьев, поставила на стол маленькие вазочки, сахар и мёд. Она наливала чай медленно, уверенно, всё время улыбалась, наконец, она села возле Кристианы. Маркус Вернер разглядывал фотографию, которая висела на стенке над столом, на фотографии был режиссёр со своей женой, на заднем плане были пальмы и синее море; на режиссёре ничего не было, кроме крошечной набедренной повязки, на голову был надет веночек из бананов и цветов. Он выглядел каким-то потерянным, смущённым, женщина с острова Бали держала его за руку, она не улыбалась, небо над ними было как перед дождём. Маркус Вернер сказал: «Свадьба?». Женщина с острова Бали как раз приблизила своё лицо к Кристиане, но, услышав вопрос, отпрянула и кивнула головой. Кристиана откашлялась, положила руки на стол, как будто хотела начать конференцию. Она сказала решительно и твёрдо: «Где он?», и Маркус Вернер ответил за жену режиссёра: «Он уже спит».

Мне кажется, мы с тобой хорошо провели зиму. Одну зиму или несколько? Я уже не помню, ты бы сказал, что это неважно. У нас был снег и звенящий мороз, и всегда, когда я говорила, что, по правде говоря, охотно бы замёрзла, ты смотрел не меня так, как будто понимал меня. Мы гуляли, когда светило солнце. Длинные тени, сосульки на ветках, которые ты срывал и лизал языком. Когда ты поскользнулся и упал, я смеялась до слёз, мы друг другу ничего не обещали, но, прости меня, я всё же чувствую ревность ко всем тем зимам, которые ты проведёшь без меня. Я думаю, что всё теперь будет так, как было на той кухне, где я сидела с Маркусом Вернером,

Кристианой и женщиной с острова Бали. Было утро, я была такая усталая. Я знаю, что никогда ничего другого и не было. Просто мне один раз показалось, что бывает что-то другое, я ошиблась.

Небо за окном стало бледным, снова пошёл снег, теперь он светился, Кристиана поднялась и снова села. Маркус Вернер стянул со своих рук резиновые перчатки и облокотился на меня, тихонько поцеловал меня в шею. Женщина с острова Бали посмотрела на нас и улыбнулась. Она сказала: «В Германии столько разных шуток». Её голос казался ясным и детским, она растягивала слова и не могла правильно произнести «ш». Маркус Вернер был неподвижен. У Кристианы на лице появилась холодная усмешка, она раздражённо сказала: «Что-что?» Женщина с острова Бали придвинулась к столу, она больше не улыбалась, она серьёзно сказала: «Анекдоты. Я их все выучила наизусть». Маркус Вернер закрыл глаза и сказал бархатным голосом: «Может, вы нам один расскажете?», и женщина с острова Бали посмотрела на украшенный гирляндами потолок и сказала: «Какая разница между блондинкой и Титаником?». Мы молчали. Она подождала четыре-пять секунд, а потом сказала: «Сколько было людей на Титанике, мы знаем». Мы по-прежнему молчали. Она смотрела на нас так, как будто мы ей должны были что-то объяснить, смысл этого анекдота, она выглядела ужасно серьёзной, глаза были широко раскрыты. Маркус Вернер сидел по-прежнему с закрытыми глазами, но на лице Кристианы появилась паника, вызвавшая у меня смех. Женщина с острова Бали наклонилась ещё больше и сказала: «Что говорят блондинке, упавшей в погреб?», после этого она подождала две-три секунды, казалось, она считает про себя, а потом сама себе ответила: «Захвати пиво», при этом она так напряжённо смотрела на стол, как будто все эти слова были на нём написаны. После этого она выпрямилась. Теперь она была прямая, как свечка, и говорила, как будто её выдрессировали. Она выпрямилась и сказала: «А как хоронят блондинку?», и больше она уже не останавливалась. Она рассказывала один анекдот про блондинок за другим, десять, двадцать, пятьдесят анекдотов про блондинок, а я смотрела на неё, на её чужое, сосредоточенное, сумасшедшее лицо, я уже не могла её понять. Она говорила всё быстрее и быстрее, она задавала вопрос и давала ответ, вопрос, ответ, без передышки, и в какой-то момент я заметила, что Кристиана — как долго уже? — плачет. Голова Маркуса Вернера соскользнула с моего плеча вниз, на мои колени. Он спал, облезлый мех бабушкиной шубы окружал его лицо, и оно казалось удивительно маленьким. Я подложила свою руку под его щёку и придерживала его голову. Я чувствовала, как бьётся моё сердце. Мне было хорошо.

А потом стало тихо. В одной из комнат зазвонил будильник, проснулся режиссёр, за окном было светло. Женщина с острова Ба-ли молчала, хотя не похоже было, что она выдохлась. Она встала, взялась за Маркуса Вернера и потянула его на себя. Он навалился на неё, и она тихонько стянула с него шубу и как-то уложила его на скамью. Она укрыла Маркуса Вернера шубой и провела своей маленькой коричневой рукой по его лбу, а потом поцеловала в губы. Мы с Кристианой поднялись и надели пальто. В дверях мы ещё раз обернулись: она стояла возле скамейки в своём красном платье и смотрела на нас прямым и серьёзным взглядом, она больше ничего не говорила, мы ушли.

На улице было холодно. Мимо нас ехал ранний трамвай, провода искрились, город был ещё тих, свет был такой яркий, что я закрыла глаза. Кристиана стояла, завязывая себе волосы на затылке, я думала было её обнять, но не обняла. Лицо у неё было совершенно белое, губы синие, мы побежали, и снег захрустел у нас под ногами. Я подумала, что, если ты спишь, то ты как раз сейчас проснёшься. Ты проснёшься и увидишь морозные узоры на стекле.

Холодно. Пахнет снегом. Дымом. Ты не прислушиваешься к чему-то, чего не можешь услышать? Не лежит ли у тебя на языке слово, которое ты не можешь произнести? Ты чувствуешь какое-то беспокойство? Мы с тобой однажды, — а разве этого не достаточно, — нигде не встречались? Я теперь пойду спать. Не напоминает ли тебе зима иногда о чём-то, ты не знаешь, о чём именно?

Camera Obscura

Художник очень маленького роста. Мари сама не знает, в своём ли она уме, уж слишком маленького роста художник; она думает: у тебя не все дома, она имеет в виду себя, а может быть, это потому, что осень, потому, что начинается хорошо знакомое беспокойство, озноб в спине, дождь?

Художник в самом деле слишком мал. На три головы ниже, чем Мари. Он знаменит, по крайней мере, в Берлине его знают все, он творит с помощью компьютера, он написал две книги, по вечерам он иногда выступает по радио. Художник к тому же некрасив. У него маленькая пролетарская голова, он очень смуглый, некоторые говорят, что у него есть примесь испанской крови. Рот невероятно тонкий. Рта нет. Глаза, правда, красивые, совершенно чёрные и большие, во время разговора он так держит руку перед лицом, что видны только эти глаза. Художник ужасно одет. На нём драные джинсы, — детского размера, думает Мари, — вечно на нём этот зелёный пиджак,

вечно эти кеды. На левом запястье чёрная кожаная полоска. Некоторые люди говорят, что художник, тем не менее, невероятно умен.

Мари что-то нужно от художника. Что ей от него нужно, она не знает. Может быть, блеск его славы. Может быть, ей хочется выглядеть ещё красивее рядом с таким уродливым человеком. Может быть, это жажда разрушения, ей хочется вторжения в чью-то мнимую недоступность. Мари спрашивает себя всерьёз, всё ли у неё в порядке с головой. Не выглядят ли они вместе смешно? Мари всегда хотела быть только с красивыми людьми. Это ужасно, когда нужно смотреть на мужчину сверху вниз. Страшно представить себе, как это должно быть, когда... И всё же Мари хочет.

В первый же вечер они целуются. Или лучше — Мари целует художника. Он предстаёт перед ней на празднике, среди всех Берлинских знаменитостей, Мари не может решить, какую из знаменитостей она в этот вечер должна одарить своим долгим, долгим взглядом в первую очередь. Художник предлагает себя. Он стоит перед ней, сверкая чёрными красивыми глазами, и Мари, видевшая его по телевизору, сразу узнаёт его. Он непоколебимо льёт водку в её стакан и задаёт трудные вопросы. Что для тебя означает быть счастливой? Ты уже предавала кого-то? Неприятно ли тебе что-то делать, если причины твоих действий внешние?

Мари пьёт водку, медлит, говорит: «Счастье — это всегда момент до того. За секунду до момента, в котором я, собственно, и должна бы быть счастлива, в эту секунду я счастлива и не знаю об этом. Я уже многих предавала, я думаю. И я считаю, что это прекрасно, если причины моих действий внешние».

Художник неподвижно смотрит на неё. В ответ Мари смотрит на художника, это она умеет делать. Люди, стоящие возле них, ощущают какое-то беспокойство, художник действительно слишком мал и некрасив. Скорее из упрямства, чем из солидарности наклоняется Мари, берёт голову художника двумя руками и целует его в губы. Он, естественно, целует её. После этого Мари даёт ему номер телефона и уходит, и только снаружи, вдохнув холодный, чистый ночной воздух, чувствует, как сильно она на самом деле пьяна.

Художник ждёт три дня, а потом звонит. Он действительно — ждал? Мари это допускает. Они проводят вечер в баре, где Мари мёрзнет и чувствует недомогание, потому что художник непрерывно на неё смотрит и не хочет разговаривать. В другой раз они утром гуляют по парку, на художнике шикарные очки от солнца, Мари нравятся. Они полдня просиживают в кафе, Мари немного рассказывает о себе, но в основном молчит, художник сказал, что ему не нравятся разговоры в метаплоскости.

Мари не знает, что такое метаплоскость. Идя на встречу с ним, она каждый раз надевает одни и те же простенькие туфельки, других у неё нет. Различие между ними очень большое, Мари переживает это болезненно. Осень. В комнате Мари сквозит открытое окно залетают умирающие осы. Мари мёрзнет, носит перчатки, дни становятся короткими, она быстро устаёт. Иногда она вскидывает голову и пытается игриво рассмеяться. Получается не так. Художник спрашивает, не хочет ли она как-нибудь поехать к Балтийскому морю. Мари говорит: да, и думает о таких местах, как Альбек, Фишланд и Гиддензее, о длинном, белом зимнем пляже, о раковинах и о неподвижном море. О художнике она не думает. Она стоит у окна, в руке чашка с холодным чаем, она проносит сигарету мимо рта, оставляет открытым кран, теряет связку ключей. Так и есть: художник звонит и говорит: я люблю тебя. Мари приседает на корточки, зажав трубку между головой и плечом, смотрит в зеркало. Медленно закрывает и открывает глаза. Художник больше ничего не говорит, но она слышит, как он дышит, тихо, размеренно, спокойно. Он не взволнован. Мари тоже. Она говорит: да. Её удивляет, как всё быстро. Художник кладёт трубку.

Когда Мари думает о его глазах, у неё тянет спину. У него действительно красивые глаза. Она не ждёт его звонка, она знает, что он позвонит. Кажется, художник вполне доволен своим карликовым ростом. Он его подчёркивает, совершает вертлявые, клоунские движения, идёт, как оловянный солдатик, становится посреди улицы на руки, корчит рожи, фокусничая, засовывает деньги в ухо и вынимает их из носа. После поцелуя на празднике он ни разу не притрагивался к Мари. И она к нему тоже. Когда они прощаются, он подносит руку к её руке и в последний момент убирает, не прикасаясь. Что в твоих глазах, когда ты смотришь на меня таким долгим взглядом, спрашивает он, Мари отвечает: близость, агрессивность. Сексуальность, согласие. Она не знает, правда ли это. Художник не умеет улыбаться. Он может только сужать глаза до тонких щелочек и поднимать уголки рта. Мари это не кажется убедительным, она говорит ему об этом, в её голосе слышен триумф. Может быть, говорит художник, — он впервые выглядит уязвлённым.

Однажды ночью в кафе, Мари, будучи пьяной, спрашивает, не думает ли он о том, чтобы с ней переспать. Она знает, что это неправильно, но вопрос, который она так давно хотела задать, уже задан. Художник говорит: Уверяю тебя, были женщины, с которыми я был гораздо настойчивее. Мари возмущена, она скрещивает руки на груди и решает больше вообще ничего не говорить. Художник пьёт вино, курит, смотрит на неё, а потом говорит: Лучше, если ты сейчас уйдёшь, и Мари едет на велосипеде домой, она очень рассержена.

Потом он звонит ей. Я не хочу, чтобы ты наблюдала за мной, говорит художник, готовый, однако, её снова увидеть. Он напоминает Мари какого-то зверя. Зверька. Маленькая, чёрная, волосатая, жуткая обезьянка. Она ставит туфельки в шкаф, надевает сапоги на высокий каблук и едет на велосипеде к нему домой, впервые.

Художник открывает ей только после третьего звонка, на нём его обычные кеды, драные джинсы, чёрный свитер. Он рассказывал Мари, что однажды купил сразу пятнадцать маленьких свитеров и покрасил их все чёрной краской. В квартире тепло. Удивительный порядок. Стены выкрашены оранжевой краской, огромное количество книг, компакт-дисков, пластинок. Хочешь чаю, спрашивает художник, да, говорит Мари и садится за его письменный стол. К стене над столом прикреплены почтовые открытки, комиксы из газет, фотографии, письма. Слои маленьких бумажек, одна на другой. Художник где-то на юге, с пухлощёким светловолосым ребёнком на руках. Программки театров, критическая статья, тщательно вырезанная из газеты. Полоска фотографий для паспорта, художник, потому что слишком мал, снят сверху, на лбу белое пятнышко от сполоха вспышки. Предложение, напечатанное большими буквами на жёлтой бумаге: «Во времена предательства красивы ландшафты». Художник на кухне стучит чашками, Мари нервничает, кусает нижнюю губу, чувствует себя неуверенно. Она слышит приближающиеся шаги, оборачивается, пытается улыбнуться. Художник ставит чашки на стекло, покрывающее письменный стол, спрашивает: музыка? Мари пожимает плечами, смотрит в свою чашку, художник ставит диск. В динамиках раздаётся щелчок, издали появляется голос Полли Джэйн Харви — *Is that all there is?* Депрессивная музыка, думает Мари, и размышляет, не должна ли она сказать это вслух. Художник кружится по комнате, выглядит довольным собой и уверенным, он наблюдает за ней и делает смешное лицо. Мари откашливается. Художник говорит: немножко Интернета? Мари отвечает: я в этом ничего не понимаю, художник дружелюбно говорит: не имеет значения.

Он включает компьютер, тихий шум, чернота экрана переходит в светлую, ясную голубизну. Появляется смехотворный миникомпьютер, слева внизу на экране размещаются различные маленькие символы. Мари ёрзает руками по коленям, всё это её смущает. Художник нажимает на клавиши, двигает мышью, вытягивает из-за компьютера серый шар величиной с кулак, в центре которого находится чёрный блестящий глаз. Он устанавливает шар в середине стола и направляет блестящий чёрный глаз прямо на лицо Мари. Мари смотрит на шар, художник двигает мышку, экран становится белым. Слева сверху экрана теперь появляются маленькие тёмно-серые и светлые квадраты, растр из маленьких точек, которые молча и быстро

растекаются по поверхности экрана. Её макушка, лоб, брови, глаза, нос, рот, подбородок, шея, часть груди, ужасное черно-белое лицо.

Это отвратительно, говорит Мари. Лицо Мари на экране повторяет это с опозданием, без звука: это отвратительно, глаза и рот открываются и закрываются, как у рыбы, это ужасно. Просто нет резкости, говорит художник, набирает что-то на клавиатуре, контуры лица Мари становятся чётче и яснее, на заднем плане появляются книжные полки, окно, небо, серое на экране, серое в действительности. Так можно снимать почти всё, говорит художник, улыбаясь Мари непринуждённо и дружелюбно, Мари улыбается так же непринуждённо в ответ. Тихо. Мари выдерживает взгляд художника, который больше не улыбается, встаёт. Между его бровями вырастает третий чёрный красивый глаз. Мари мигает, и глаз исчезает. Компьютер шелестит, Мари не осмеливается смотреть на экран, она боится ужасного серого лица Мари. Пробковый пол потрескивает, художник идёт к Мари. Мари прижимается к спинке стула и пристально смотрит в глаза художника, как будто происходит что-то ужасное, и она пытается это предотвратить. Художник кладёт правую руку на щёку Мари, рука прохладная и мягкая. Мари на мгновение закрывает глаза. После этого его лицо появляется прямо перед ней, Мари не дышит, он целует её в губы. Мари трезвая. Он тоже. На экране компьютера появляется поцелуй, с опозданием, без звука, серое повторение жизни. Мари смотрит на лицо, на закрытые глаза художника, потом взгляд её переходит на экран, где его лицо касается её. Что-то поворачивается в голове Мари. Художник тяжело дышит, наваливается на Мари, проводит рукой по её шее, вниз по её спине, под одеждой. Мари сосредоточена. Вместо того, чтобы, как всегда, смотреть на себя со стороны, из какой-то птичьей перспективы, она смотрит на экран, на это молчаливое, чужеродное переплетение двух людей, и это странно. В комнате тепло. Над столом висят слои маленьких бумажек, художник где-то на юге, у него на руках пухлощёкий светловолосый ребёнок. Жалко, думает Мари, что вещи можно увидеть впервые только однажды.

Художник тянет Мари со стула вниз, на пол. На Мари остаются только сапоги на высоком каблуке. Теперь их тоже нет. На экране компьютера книжные полки, спинка стула, окно, тёмное небо снаружи.

**Александр
Макаров-Кротков**

/ Москва /

■ ■ ■

А.Афиногеновой

чужая речь
обволакивает
как облако

блаженство
слышать
и не понимать

1995

■ ■ ■

Г. Айги

попытка молчания
чревата

тем не менее

1996

■ ■ ■

перелетные птицы
куда вы?

в Москву! в Москву!

1996

Владимир Строчков

/ Москва /

Из цикла «Девятнадцатый
приморский блокнот»

■■■

Проводник уснул, плацкарты спят,
сон стоит, как стон, на три октавы,
но всю ночь и ноют, и скрипят
железнодорожные суставы.

Вот и ты, бессонница, катись
и столбы считай по ходу справа,
да втирай в плацкартный ревматизм
железнодорожные составы.

31.08.99, Москва — Симферополь.

■■■

Понемногу темнеет, сгущается тьма. Вечер.
Тянет, тянет слева сквозняк, ветерок слова.
Образуются выкрики, пыльные вихрики речи,
кружат, кружатся, рушатся, кружат снова.

Понемногу рождается некий ритм: длинноты,
срывы, паузы, полости и цезуры.
Некоторые помалу проникают сквозь зубы.
Понемногу жужжание. Две-три ноты.

Наползают слова. Отползают. Меняются местами.
Образуют ряды, цепочки, гирлянды, связи.
Возникают намеки на формы, структуры, группы, стаи.
Понемногу блики, полутона, тона, цвета, краски.

Обрастают объемом тени, абрисы, силуэты.
Понемногу пятна в глазах. Шепот в ушах понемногу.
Понемногу кончаются многие сигареты.
Понемногу светает, тает тьма, утро, слава Богу!

27.09.99, Уютное

■ ■ ■

Какой же я, на хрен, ворон, я здешний мельник.
Когда бы я мог накаркать благую весть!
Но я все мелю, Емеля, — в орешник, ельник
слетев, — а куда еще мне податься здесь?

Какой же я, на хрен, мельник, я местный ворон.
Добро бы я мог, как мельник, молоть муку,
а я все щелкаю клювом: «Держите вора!»,
отряхивая свой фартук на том суку.

Какой же я, на хрен, местный, я сам нездешний.
Застрял вот, машу руками, то крикну: «Кар»!
Скрипят жернова, вращаясь в моей скворечне,
в моей голове садовой: «Икар! Икар!

Давай, собирайся, дурень, уж ветры дуют,
вот перья и воск, довольно молоть чепуху!»
А я, весь белый от муки, пером колдую,
чирикаю им по воску, как на духу:

Я не ворон, не мельник, я белая ворона,
крылья у меня слабые и мягкий клюв.
Перо и дощечка с воском — вся моя оборона.
Не мучьте меня, дайте я перышком поскриплю.

Какой я, на хрен, нездешний, я сор вчерашний.
Тонко намелены муки мои, замес их крут.
Пекусь о хлебе насущном, а сердцу страшно,
что воск мой, душа, растает, а перо отберут.

02.10.99, Уютное

Сергей Бен-Лев

/ Луганск /

Из жизни братьев меньших

Идем по пригорочку, как идем, да обыкновенно идем, Шлема за руку меня тащит, а я сзади еду на тележечке своей. Да и какой это пригорочек, мы же в городе, просто идем домой, идем как все порядочные люди задами. На колеса налипла комьями грязь, Шлема скрипит зубами, но тащит. Спрашивается, отчего же не пойти по асфальту, а вот поди ж ты, только так, только задами, как в деревне. А впрочем, места все вокруг знакомые-перезнакомые. Каждый кустик, каждая травинка, мало их в городе, вот и знаешь окрестности своего дома наизусть. Слышу, голоса сзади — Вася Климашук, да не один, а с компанией. Вдвоем меня, конечно, сподручнее тащить, да я и сам рад, быстрее домой попаду, дверь откроем, у двери ведро с тряпкой — колеса помыть, это дело святое. А еще святое — сто граммов принять, с устатку, сам не знаю какого, ведь и не работал, я уж давно не работаю, так все перебиваюсь, многие мне завидуют, а чему? Может, пенсии, так она у меня небольшая, а может, характеру веселому, так это я просто никому не хочу быть обузой.

Хороший день сегодня был — последние денечки бабьего лета. Я сегодня даже в переход не стал спускаться, так, у ступенечек пристроился, гитару подстроил и... Да ведь не песни поешь, а людям их судьбы рассказываешь, ведь им подвиги подавай — Афганистан, Чернобыль, подвиг пожарного Тютюкина в огне, а тут... Кто песню хоть одну написал, как тоскливо лежать неделями в больнице, как сатанеешь только от одной мысли, что утром, проснувшись, вместо родных домашних стен, увидишь привычные белые... белые-белые-белые, белые халаты, белые стены, белые лица хроников, лист назначений правда не белый, а графленый, но... а впрочем что там.

Вот, говорят: интернационализм, интернациональный долг, словом, Интернационал во всем и во вся. А мне так иногда думается, что мне с русским или татаринцом делить. У него все свое, то, что ему дорого, он не отдаст, но ведь и я на это посягать не буду, тогда что? Ведь не за кусок же хлеба на тебя косятся, а за место под солнцем. Спросите, какое же место у калеки, что на него зарится кто-то? Есть, есть завидующие, еще с детства помню, все мне в детстве не давали проходу, ты-де в армию не пойдешь, мы-де работаем, а ты на наши деньги живешь... До сих пор ком в горле от попреков стоит, а возразить не могу. Не могу, и вся недолга.

И опять Средний... Отчего же Средний? А вот поди ж ты, поплыли во сне воспоминания, фонтанка-мойка-грибоедова-каменно-островской... Мы едем загорать на Ладугу, настроение щенячье, пыль скрипит на зубах, Дорога Жизни... Песок — и плоское корытце Ладogi, господи прости, до чего же хорошо... А ведь что вспоминается? Карты, вино дешевое, шашлыки эти вечные, почему на природе мы вечные грузины? А ведь было, было, и никто не отнимет этого, да и кто отнимать собрался, просто цепляешься за глупости, а дочка спрашивает, как это у тебя в молодости было? И что рассказывать? Про преферанс вечный, про выпендрож юношеский, про девочек наших, корчащих из себя королей, да не это плохо, а плохо то, что большинство так королей настоящих и не увидали. А мы-то, мы... Все интеллигенты, как на подбор, читаем только Кафку и Ницше, слушаем только Римского-Корсакова и Шютца.

Вот и подъезд родной. Добрались. Теперь на кухню. Сколько говорено-переговорено на этой кухне, сколько народу перебивало, а вот сам не пойму, что в ней такого магического. Ведь как к кому в гости попадаешь, так сразу на кухню, путь известный. Ножичек в руки, картошечка, она всегда картошечка, вроде дело нехитрое, а сколько ее, родимой, перечищено, ой-ой... Хлеба, хлеба побольше, как же без хлеба. Лучок, чесночок, помидорчики, вот, и все под водочку. Ледяная, горькая, одним махом из стакана, а потом оттаиваешь, размякаешь, руки теплые, и ноги, впрочем, о них не будем... Кто ее для улады души выдумал?

И если я тебя забуду, Иерусалим, то десница моя... Град небесный, град возлюбленный, град Давида и Соломона. Золотом горит на солнце, золотом мягким обливает солнце стены града древнего, тесно на улочках арабских кварталов, гулка тишь у Стены Плача. Молятся евреи, о чем, о чем, о своем, о твоём, о моем, о нашем, молятся, молятся, молятся... На крутых косогорах твоих, град Давида, ноги сами пускаются в пляс, ведь сам Давид не стыдился козлом плясать перед лицом Бога.

Уходим, уходим, уходим... Афганистан, Афганиста-ан, Афганиста-ан, Афганистан... Первый-второй, первый-второй, рассчитайся! Никогда не мог понять вечной магии повтора простых слов, всего того, что уже сказано, а хочется еще раз повторить. Ой-ей, ой-ей, ой-ей, ой-ей! Гвахира гвантанамера, гвантанамера? гвахира гвантанамера... Струны шепчут, рокочут, гремят, стихают, и опять колдовской перебор, вечная цыганщина, две гитары под окном жалобно за... Что, Шлема, нашу любимую? Да никаких проблем. Как хорошо и прекрасно братьям сидеть всем вместе, как хорошо и прекрасно... Парней так много холостых, а я люблю женатого... Эти глаза напротив... Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня... Звонок, звонок трещит, заливаается, кто там к нам в гости? Алло? Приходи, приходи, а как же, да водки, водки прихвати, все есть, ничего не надо.

...идем по Малой Бронной, по Малой Бронной, по Малой Бронной... жуем мороженое мы без остановки... Бибирево, Медведково, Автозаводская... Таганская, Таганская, Таганская, а на кладбище у Высоцкого я так и не побывал, все стремились, как потом у Цоя в Питере, да так и не сложилось, и лишь недавно узнал о красотах Подмосковья, а когда же там побывать? Театр Красной Армии, и такое смешное название «кухня-автомат», Остоженка, как будто украинским духом повеяло в Москве, вот было бы смешно — Шевченка, Виниченка...

Ночной угар, голова тупая, хочется спать, сна нет, а глаза — как песком засыпали. Все изрядно выпили, закуски нет, несколько огрызков хлеба, да и пить уже нечего, пьяный бубнеж, кто-то рвется послать гонца, зачем... Давно пора бросить пить, пора, мой друг, пора... Уж осень на дворе, а желтые листья залетают в открытое окно, мух нет, и то слава Богу. Почему же, когда выпиваешь первые сто, а потом еще сто, возникает пьянящее чувство, что ты можешь все, что ты еще молод, что все еще впереди, что все еще так ясно, так прозрачно, так чисто, чисто, чисто, чисто... В посиделках есть нечто нереальное, внеполое, никогда не могу представить, что мужчина может глядеть на другого с вожделением, но среди своих? Это что-то нереальное... Что изменилось? Мальчишки смотрят на тебя, как на престарелого гая, ищущего утех, ищущего нечто, чего никогда и не видел... Но ведь было, было... Наркоманы на Финляндском в Питере, «Сайгон» с его навсегда, лесбиянки в кинотеатре на Левобережной, антабус, антабус, эспираль, раньше подшивались, а теперь кодируются, — результат один. Почему не кодируются от любви, почему не дают пилюли от печали? Во мно-

гой радости многая печаль... Голос тонкой тишины, а как же его услышать, как ощутить, как восстать духом, как воспарить над бездной, а над балконом слабо?

По берегам замерзающих рек снег, снег, снег... Снег на Крещатике. Это была волшебная новогодняя ночь. Мы шли с ней по Крещатику, вышли к Днепру и любовались видом на пешеходный мост, в ночи он парил над безмолвным Днепром, начинаешь понимать Куинджи, впрочем, все тут же и кончается. Сотни глупых картин в музее западного искусства, и тут же — «Луна, выглядывающая из-за ветки ивы». Инфанта Веласкеса, тихо плывущая в своем неопишемом серебряном наряде. Белая Церковь, а я с детства почему-то воспринимал только церкви зеленые, что-то врезалось от зеленых заборов, стен, деревьев...

Мой дед сидел на Маршалковской, в Варшаве, пил кофе, любовался видами, насчет кофе — правда, насчет всего остального домыслы, но какие?! Всегда приятно что-то приписывать своим предкам, нечто величественное, нечто тебе не присущее, но имеющееся у других, дворянство, шляхтичи, какие-то корни в Америке, а знаете, ведь у меня дядюшка в Буффало, слава Богу, что он обо мне не догадывается, потом все просто, просто до безобразия, просто до скукоты, просто брат в Бней-Браке, друг в Лос-Анджелесе, приятель молодости в Мюнхене, каково им там? А Женечка в Москве, а жenuшка под боком, а женщины... Их впрочем оставим другим, не потому, что не нравятся, а ощущаешь, что не попадаешь, не любишь Костнера, не восхищаешься Ди Каприо, да и от песен Ветлицкой как-то не в захвате...

Опять катим по пригорку, по горке, по тропинке, по дорожке, позарастила стежки-дорожки... Горьковатый запах дыма от горящих листьев, и вдруг, а помнишь, как мы в детстве ели цветы желтой акации? До «терминаторов» и прочей дребедени никогда не задумывался, что пустыри России и Украины — идеальное место для съемок подобных сюрреалистических пейзажей, как и знаменитая Рижская тюрьма, — подъезжая поездом к столице Латвии, видишь, как на крыше тюрьмы греются зеки... Пора за работу, пора за дело, пора бросать глупости, а кто их когда в жизни бросил, если что-то глупое, так это навсегда, как нарды, карты, водка, и опять то же, по кругу... Да ведь не из наркологии этот репортаж, просто треп, треп ни о чем. Да отчего же ни о чем, это ведь только решения пленума о чем, не так ли? Настанет ли тот день, когда дети будут проходить мимо памятников вождям и не догадываться, кто это? А пепел Кла-

аса стучит мне в сердце, а в Бабьем Яру все заросло, все так тихо, мирно, Освенцим — на русском это нечто вроде «Да святится», у Малки номер из Биркенау, куда подевалась детская всеобщая не-любовь к фашистам, откуда эта приязнь к черным, коричневым...

Снегом. Снегопадом желтым и красным засыпает дорожки. Колеса с мягким всасывающим звуком едут по раскисшей тропинке. Навались, Шлемочка, навались, еще раз. Ух ты. Доброе утро, доброе утро, как дела, доброе утро... Лариса, сумки сдвинь, дай проехать... Вот и прибыли, вот и хорошо, вот и за дело... Как часто снится мне сон, тот удивительный сон, когда танцует осень... Почему никто не поет «Интернационал» или «Варшавянку», боятся, что не поймут, не оценят, не зацепит за душу? Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад... Через забор, что ли, подглядывал, видно, заборы были низкие, все песни набиты этими подглядывающими, подслушивающими, ожидающими звонков и поездов. Я вам не скажу за всю Одессу, вся... Ре надо бы подтянуть, а, впрочем, и так пока сойдет. Не отрекаются, любя... Ведь жизнь кончается не завтра... До завтра, до завтра... солнце взойдет, солнце взойдет... листья желтые над городом кружатся... с тихим шорохом, с тихим шо...

Михаил Гиголашвили

/ Саарбрюккен /

Жена Цезаря

Императрица отдыхала в саду, когда ей сообщили, что посланный ею раб вернулся. Она не выказала нетерпения (была учена доносчиками и соглядателями, которыми муж наводнил дворец), только перешла на другой конец террасы, где еще была тень. Раб склонился перед ней.

— Никто не видел тебя?..

— Нет, госпожа, я вошел через калитку.

— Все в порядке?.. Отдал письмо?.. Ему в руки?

— Да, я сделал все.

— Ночью придешь рассказывать.

Цезарь был в отлучке, поэтому челядь не особо строго соблюдала порядок во дворце: в некоторых залах не зажигали светильников и не подметали в саду, не разводили огня под котлами с дежурными блюдами, которые должны были быть всегда подогретыми на случай гостей, и не меняли масла в плошках, отчего время от времени по дворцу тянуло горелым и горклым. Охранники, наигравшись в кости, пили вино на берегу пруда, в середине которого плескался со своей любовницей-поварихой начальник стражи.

С трудом дождавшись ночи, императрица приняла раба, но он ничего не говорил, а только просил:

— Госпожа, дай мне простую бритву! У тебя есть бритва?.. Прикажи принести лезвие!

— Какое лезвие?.. Причем тут лезвие? — не понимала она, но все-таки вызвала свою старуху-кормилицу.

Та пошептала с рабом, ушла и вскоре вернулась с тазом, полотенцем и лезвием. Раб встал на колени, она окунула его голову в таз, намылила и принялась сбривать волосы.

— В чем дело? — уже с раздражением удивилась императрица, но старуха махнула бритвой:

— Подожди!.. Тут подарок для тебя!..

Раб тихо торопил старуху. Ему не терпелось увидеть радость госпожи. Сейчас он думал только о ней, как, впрочем, и всегда. Это, пожалуй, было единственным, что держало его на этом свете. Лишь бы она была счастлива. Когда-нибудь и он скажет ей, что любит ее. Соберется с силами и скажет.

Когда все было кончено, он подобрался на коленях к императрице и опустил голову:

— Госпожа, смотри!

На выбритом черепе были вытатуированы слова. Они начинались над висками и аккуратной вязью окольцовывали ту часть головы, которая обычно скрыта под волосами. Письмо было наколото тонкой иглой, синими чернилами, два слова — *«любовь»* и *«смерть»* — были исполнены красным, а хвостики от них сплетались на затылке в виде венка.

— Что это?.. — поразились она, схватила раба за плечи и, ощущая дрожь его большого тела, с диким любопытством принялась читать.

— Это письмо от него, госпожа! — не поднимая глаз от пола, повторял он, счастливо улыбаясь. — Письмо для тебя! Читай!.. Теперь ты всегда сможешь читать его!.. Никто не отнимет его у тебя! Позови меня — и читай!

Как-то давно, когда у нее еще была возможность изредка встречаться с автором этого необычного письма (поэтом, изгнанным Цезарем из империи), она призналась ему: «Единственное, о чем я жалью, так это о том, что у меня отбирают всё, написанное твоей рукой...». И вот он пишет: «Теперь ты всегда будешь иметь мое живое письмо, любимая»... Да, он всегда был всеобщим любимцем, шутником и мастером на все руки... За что и поплатился — Цезарь не любит подле себя таких. Он даже грозился вырвать у него язык. И это были не простые угрозы...

Раб спешил рассказывать:

— Он держал меня три недели под замком, пока не выросли волосы. А до этого наградил и рассказал о своем замысле. Я был согласен. Ради твоей улыбки я готов на все. Я надену тюрбан — и всё. Кого интересуется голова раба?.. А ты сможешь позвать меня в любую минуту, — а про себя добавил: «любимая...».

— Он сам делал это?

— Да, госпожа, всё сам.

— Тебе было больно? — глядя на татуированную голову, она представила себе весь этот ужас.

— Нет. Он дал мне опиум. Боли начались потом. Но что мне боль, если я знаю, что это доставит тебе радость?!

Она положила ладони на горячий, живой, трепетный череп и погладила его. Раб замер от наслаждения. Он был готов сказать главные слова.

Тут вошел Цезарь.

Она отпрянула от раба, попыталась накинуть ему на голову полотенце, но Цезарь оказался проворнее и мигом оказался возле раба. Глаза у него округлились, как у кошки на ярком солнце. Изумился. Прочел. Потом поднял глаза на жену:

— Жаль, что без подписи. Впрочем, кто сей остроумец — можно догадаться.

Он начал тяжело и глубоко дышать. Кормилица тихо попятилась. Цезарь пнул раба:

— Ты-то уж точно должен знать имя!.. Говори!

Раб молча стоял на коленях.

— Имя! — Цезарь носком сандалии приподнял его лицо и уставился ему в глаза: — Имя! Скажешь — останешься жить.

Не получив ответа, он сорвал со стены свисток. Когда прибежал начальник стражи, еще мокрый от купания (Цезарь застал всех врасплох), император заорал, выхватывая из его ножен меч:

— Где охрана?.. Что делают бездельники?.. Вора поймали во дворце!.. Вот!

— Позволь!.. — начал было начальник стражи, уставясь на бритую голову раба, но Цезарь, оттеснив его, закричал: — Вон, негодяй! Ты арестован!

— Это просто шутка!.. — попыталась сказать императрица, но Цезарь, развернувшись, как на турнире, точным взмахом отсек рабу голову. Тело глухо опало на узорный пол. Из обрубка шеи толчками пошла кровь.

Отбросив меч, он пошел было прочь, но что-то остановило его. Он вернулся, присел над еще живой головой и, брезгливо поворачивая ее пальцами, еще раз внимательно перечитал письмо. Потом медленно поднялся и побрел прочь, ругаясь и круша всё, что попадало под руку:

— Боги!.. Царствами владею, а с одной бабой справиться не могу!..

Императрица была собрана в путь очень быстро, несмотря на то, что Цезарь приказал брать не только летнее, но и зимнее, что означало долгую ссылку. Кормилица отправлялась вместе с ней.

Когда они уселись на скрипучую крестьянскую повозку, императрица спросила что-то глазами у старухи, та едва заметно кивнула:

— В растворе, в банке, среди посуды!..

А Цезарь, наблюдая из окна за сборами, бормотал про себя:

— Шлюха!.. Чего тебе не хватало?.. Чего тебе было мало: моей империи?.. Меня?.. Или моего?.. Голов татуированных захотелось, дура?



Федор Успенский

/ Москва /

Из Пауля Целана

И с некоторых пор ты
вдруг незнакома мне,
пульсирует аорта
в колодезной стране.

Уста не пьют, и нету
здесь образа для тени,
струятся воды к свету
и свет как воду пенят.

Спускаешься на дно ты
колодезной поры,
но будут позабыты
все правила игры.

■■■

По взмаху ли ложечки чайной
в скорлупчатой чашке пасхальной
улиточный омут завьется,
и город, огнями печальный,
затянутый в память случайно,
закружится и распадется.

Да мало ли что нам придется
оставить Валгалле сусальной.

Татьяна Милова

/ Москва /

■ ■ ■

Качели — конструктивистский стиль — взлетают под потолок,
Где героиня произнесет свой выигрышный монолог,
Так артистически смяв свой костюм и руки так заломив,
Что плачь от зависти, Клеопатра, и умри, Суламифь;

Рабочий сцены включает свет, смыкаются небеса,
Бог из машины садится в машину и жмет на газ,
Рабочий сцены идет к своим, разливает на глаз, —
И с диким ревом летит на них встречная полоса;

Уборщица домывает зал, буфет и тот уголок,
Где героиня произнесет свой выигрышный монолог;
Парча стекает с ее плеча на донышко «Москвича»,
И очень кстати гаснет над ней лампочка Ильича;

Рабочий сцены идет на зов, презрев опасность и мглу,
И фары встречных слепят его и роняют его в кювет,
Но он не жестянка, он «Фиат-люкс» — что значит:

«Да будет свет!» —

Он все же засветит тому жлобу по ветровому стеклу,

Который не может попасть домой, поскольку оставил ключ;
Идет к соседке за запасным, да, он знает, который час,
Не спать же ему в машине, — нет, ей-богу, в последний раз, —
Ну, ладно, он ляжет вот здесь, под дверью, раз уж так невезуч, —

Где героиня произнесет свой выигрышный монолог,
Охрипнет, схватится за сердце, предварительно поблукав
В дебелых складках, — и голод твой невнятен и многолик,
Душа, и твой стрекозиный глаз прищуривается, лукав.

Александр Бирштейн

/ Одесса /

Коллекционер

Как тяжело подыматься по утрам!

Михаил Николаевич, как всегда, проснулся рано. Очень рано. Он лежал и слушал, как тяжело и гулко стучит сердце в груди. Его сердце! Его? Этот чужой и причиняющий столько неудобств и, более того, страданий моторчик — его сердце? Болей, впрочем, не ощущалось, и это был хороший признак. Но, все-таки, сердце стучало, нет, молотило. Михаилу Николаевичу стало страшно, как бывало, когда приходил и мешал этот противный стук. Страх смерти внезапно возник и почти парализовал его. Так случалось часто, и Михаил Николаевич сумел этот страх отогнать. Он ведь еще не стар, шестьдесят девять всего, да и врачи говорят, что ничего особенно страшного не происходит.

Но это была его жизнь, а ею Михаил Николаевич дорожил безмерно.

Он привычно нашарил на столике таблетку, сунул ее в рот и разжевал. Немного погодя, сердце успокоилось, и можно было просто полежать-помечтать о чем-либо. Собственно, даже не о чем-либо, так как мечта у него всегда, вот уже на протяжении десятков лет, была одна и та же.

Вот, мечталось, приносят ему сумку полную монет, причем, отдают ее за бесценнок. Кто приносит? Это ему было совершенно безразлично, на размышления об этом не стоило тратить времени. Еще он иногда пробовал думать о том, откуда эта сумка берется, но так ничего и не придумал. Вот принесли сумку и все! Может это клад, может чья-то, давным-давно забытая, коллекция. Второе было предпочтительней, так как все, известные ему клады русских монет, найденные в Одессе, датировались концом восемнадцатого — началом двадцатого года. Ничего интересного! Хотя... Ладно, пусть будет коллекция, ставшая кладом, найденная какими-то кре-

тинами и, как говорилось, принесенная ему за бесценок. Хотя, что, какую сумму, собственно говоря, можно считать бесценок. К тому же совершенно неизвестно, что там будет.

Михаил Николаевич так отдавался мечте, что совершенно искренне мучился и негодовал. Более того, он с давних пор знал сумму, которую платить будет за эту коллекцию-клад.

Потом Михаил Николаевич медленно открывал сумку. Да, да, именно сумку! Он даже знал, как она будет выглядеть. Кожаная, желто-коричневая, похожая на докторский саквояж, но с двумя ручками и двумя же хитрыми замочками.

Итак, сумка открыта, а в ней монеты! Множество, тщательно завернутых в пергамент столбиков. Он лихорадочно срывает с первого попавшегося столбика пергамент, а в нем Петры! Полновесные рублевики Петра Первого, покрытые благородной, ровной серой патиной. Их в столбике много — штук тридцать! И все разные! Есть «орловики»¹, есть «матросики»². «Матросиков» больше, а главное, все монеты в отличном, чуть ли не в штемпельном состоянии. Петры, Петры, Петры... В латах и без, с ветвью на груди и без нее, с буквами под орлом и без них.

А где «молодые Петры»³, а где «солнечники»⁴? — Искренне недоумевает Михаил Николаевич. Потом вспоминает, что в сумке еще много монет и успокаивается.

Взяв один из рублевиков, он сжимает его в кулаке. Холодный серебряный кружок быстро согревается в сжатой ладони. Какое счастье! А ведь предстоит еще радость работы с каталогами, регистрация каждой новой для коллекции монеты, а они наверняка будут. Вот их сколько!

Но надо же, наконец, рассмотреть монету.

Михаил Николаевич разжимает ладонь. Она пуста. Нет никакой монеты! И сумки нет! Но мечта так захватила его, так не хочет отпустить! И это в который уже раз. Почитай всю жизнь.

Сколько монет прошло уже через его руки, сколько навсегда осело в его коллекции. Тысячи! А мечта оставалась и, видимо, останется с ним до конца.

¹ Орловик — рубль Петра Первого с орлом на аверсе. Чеканился в 1718-1721 годах.

² Матросик — рубль Петра Первого особого типа 1722-1725 годов.

³ Молодой Петр — рублевик Петра Первого ранних 1704-1714 годов. С «молодым» портретом императора.

⁴ Солнечник — рубль 1724-1725 годов с солнцем посреди монограммы оборотной стороны.

* * *

Конец войны ознаменовался для Миши многими радостными событиями. Во-первых, вернулся отец! Он закончил войну где-то под Кенигсбергом в должности командира отдельного саперного батальона и в звании майора. В Одессу отец прибыл уже в июне 1945 года, месяцем раньше приехали из эвакуации Мишка с матерью. Возвращение домой тоже было огромной радостью.

Не то, чтоб в небольшом узбекском городке Ургенче им было плохо, наоборот и жилье у них было нормальное, и еды хватало, и хозяева, семья Джуманиязовых, относились к ним прекрасно. Друзей у Миши там тоже было много. Местные хорезмские ребята, такие же, как он эвакуированные со всех концов страны. В общем небольшой, но очень дружный интернационал. Мать работала главным технологом на швейном комбинате, они получили офицерский аттестат отца, так что их маленькая семья ни в чем не нуждалась, наоборот, помогали, чем могли, другим.

Но так хотелось домой, в Одессу! Мишка все уши прожужжал товарищам, рассказывая о море, бульваре, о Дерибасовской, Привозе и, конечно, о театре, называя его лучшим в мире. В его мечтах Одесса становилась много-много краше той, встревоженной и разбитой, которую они покинули почти четыре года назад.

И вот они дома! Жилье их, на счастье, не очень пострадало. Мебели и книг, правда, почти не осталось. Стопили, наверное. Но стены, крыша были целы, а окна... Да какие окна нужны летом?

Поставили на кирпичи дверцы от шкафа, положили сверху матрасы. Посуду привезли, примус тоже. А еще, на прощанье, им подарили узбекские друзья множество продуктов. И рис, и курагу, и изюм, там его называли смешным словом «кишмиш», и большие куски желтого узбекского сахара. А сушеные дыни, а белая плоская и круглая косхалва? Им и не увести бы все это, но директор комбината устроил их в воинский эшелон, отправлявшийся на Украину. Так и доехали.

Сами понимаете, в Одессе они не нуждались. К тому же, привезенное можно было менять на хлеб и картошку, так что еды хватало. Мать сразу же устроилась на работу в какой-то закрытый институт, отец начал, как и до войны, строить мосты. По тем временам, в семье был достаток, так что обустроились, обставились довольно быстро. В доме снова появилась мебель, хорошая посуда. С войны отец приволок огромный радиоприемник «Telefunken», который ловил множество станций, так что и музыки хватало на именины, праздники всякие.

Наступило счастье! Вся семья собиралась за столом, приходили друзья родителей, в доме было весело и шумно.

Отец привез с войны много всяких хороших и нужных вещей. Кроме всего прочего, Мишке досталась коробка с монетами. Но это были не те сине-серые фашистские пфенниги, которые Миша с друзьями охотно и с мстительным чувством клали под поезд или под трамвай. Это были, даже не царские пятаки, с расплюснутыми от частой игры в орлянку или стеночку гуртами. Нет, это были настоящие монеты!

Солидные серебряные рейхсмарки с толстым канцлером Гинденбургом, кирхой или Мартином Лютером на лицевой стороне. Были и, еще большие по размеру, пятимарочники с профилями разных кайзеров, орлами, всадниками. Еще были широкие и увесистые латвийские латы с красавицей на аверсе, монеты Эстонии, Финляндии. А еще серебряный рубль с портретом Императора Николая II и пушистым орлом на обороте. Вот эта-то монета и полюбилась Мишке больше всего. Он, даже, спать с ней ложился, кладя монету под подушку. Надо сказать, что привычка эта осталась у него навсегда. Каждая новая, полюбившаяся монета ночевала какое-то время у него под подушкой. Потом ее сменяла другая.

Но это было уже поздней. А сейчас? А сейчас в душе его начала зарождаться страсть, поглотившая, впоследствии, его полностью. Общительный и не жадный он, тем не менее, никому не показывал свои монеты, но часто, в укромном месте, снова и снова перебирал их, рассматривал, согревал в руке. Хотя, это не была еще коллекция, но это было ее начало.

* * *

Начало восьмого. Пора вставать. Михаил Николаевич медленно опустил ноги на пол, нашарил тапочки, надел их. Потом еще несколько минут посидел, собираясь встать. Резко подыматься было нельзя, иначе все начинало кружиться, ноги подкашивались, а к горлу подступала противная тошнота. Поэтому, вставал он медленно, осторожно, все время ожидая возобновления противного «буханья» в груди. Но, к счастью, его не было. Михаил Николаевич потащился в ванную, умылся, потом медленно переместился в кухню для завтрака.

За завтраком он позволил себе, кроме привычной овсянки, еще бутерброд с колбасой. День предстоял нелегкий. Нужно было идти за продуктами. Идти не хотелось, но продукты вышли, а он и так питался скудно и экономно.

За один раз он мог унести мало, килограмма два-три, реже немного больше. Это вынуждало его чаще ходить на базар, а это было тяжело и хлопотно. Замкнутый круг!

Поев, Михаил Николаевич пошаркал к окну и долго изучал градусник. На градуснике было плюс шесть, но светило солнце и следовало ожидать потепления. Стало быть, можно было надеть более легкое, демисезонное пальто. Михаил Николаевич любил смотреть в окно. В свое время, он вычитал у какого-то поэта строчки:

Взгляд из окна
почти всегда завистлив...

Но только сейчас, когда выходы из дома стали серьезной и докучливой проблемой, сумел их оценить.

Михаил Николаевич любил, уютно привалившись к подоконнику, смотреть вниз, на улицу, на прохожих. Он все замечал, по привычке анализировал, делал выводы. Он никогда не знал, насколько его выводы справедливы, но это развлекало его. Окна его комнаты выходили на улицу, а окно кухни во двор. Вот это-то окно он любил больше всего. За долгое время наблюдений, сложился определенный стереотип поведения и привычек наблюдаемых. Вот и один из них. Типичный бомж! Тем более что, кажется, так оно и есть. Одет в обноски, в руках большие пластиковые сумки. За добычей пошел. Михаил Николаевич знает, что часов в десять, пол одиннадцатого тот вернется с полными сумками, переоденется, а потом, уже более прилично одетый, снова куда-то уйдет. Наверное, на базар. Михаил Николаевич уже несколько раз встречал его там и всегда этот тип что-то кому-то таскал. Видимо, этим прирабатывал... Вспомнив о базаре, Михаил Николаевич, с большим сожалением, отлип от окна и стал собираться.

Перед выходом из дома он залез под подушку и извлек оттуда монету, которую только-только приобрел, хотя гонялся за ней годы и годы.

В его ладони лежал серебряный кругляш-монета. На аверсе ее, на картуше, обрамленном орнаментом, написано было:

— Не нам, не нам, а имяни твоему.

Собственно, такая надпись была типичной для всех Павловских рублевиков. Зато, на лицевой стороне над маленькими буквами «П», расположенными крестообразно, была надпись — ефимок! Внизу был год — 1798. Да, да, это был редчайший, пробный Павловский ефимок, так и не вышедший в обращение — мечта, обычно неосуществимая, любого настоящего нумизмата, чьей темой является Россия.

Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло, причем чужое. У обладателя этой монеты беда стряслась и не малая, вот и отдал монету, причем гораздо дешевле, чем хотел. Михаил Николаевич знал его обстоятельства, вот и уперся рогом. Выторговал-таки свое!

Монета лежала на ладони и не ладонь согревала ее, а, казалось, от монеты исходит тепло, согревающее руку.

Михаил Николаевич открыл шкаф, вытащил из задней стенки, одному ему известный гвоздик, потом отодвинул широкую доску в сторону. Прямо в стену за шкафом был вделан большой сейф. Он и соблазнился-то этой квартирой из-за этого железного ящика, ибо сама квартира была так себе. Зато в сейфе можно было надежно хранить свои сокровища. Помнится, при покупке он еще выторговал тысячи полторы, за которые тут же купил довольно необычный рублевик Екатерины Первой, прозванный «сорочий хвост» из за хвоста орла монеты, прямые перья которого, и вправду, напоминали хвост сороки. Монета была не идеальной по состоянию, но довольно редкой. «Приехала монета» из Москвы. Вот где у Михаила Николаевича концов было выше крыше. В основном, конечно, такие же, как он старики. Держались они в столице, правда бывшей, спаянно, никого в свой круг не допускали, обмена и купли-продажи проводились, в основном, только между своими. Так что о монете узнал он заблаговременно и купил, конечно. Правда, давно это было. Года четыре назад. Та еще эпопея была с передачей денег, получением монеты. Вот где нервы себе потрепал! Все, ведь, через чужих людей. Но все обошлось, и Катя лежит себе, в предназначенной ей ячейке.

Очнувшись от воспоминаний, Михаил Николаевич обнаружил себя стоящим в шкафу перед сейфом с ефимком, зажатым в кулаке. Он запер монету в сейф, закрыл шкаф. Успеет еще налюбоваться. Пора идти, а мысли о монете сделают дорогу приятней.

* * *

Как приятно, вернувшись из школы и переделав нехитрые домашние дела, выскочит во двор! Последнее время, Миша шел во двор или в школу, набив карманы всякими азиатскими сладостями. Не для себя! Ребята охотно отдавали за сахар или, там, халву имевшиеся у них монеты, про себя считая его чокнутым. Постепенно слава о том, что есть такой дурачок, который отдает за монеты еду, распространилась довольно широко. Иногда, к нему очередь стояла. Он брал все! Еще не умея, не зная, как отличит одну монету от другой того же года, инстинктивно он понимал, что такие отличия

имеются, а разобраться с ними он сможет и позднее, когда ума наберется. Брал он и ордена, брал, правда, менее охотно и бумажные деньги. Все это надежно оседало у него в коробках, коробочках, сверточках, надежно хранимых в ящике письменного стола. Не было дня, чтоб он не извлекал какие-то монеты и не разглядывал их, порою, часами.

Узнав, что на развалах Староконного рынка можно добыть медали и монеты, он стал ходить и туда. И не напрасно.

Однажды ему повезло. Проходя по книжному ряду, он увидел, нет, почувствовал, что надо остановиться. Среди книг лежал нестандартный томик с оборванной обложкой. И хорошо, что обложки не было! Ибо на титульном листе Миша прочел:

«Мизунов И.В. Каталог редких русских монет с 1699 по 1912 год».

Увидев, что парнишка заинтересовался книгой, продавец заломил за нее неслыханную цену. Но не на того напал! И, хоть все дрожало от нетерпения у него внутри, Миша торговался долго и исто-во.

Книгу он, конечно, купил и помчался домой. Разбираться. Сделать это было просто. Потом он пытался найти в каталоге хоть одну из, имевшихся у него монет, но не нашел. Но не огорчился. Он впервые держал в руках книгу, посвященную монетам! С тех пор книга эта читалась-перечитывалась им ежедневно, а найти, хоть одну, монету, описанную в книге, стало его мечтой, более того — целью.

На Староконку он теперь ходил за книгами и за монетами, но, если монеты он покупал там регулярно, то книг больше не попадалось. Но Миша не терял надежду.

Вообще, Миша подозревал, вернее, был уверен, что в городе есть еще немало собирателей, но познакомиться с ними не стремился, справедливо полагая, что на данном этапе, он, вероятнее всего, станет жертвой какого-нибудь обмана.

Цену той или иной монеты он еще не знал, не знал, даже, как к ней, цене этой подступиться. У Мизунова он видел, что некоторые медные монеты стоят дороже серебряных и, даже, шутка ли, золотых. Так что ценить монету по металлу, из которого они были сделаны, было нельзя. Так же и по годам. Монеты более поздних годов могли стоить дороже более ранних. Почему? Он этого не знал.

Полгода спустя, он выменял на что-то пятак Екатерины II 1791 года, который, к радости неописуемой, нашел в каталоге Мизунова.

Это было счастье! И это было начало! Ибо теперь он твердо знал, что станет собирать. Россию, конечно, только Россию со всем многообразием ее монет, металлов, из которых монеты эти сделаны. Всех императоров и царей... В общем, все, все! Более того, определившись с темой своего собирательства, он мог исключить из коллекции множество монет, которые, впоследствии, смогут стать его обменным фондом. Но это потом, когда он сможет общаться с настоящими коллекционерами. Смешной, ему и в голову не приходило, что у настоящих коллекционеров его обменный фонд особого восторга не вызовет. Лучшее, что там было — это монеты Германии, но в те времена, этого добра было навалом у многих.

В чем ему еще повезло, так это в том, что в его, довольно состоятельной, по тем, конечно, временам, семье его страсть поощряли. Не гоняет по улице, учится хорошо, сидит, читает, сокровища свои рассматривает. Что еще родителям нужно?

Благодаря этому у него всегда были карманные деньги, а когда они заканчивались, то родители, не сговариваясь, подсовывали ему еще. Еще раз повторю: семья не нуждалась.

* * *

Семьи у Михаила Николаевича, как вы уже сами догадались, не было. Вернее, сейчас не было. Жена ушла от него уже очень давно. Ушла вместе с сыном. (Это была некрасивая и болезненная история. Я расскажу о ней в свое время.)

Михаил Николаевич не знал в точности, где они, что с ними. Слухи какие-то доходили, что жена умерла несколько лет назад. Но это были только слухи, и верить им или не верить он не знал. Сын не поддерживал с ним никаких отношений, несмотря на то, что Михаил Николаевич предпринимал кое-какие попытки к сближению.

Ну, да ладно. Итак, семьи у него не было и все, буквально все приходилось делать самому. Если бы не это, то он был бы полностью счастлив, ибо монеты давно уже заменили ему семью и друзей, горькие стариковские мысли, все-таки посещавшие его иногда, гнал он от себя, причем, обычно, ему это удавалось довольно легко.

Но есть, пить, покупать одежду, лечиться, наконец, было необходимо. Кроме досадных не целевых расходов, это чревато было необходимостью выходить из дома. Во-первых, каждый год это становилось все трудней и трудней, а во вторых, он не любил надолго оставлять свою коллекцию. Он боялся воров, грабителей, пожаров — всего, что, хоть как-то, могло угрожать его монетам.

Надев ботинки и пальто, Михаил Николаевич взял старую, давно и исправно служащую ему, кошелку и направился к двери. Дверь в его квартиру была тяжелой, бронированной, снабженной четырьмя замками. (Надо ли говорить, что и окна его квартиры были забраны решетками?) Вот на что он денег не пожалел! Отпирание и запирание двери занимало уйму времени. Ну и пусть.

Перед тем, как выйти, он, накинув цепочку и приоткрыв дверь, долго изучал лестничную клетку. Знаменитого и великого московского коллекционера Мошнягина ограбили именно при выходе из дома, втолкнув обратно и связав, и Михаил Николаевич хорошо помнил об этом. Убедившись, что парадная пуста, он вышел и тщательно, в одному ему известном порядке, закрыл все четыре замка. Теперь, не зная этого порядка, открыть дверь, даже имея ключи, было невозможно. Потом медленно, держась за перила, он спустился вниз. Весенняя улица встретила его шумом и солнцем. Тем не менее, было немного прохладно, он пожегся, поправил шарф, так, чтоб тот закрывал горло, и направился в сторону базара.

Путешествия на базар всегда отнимали уйму времени! Надо было обойти все ряды, всюду узнавая цену, выискать, что и где подешевле, поторговаться. И так при каждой покупке!

Покупал он, как я уже говорил, немного, столько, сколько смог бы донести. Сначала травы, потом овощи, потом уже мясо. Овсянку он тоже приобретал на базаре, с машин. Можно было, конечно, покупать ее в магазине возле дома, но там она стоила на двадцать копеек дороже.

Слава Богу, деньги, хотя разве гривна это деньги, у него еще были. Иначе пришлось бы тащиться в обменный пункт к дому Попудова, где курс доллара всегда самый высокий.

Вот долларами Михаил Николаевич нафарширован прилично. Уже издавна все сделки свои по продаже монет, наград и прочего он проводил только за валюту. Хотя, покупать всегда норовил за гривны. И на этом немного выгадывал.

Идя по базару, он всегда глядел под ноги, не стесняясь поднять картофелину или луковицу. Покупая мясо, он предпочитал обрезки, которые стоили много дешевле. И разрезать при готовке не надо. Изредка он баловал себя, когда считал, что заслужил, яблоками или каким-нибудь другим лакомством. Сегодня был именно такой день, и он выложил целых полтора рубля за пол кило яблок и, более того, еще полтинник за лимон. Кутить, так кутить!

Медленно, с остановками для отдыха, доплелся он до дома, кряхтя и тоже отдыхая, поднялся по лестнице. На площадке никого не было и он, доставая из разных карманов ключи, отпер дверь.

Войдя, он тщательно запер квартиру изнутри и присел на скамеечку, стоящую у двери, чтоб передохнуть. Отдохнув, он разделся и начал аккуратно раскладывать провизию по местам, давно для нее определенным. Затем Михаил Николаевич вымыл яблоко, разрезал его на кусочки и принялся есть. Ел он, сидя у окна, медленно, смакуя, получая удовольствие и, тем самым, оправдывая, хоть частично, расходы.

Съев яблоко, он тщательно помыл руки, ибо предстояло продолжить знакомство с Павловским ефимком. Михаил Николаевич достал монету, в очередной раз полюбовался ею, потом начал отмечать ее во всех, имеющихся у него каталогах. При этом он тщательно сличал свой экземпляр с иллюстрациями аналогичных монет. И нашел! Подобный экземпляр, ну точь-в-точь, был в знаменитой коллекции Великого Князя Георгия Михайловича! Это добавило ему радости и он, отложив монету в сторону, позволил себе еще яблоко.

Потом, опять вымыв руки, он положил ефимок под подушку и прилег отдохнуть.

И снова, как всегда, не то в полусне, не то в полугрезах, явилась ему знакомая сумка, набитая монетами.

* * *

Монеты в Мишином собрании прибавлялись. Все карманные деньги, рубли, выдаваемые родителями на завтраки в школе, мелочь, остававшаяся на сдачу от разных покупок, уходили на монеты. Бумажные деньги тоже попадались, иногда пачками. Все это было, пока, бессистемно, хотя русские монеты он уже выделял.

Тут ему еще раз повезло. Он приобрел там же на Староконке еще один каталог. Автором этой книги был какой-то В.И.Петров. В каталоге были описаны все русские монеты, начиная с Петра Первого и по 1900 год. Теперь он пропадал за этой книгой, классифицируя по ней свои сокровища. Его потрясло обилие существовавших монет, но не остановило, а лишь раззадорило. Он терпеливо выискивал в каталоге имевшуюся у него монету и, найдя, соответствующее ей описание, ставил рядом карандашную точку. Несколько раз случалось так, что, имевшаяся у него, монета не подходила под описание. Такие монеты он выделял особо, заносил их описание в особую тетрадку. К описанию он приштриховывал и саму монету. Миша сообразил, что каталог Петрова, имевшийся у него, хоть и обширен, но, видимо, не полон.

Время шло и поток монет, не то, чтоб иссякал, но новые экземпляры ему попадались редко. К тому же, у него появились конкурен-

ты. Его увлечение, естественно, не прошло незамеченным ребятами, и многие из них тоже стали собирать монеты. Кто всерьез, а кто для того, чтоб перепродать их желающим. Спрос рождал предложение.

Сначала он расстроился, а потом, подумав, решил, что так даже лучше. Теперь можно было выменивать у ребят-собираателей нужные ему экземпляры, не утруждаясь их поиском. Он никогда не подавал вида, что хочет выменять ту или иную монету, приценивался совсем к другим, а нужную старался взять в виде довеска. У него было солидное преимущество — он знал, чего хочет и, более того, благодаря каталогу, уже мог составить для себя сравнительную ценность монет. Тем более, что, определившись с темой своего собирательства, он стал обладателем солидного обменного фонда.

Что касается бумажных денег, то на них принято было играть в карты, причем по номиналу. Так сорока рублевая керенка стоила столько же, сколько и четыре красных царских десятки. Миша уже прекрасно понимал, что эти самые керенки, попадавшиеся целыми листами, стоят гораздо меньше, чем, например, одесские деньги. Картами он не увлекался, но, увидев на кону какую-то нужную или неизвестную бумажку, садился и играл до тех пор, пока она не переходила к нему. При этом он мог проиграть тысячи, что, в свою очередь, делало его весьма желанным партнером.

Самое смешное, но и в монетных обменах он слыл неудачником. Отдать, например, монету самой Кубы, за какую-то медную копейку или пятак мог только человек, ничего в монетах не понимающий. Так считали ребята. Меняться с ним стало для них прибыльным и интересным делом. Иногда, толпой приходили! Это его радовало.

В те времена за границу мало кто ездил, кроме моряков. Его родители дружили с механиком судна, ходящего в заграничку. В те времена самыми уважаемыми людьми в городе были моряки китобойной флотилии «Слава». Сам большой теплоход-матка «Слава» был флагманом целой флотилии небольших судов-китобоев. Вот на таком-то «китобойчике» и плавал друг его отца. Приход китобойной флотилии был праздником для всего города, и весь город шел в порт встречать героев моряков. В филармонии для них устраивались концерты, в которых принимали участие лучшие артисты страны и, обязательно, Тарапунька и Штепсель. (Очень популярные в то время эстрадные актеры Тимошенко и Березин.) Целую неделю, после прихода флотилии весь город праздновал. Эти праздники, а, стало быть,

и флотилию ждали все! Очень ждал и Миша. Ждал потому, что отец друг, по его просьбе, всегда привозил ему множество монет разных, по тем временам экзотических, стран. Правда, все это происходило раз в году. Но, все-таки, происходило же! Вот на эти монеты всякой там Индии, Цейлона, Борнео, той же Кубы можно было выменять все, что угодно.

Шло время, а Мишина страсть не утихала. Он собирал, где только мог, монеты, ежедневно отмечался в «букине» на Греческой площади, где изредка попадались книжки по нумизматике, по воскресеньям, раз за разом обходил развалы на Староконке. Книги он покупал все! Попадется по античным монетам — берет, по восточным — тоже, ну и, естественно, все-все по России.

Росла его коллекция, росла библиотека, рос и он сам.

Теперь это был не худой, голенастый мальчишка, а юноша.

Его ставили в пример, ибо учился он хорошо (это поощрялось материально), не курил (лишние расходы). Девушек он не сторонился, но и особо дела с ними не имел, так как учеба в школе была раздельной. Разве что во дворе. Дворовых и школьных компаний Миша не избегал, в складчинах участвовал, хотя пил спиртное мало и неохотно.

В общем, он был обыкновенным юношей из благополучной семьи.

— Такой же, как большинство, — мог бы сказать я, но, все-таки, воздержусь.

Самое интересное, что он не был скупым, как уже говорилось, охотно участвовал в складчинах, угощал, если надо было, других. Просто, такие расходы он считал нецелесообразными.

Еще он любил давать деньги в долг! Но не всем, а только тем, кто обладал чем-то, интересным для него. О долге он мог не напоминать месяцами. Отдавали — хорошо, нет — еще лучше. Но в тот самый момент, когда он точно знал, что у должника денег нет, появлялся и, смущаясь и намекая на тяжелые обстоятельства, не требовал, нет, — просил вернуть долг. Зачастую после этого, нужная ему монета оказывалась у него, в качестве компенсации.

Окончив школу, Михаил поступил в Университет, естественно, на исторический факультет. Родители были счастливы!

До начала занятий оставалось недели три. Родители охотно снабдили его деньгами для поездки в Москву.

Ехал он в плацкартном вагоне, так как рассудил, что где, где, а в Москве, монеты должны быть в изобилии и лишние деньги не помещают.

Остановился он у родственников матери. С первых дней он бродил по Москве в поисках не столько достопримечательностей, сколько магазинов, где продают марки, ибо там, где продают что-то коллекционное, должны быть и сами коллекционеры. Рассуждение нехитрое, но верное, оправдавшееся уже на третий день. Обилием материала он был поражен! Цены были не высокие, но с его скромными деньгами особо разгуляться было нельзя. Тем не менее, деньги он растратил быстро. Едва осталось на билет обратно.

Самое главное, что в записной книжке у него появились адреса и, редкие тогда, телефоны москвичей, подверженных одной с ним страстью.

Дорогой он думал о том, что пора и в Одессе «выходить в люди», искать коллег.

Но вышло по-другому. Через несколько дней, едва успев налюбоваться привезенными сокровищами, Миша впервые отправился в Университет, свято уверенный в том, что, буквально с первого дня, начнет приобретать знания, так необходимые ему в нумизматике. Увы, в первый же день им объявили, что все студенты младших курсов отправляются в колхоз на уборку урожая.

Не удивляйтесь, в те времена было принято использовать студентов, реже школьников, работников всяких исследовательских институтов для различных сельхозработ. Убирали свеклу, подсолнечник, фрукты, овощи, даже хлопок. Еще раз не удивляйтесь, в те времена и хлопок тут произрастал.

Так что, ничего особенного в том, что студенты городских ВУЗов, да что там ВУЗов — консерватории! — очутились на сборе урожая в селах области, не было.

В чем Мише со товарищи повезло, так это в том, что попали они в большое село. Кроме их курса в это село попали еще первокурсники, вернее, надо сказать — первокурсницы филологического факультета.

Колхоз, куда они попали, был, по крайней мере, крепким, так что они не голодали. (Надо в скобках заметить, что подобное случалось редко.)

Каждое утро, я бы сказал очень раннее утро, в то время, когда сами колхозники, навьюченные мешками и корзинами, с боем рассаживались в грузовиках, чтоб ехать в город на базар, студенты выходили на работу. Работу распределял вечно пьяный бригадир. Распределив студентов по участкам, он исчезал. Наверное, шел опохмеляться.

Различие между полами не делалось, поэтому и парни, и девушки пахали на одних и тех же делянках, причем с рассвета до заката.

В те времена порядки были строгими, так что отлынивать от работы, как-нибудь сачковать никому и в голову не приходило.

Первое время, студенты, закончив работу, еле доползали до общежития и, поев, падали на топчаны и засыпали. Выходных не было!

Постепенно молодость брала свое. Рано или поздно все, не исключая и самых хилых, привыкли и стали по вечерам выбираться в кино, его крутили дважды в неделю, и на танцы. Не обошлось без серьезных стычек с аборигенами, но студенты постоять за себя умели и после двух-трех серьезных драк, типа «стенка на стенку», их оставили в покое.

На танцах студенты держались слитно. После танцев парни шли провожать девушек в их общежитие. Как-то так получалось, что большая группа вышедшая с танцев, в процессе пути таяла, разбиваясь сначала на группки, потом на пары.

И пошли-поехали веселые и, обычно, краткосрочные студенческие романы. Вы, конечно, знаете, как это бывает, или было с вами...

Совершенно неожиданно для себя и герой мой оказался вовлеченным в такой вот роман. Правда, роман этот оказался не краткосрочным. Его избранницу звали Марина, и была она первокурсницей филологического факультета.

Роман этот продолжился и в городе, куда они вернулись только к ноябрьским праздникам.

В Университете нагрузка навалилась та еще!

Преподаватели стремились наверстать пропущенное время и «грузили» студентов, как могли. Тем и отдышаться некогда было!

Но Миша с Мариной, все-таки встречались! Они гуляли, целовались на укромных лавочках, говорили, говорили...

Вы, конечно, не поверите, но в те времена можно было безбоязненно гулять по ночному городу и никому в голову не приходило, что может быть иначе.

Итак, они гуляли, разговаривали. Им было хорошо вместе. На праздники они, как положено, примыкали к каким-то компаниям, но и оттуда стремились улизнуть пораньше, чтоб побыть вдвоем. Интересно, но Миша ни словом не обмолвился о своем увлечении монетами. Да и не до монет ему было. Лекции, семинары, коллоквиумы, встречи с Мариной, конечно... Какие тут монеты?

Сначала, он изредка приходил на Староконку по воскресеньям, но, как назло, ничего нового не попадалось. Потом посещения базара стали редкими, потом и вовсе прекратились.

Ему казалось, что эта страница жизни его уже перевернута. Коллекция лежала невостребованной месяц, другой, год, еще несколько лет. А годы летели, как секундная стрелка на часах.

Спустя час Михаил Николаевич проснулся. Опять, тяжело кряхтя, опустил он ноги на пол, посидел, потом поплелся в кухню готовить себе обед. Готовил он средненько, за годы одиночества так и не научился, но есть можно было. А он был непритворлив.

Конечно, на имеющиеся у него деньги, он мог нанять себе домработницу, которая и готовила бы, и стирала, и убирала. Но это ему и в голову не приходило.

Он отварил мясо и, с огромным сожалением, вылил бульон. Мясные отвары, по словам врачей, были ему вредны. А врачей он слушался истово! После этого он приготовил себе на два дня постный супчик, отварил картошку на ужин.

Обед был готов, но есть не хотелось. К тому же сердце опять стало стучать глухо и неровно. Он снова разжевал таблетку и сел у окна.

По карнизу за окном, скандаля, ходили голуби, светило солнце, но ему это было безразлично.

Когда сердце успокоилось, он, почти насильно, покормил себя, вымыл посуду и вернулся в комнату.

На письменном столе лежало несколько писем, на которые надо было ответить.

Михаил Николаевич скорбно улыбнулся, вспомнив свою прежнюю переписку. На столе тогда лежало не два-три, а горы и горы писем. Давно это было... Письма приходил из десятков городов страны. Где та страна? Где те письма? Да и ряды корреспондентов сильно поредели. Кто уехал, кто умер... Остальные жили в своих, ныне совершенно независимых, государствах и, если письма туда и доходили, то обмены стали совершенно невозможны, да и покупки-продажи тоже.

Остались, конечно коллеги в Москве, Питере, других российских городах, но переписка с ними была скорее данью ностальгии. Коллеги, как и он, уже доживали свой век и встретиться им уже было не суждено.

Писали ему и из Украины. Тут дело обстояло проще, ибо соратники его путь в Одессу, когда-никогда, и осиливали. Редко, правда. Зато, появились партнеры помоложе, тех не так интересовали

монеты, как разница в их цене при купле-продаже. Такие к нему наведывались чаще. Кое-что привозили, кое-что увозили... Новых людей он в дом не пускал, а прежних знакомцев опасался гораздо меньше одесситов, да и знать они не могли о размерах и глубине его собрания.

В Одессе же старых коллекционеров почти не осталось, но все-таки были и, более того, рано или поздно начинали распродавать свои коллекции, справедливо рассудив, что на тот свет их с собой не заберешь, а остаток жизни можно и прожить по-человечески. Михаилу Николаевичу это было непонятно и чуждо, но он сочувственно слушал коллег, поддакивал им.

— Говорите, говорите, а монеты продайте, — думал он в таких случаях. — Я и так хорошо живу, а семьи у меня нет, так что некому в шею меня толкать и денег требовать!

Старые коллекционеры, как и сам Михаил Николаевич, не любили и опасались молодых да ранних собирателей. Те, впрочем, платили им взаимностью.

Так что первым человеком, кому предлагались при продаже коллекции, был Михаил Николаевич. Изредка он покупал коллекцию полностью, чаще предпочитал, как он сам говорил:

— Выковыривать изюминки...

Покупка происходила после ожесточенного торга, причем у него был один дар — он всегда знал, когда нужно остановиться. Хотя, переговоры могли продолжаться долго, но, рано или поздно, вождьденная вещь оказывалась в надлежащей ячейке планшетки, запертой в сейфе.

Приходилось общаться и с молодыми. Но тем он только продавал, почти ничего не покупая. Продавал со стонами, жалобами на бедность, на трудные времена.

А продавать ему было что! За годы и годы скопилось столько ненужного ему материала! Некоторые, вовсе не банальные, экземпляры были у него десятками. Монеты эти стоили за границей довольно большие деньги, вот молодые и шастали туда сюда. Эх, ему бы их годы!

Сущим наслаждением для него было читать зарубежные аукционники, выискивать за какую цену ушли редкости, аналогичные которым были у него. Суммы получались фантастические, и он был счастлив.

Он теперь никогда не продавал монеты на большие суммы сразу в одни руки. Одному продаст на сотню другую, другому, третьему. И все по секрету, тишком. Молодые между собой не очень-то делились источниками монет, хотя все, как один, считали его

старым нищим занудой, который работает на кого-то, добывая себе на кефир. Он знал об этом и подыгрывал им.

Денег, как я уже говорил, у него было много. Даже после покупки, вождяленного, Павловского ефимка, обошедшегося ему почти даром, — в двадцать пять тысяч долларов, осталось еще тысяч шестьдесят. Бедный старичок, правда?

Так что, если еще что-нибудь подвернется, на покупку хватит.

В последнее время он редко что-нибудь покупал. Коллекционеров поубавилось, все резко начали собирать «разницу», то есть действовали по схеме — купил подешевле, продал чуть дороже, а разница в карман. Многие из старых коллекционеров коллекции свои уже не «тянули». Жить-то на что-то надо было. Вот и продавали по малости, по частям то, что собирали годами. Материала бродило много, продавали почти все, но ничего из того, что сгодилось бы ему в коллекцию, не было. А покупать про запас, пусть, даже, и недорого, он остерегался. Не те времена...

Свое бы распродать, лишнее. Он, конечно, слегка лукавил. Начни он избавляться, хотя бы от своих дублей, имеются в виду дубли первого-второго плана, и от покупателей отбоя не было бы. Кстати, объясню-ка я, что это такое — дубли первого-второго плана. А это монеты, которые у Михаила Николаевича уже есть, но, тем не менее, очень редкие и интересные. Впрочем, о существовании у него дублей такого уровня никто и не догадывался, что давало ему возможность проделывать с неизменным успехом некий фокус.

Вот представьте, пришли вы к нему по делу. Есть у вас какая-то монета, которая Михаилу Николаевичу чрезвычайно интересна. Да он и не скрывает этого. Час вы заседаете, другой... Вроде бы и материал он предлагает неплохой, по вашему убеждению лучше вашего, и добавить что-либо готов. Но не отдаете вы ему монету, полагая, что раз она ему так понадобилась, то и ценность ее выше, по крайней мере, для вас. Так это на самом деле, или не так, несущественно. Главное, что вы уперлись и ни в какую! И вот, в одному ему известный момент, Михаил Николаевич вздыхает, трет лицо рукой, потом рывком распахивает тумбу письменного стола и дрожащими руками достает планшетку с монетами. И какими! Одна краше другой! Редкость на редкости!

— Берите, что считаете нужным, — говорит он, — все на ваше усмотрение!

У вас, натурально, начинают дрожать руки. И то хочется, и это... Наконец вы выбираете что-то, по вашему мнению, достойное и уходите, думая: «Ну, достал-таки я его! Я из коллекции монету вытащил, так и он вдвое!»

И невдомек вам, что рылись вы в дублях...

Учитесь!

* * *

Ну вот, и закончена учеба! Не будет больше сессий, зачетов, коллоквиумов, но не будет больше и веселых студенческих вечеринок, конкурсных вечеров, не будет турниров по преферансу, в закрытой на ножку стула аудитории. А раскопки в Роксоланах... Не будет замучившего вконец профессора Синицына, но и не будет любимого профессора Корышковского. Короче, лучшая часть жизни канула безвозвратно.

Ах да, не будет и города Одессы, потому что назначения у всех в сельские школы.

Как это здорово, что рядом с Мишей Марина! Распределились они в одно и то же место — райцентр Черешневое, Одесской области.

Школа там была большая и почти новая. Михаил, нет, уже Михаил Николаевич стал там преподавателем истории, а Марина, ох нет, уже Марина Александровна преподавателем языка и литературы.

Они сразу же получили большую и светлую квартиру в, только-только построенной двухэтажке.

Дом был на одной улице со школой, но в другом ее конце. Каждое утро Миша с Мариной шли на работу по этой тенистой от черешневых деревьев улице. Все, встреченные на пути, с ними здоровались. Они удивленно отвечали. Это было, конечно, непривычно, но потом они и сами первые начали здороваться со всеми, кто был старше их по возрасту.

После войны прошло уже довольно много лет, так что село, где они жили, уже успело обстроиться, снова расцвести, стать таким же красивым и богатым, как до войны.

Классы в их школе были светлые и вместительные, впрочем, и учеников было много. Послевоенные дети пошли, как грибы, так что работы у Михаила с Мариной было много.

Сначала они скучали по Одесской жизни. Марина сама была из Сум, но, за годы учебы в Университете, стала, по ее мнению, настоящей одесситкой. Она этим очень гордилась. Миша, родившийся и выросший в Одессе, слегка посмеивался над ней. Но не обидно.

До Одессы было часа три езды на автобусе. Сначала они ездили туда при каждом удобном случае, потом реже, потом совсем редко. Да и автобусы ходили не регулярно. Попробуй постой, подожди попутку. Иногда председатель колхоза выделял им машину, и они ездили в Одессу за учебниками, еще за чем-то необходимым. В такие дни

удавалось заскочить к родителям, подкинуть им деревенские продукты. Иногда и родители приезжали к ним на выходные.

Родители Миши как-то стремительно стали стареть, хоть лет-то им было немного, чуть больше пятидесяти. Всякие недуги навалились, болячки...

Они уговаривали Марину и, особенно, Михаила вернуться в город, благо квартира была большая, а работу и в городе легко можно было найти. Уговаривали, но безуспешно. Сельская жизнь пришлась Мише с Мариной по вкусу, и менять ее они не хотели.

На третий год их жизни в Черешневом у них родился сын — Игорь.

Еще через пол года у Миши умер отец. Произошло это внезапно, и молодые еле-еле успели на похороны.

После смерти мужа, мать Михаила слегла. Оказалось у нее рак, причем, неоперабельный.

Волей-неволей, пришлось возвращаться, чтобы ухаживать за умирающей. Через месяц и ее не стало.

В Черешневом, к тому времени, закончился учебный год, и Миша с Мариной решили пожить, пока, в Одессе. Девять дней, сорок дней справили, решили, было уезжать, но передумали, остались, вроде бы до осени, а оказалось навсегда.

Квартира, как я уже говорил, была большая, трехкомнатная, но какая-то неухоженная. Михаил, пока суд да дело, принялся за ремонт. Он сам, от пола до потолка отремонтировал, сначала, комнату, предназначенную Игорю, потом взялся за комнату родителей, которой, отныне, суждено было стать его и Мариной.

Для ремонта необходимо было вытащить из комнаты мебель. Михаил делал это тоже сам, поэтому пришлось разгружать шкаф, потом письменный стол. Разгружая письменный стол, он наткнулся на коробки с монетами. Миша равнодушно открыл их, начал перебирать и... увлекся. Вечер, несмотря на ворчание жены, прошел за новым, старым знакомством с коллекцией.

Назавтра ремонт снова отвлек его, но только отвлек, потому что мысли о монетах приходили к нему все чаще.

Знаете, бывает так, что человек вдруг бросает курить. Заболел или испугался чего-то, а может, силу воли проявить решил. Бросил и бросил. Не курит и другим не советует. Год так проходит, другой...

— Все, — думает, — избавился я от этой заразы!

Доволен собой, горд. Но стоит ему потом, шутя или просто во время застолья сигаретку выкурить и все! Возвращается к нему привычка эта, не очень, говорят, полезная. Мало-помалу втягивается, да так, что еще пуце курит.

Так же и с Мишей было. Задремавшая было страсть, проснулась! Такое вот дело...

* * *

Что бы ни делал сегодня Михаил Николаевич, чем бы ни занимался, но влекло его к ефимку постоянно. Монета эта была венцом его коллекции, целью, к которой шел он уже с десятков лет. И все эти годы, зная, что в городе есть эта монета, зная у кого, он не мог спокойно жить, строя планы и планы.

Узнал он о том, что его коллега-конкурент приобрел эту монету, у своего Питерского агента. Монета была из коллекции одного академика, который умер, а семейка принялась потихоньку распродавать его сокровища. Вот под эту раздачу и попал конкурент Михаила Николаевича. Прилетел в Ленинград, хапнул ефимок и во-сво-ся. Главное, что никому ни слова! Время тогда мутное было, впрочем, как и сейчас. Иметь дома большие ценности опасно было, опять-таки, как и сейчас. Только в наше время ограбить тебя могут воры-бандиты, а тогда государство родимое. Так что таиться и тогда надо было, и сейчас необходимо.

Но знал, знал Михаил Николаевич про монету. Знал, помалкивал и ждал. И дождался же! Правда, пришлось ему дело кое-как подтолкнуть. А дело так было.

Сын владельца Павловского ефимка занимался коммерцией. Сначала в Польшу ездил за товаром, потом в Турцию. Мало-помалу раскрутился, начал товар в Италии покупать, магазин открыл, потом другой... Денег постоянно не хватало, ибо каждую копейку, или там цент, он в дело свое вкладывал. А жили отец с сыном душа в душу, что вызывало глухое раздражение в душе Михаила Николаевича. Вот стал папаша у Михаила Николаевича деньги для сына одалживать. Не под проценты, не дай Бог, а, вроде бы, по дружбе. Одолжит, вернет, потом снова одолжит. Михаил Николаевич деньги давал охотно, но часа своего ждал терпеливо.

У нынешнего коммерсанта врагов-недругов масса, а друзей нет! Какие тут друзья, если государство, у которого он ни копейки не берет, а только дает государству этому ненасытному, если государство это против него. У коммерсанта ум, изворотливость, талант, если хотите, а у государства и налоговой полиция, и таможня и законы, супротив любого высунувшегося писанные. Трудно бороться с государством, которое, по идее, помогать тебе должно. Но

не помогает, а помогает только служивым своим — чиновникам, то бишь.

Навалилась как-то на сына владельца ефимка налоговая, да не просто ради взятки малой, а всерьез, стало быть, ради взятки большой, даже очень. Еле успел он деньги, у Михаила Николаевича папашей занятые, рассовать, как беда новая. Таможня фуру с товаром, идущую из Италии хлопнула. Товар выкупать срочно надо, компаньоны-кредиторы за горло берут, торговля стоит! Что делать? Опять папа коммерсанта к Михаилу Николаевичу бегом:

— Выручай!

А тот ни в какую:

— Не могу, — говорит, — мне покупка суровая предстоит! Так что ты и тот должок свой верни мне!

— А как должок-то вернешь, если сам за деньгами пришел?

— Есть, — говорит, — у меня вещь одна. Ни за что бы ни продал, да видишь вот дела как обернулись.

Знает, знает Михаил Николаевич, что за вещь у просителя, но виду не кажет.

— Что за вещь, — спрашивает.

А сердце у него так и прыгает.

— Ефимок Павловский!

— Не может быть! — восклицает Михаил Николаевич. — Откуда? Ну, ты даешь! За столько лет ни слова... — Как бы с обидой.

Короче, торг был, как не быть, хотя цена и спервоначалу Божеской была. Но привычка... Так что, выложил Михаил Николаевич двадцать пять тысяч долларов (с учетом долга — восемнадцать) и стал обладателем подлинного пробного павловского ефимка!

Монеты, с которой, вот уже несколько дней, он засыпал и просыпался.

* * *

Итак, проснулась страсть, дремавшая в Мише. Проснулась и потребовала действий.

Через несколько дней, идя на трамвай, Миша очутился на Греческой площади и обратил внимание на толпу взрослых и подростков, перемещавшихся на относительно небольшом пятачке напротив букинистического магазина. В руках у них были альбомы и кляссеры с марками, какие-то коробочки и... монеты.

Естественно Миша ринулся туда. Это был «сходняк» коллекционеров, стихийно собравшихся у первого в Одессе магазина, где, среди прочего, торговали и коллекционным материалом.

Собирателей, да и просто продавцов монет было много. Мальчишки, коих было большинство, интересовались иностранщиной, люди солидней собрались вокруг какого-то медного пятака и, выхватывая его друг у друга, что-то оживленно обсуждали.

Как-то так получилось, что Миша оказался среди них. Демократия там царила полная! Старики и мальчишки общались друг с другом легко и непринужденно. Общее увлечение как бы уравнило их в правах на этой нейтральной территории. Как они собрались тут? Когда? Как получилось, что столько людей, независимо друг от друга пришли сюда, да еще монеты-марки принесли? Шустрая иностранщина и солидные Николаевские рубли по пятерке за штуку, солидная Екатерининская медь и советский никель, и билон прежних годов. Всего этого было не то чтобы много, но достаточно. А главное — общение! Все свои!

Казалось, прошло несколько минут, но вдруг он обнаружил, что уже темнеет. Люди начали неохотно расходиться. В числе последних ушел и он.

Дома Миша рассеянно отвечал жене о причинах задержки, механически сделал все, что нужно было по дому. Освободившись, он достал свои сокровища и начал их перебирать.

Спать он лег далеко за полночь, но долго не мог уснуть. Потом забылся-размечтался. В мечтах он стал обладателем целой сумки с монетами. Монеты были завернуты в пергаментную бумагу, аккуратными столбиками, штук по тридцать в каждом. Он разорвал один из столбиков и увидел, что у него в руках рубли Петра Первого.

Тут были...

Было в его коллекции немало всяких редкостей. И пробные монеты попадались. Но такой великолепно редкой, пронзительно редкой монеты у него никогда не было.

Это тебе не прилизанные портретные Александры, которых у него было четыре штуки. Могло быть больше, но подвел, в свое время, Аэрофлот. А дело так было.

В Москве, к знаменитому и великому коллекционеру Мошнягину принесли сверток с монетами. Да какими! Портретные рубли Александра Первого, портретник Николая Первого и еще... Был там даже редкости невиданной Пугачевский рубль! Всего монет сорок и все редчайшие! Даже в мечтах такую подборку себе не представишь. И хотели-то за всю подборку двадцать тысяч рублей! По сравнению с истинной ценностью — даром. А Мошнягин,

ошибочно решив, что такой суммой никто не располагает так, чтоб взять и выложить ее сразу, предложил половину. Думал, что куда-то монеты от него не денутся, но ошибся. Ох, как ошибся. Делись монеты и не куда-нибудь, а к Х. и К., которые купили монеты в складчину и тут же начали их в розницу распродавать. (Оба они, слава Богу, живы, поэтому ограничусь только буквами-обозначениями).

Узнал об этом Михаил Николаевич на следующий же день. (Не зря он агентов-корреспондентов прикармливал). Кинулся сразу в аэропорт, а рейсов на Москву сегодня нет. Достал он себе билет на завтра, ночь не спал, мучался, ворочаясь с боку на бок, утром на самолет... А рейс отложили. Потом снова отложили. И так откладывали каждые два часа аж до вечера. Прилетел в Москву ночью, еле дотерпел до утра, кинулся, но большую часть монет за день тот, бездарно проведенный в аэропорту, успели продать. Всего только четыре Алексаши ему тогда и достались. Причем, не самые интересные. Тоже немало, но...

А Х. и К. вскоре после этого посадили. Что-то им такое инкриминировали. Не то валюту, не то, что еще. Темная история. С полгода Михаил Николаевич переживал и боялся, ведь у тех был его адрес и телефон, но его не тронули. Пронесло.

Да-а, давняя история. Сколько лет прошло? Да тридцать не меньше.

А портретники — вот они.

Михаил Николаевич отвлекся от воспоминаний и глянул за окно. Уже давно стемнело. Поди ж ты, как за воспоминаниями время-то летит. Он отправился на кухню — ужинать. Поужинав отварной картошкой, он снова переместился к письменному столу, надел очки и, на сон грядущий, как всегда, принялся листать каталоги. А каталоги, сколько их ни листай, всегда что-нибудь новенькое таят. Да и форму терять нельзя.

Почитав часа два с половиной, он разделся и лег спать.

Сон не шел. Принимать снотворное не хотелось. Пришлось лежать на спине, закинув руки за голову и открывая, и закрывая глаза.

Тишина за окном, прерываемая шумом проехавшей машины, снова сжималась вокруг него.

Бессонница ли тому виной, но вдруг пришла в голову странная мысль-вопрос:

— А счастлив ли я?

Прямо дичь какая-то! Михаил Николаевич возмущенно пытался прогнать эту назойливую мысль, думать о чем-то другом, ну, хотя бы о сумке с монетами.

Но, куда там! Но не отступал, просто-таки наваливался вопрос этот, требуя ответа:

— А счастлив ли я?

И уже не отмахнуться. Так всерьез он задал вопрос себе впервые. Вернее, не задал, а сам возник этот проклятый вопрос, но отвечать надо было, причем сейчас, немедленно. А как?

Ведь гнал, гнал он от себя уже долгие годы, еще не вопрос, а робкие, одиночные мысли об этом. Гнал... А они не ушли, сплотились, навалились врасплох, требуя ответа.

Но есть ли он — этот ответ?

Ага, вот:

— У меня есть все, к чему стремилась душа!

— Душа?

— Ну конечно, конечно, душа! Коллекция — это же для души!

— Для души???

— Я долгие годы, почти всю жизнь собирал монеты. Я делал то, что любил и понимал!

— Любил? Понимал?

— Любил? Понимал?

— Да, я один! Но я же не одинок! Просто мне никто не нужен! И ничего мне не нужно, кроме моих монет! И добился я многого! Такого собрания нет ни у кого!

— Для кого?

— Что для кого?

От этого вопроса, заданного самому себе, Михаил Николаевич даже привстал, чуть не вскочил. Потом снова лег, пытаясь успокоиться и сосредоточиться.

Но вопросы неумолимо продолжались.

— Для кого эта коллекция, во имя которой все творилось, во имя которой и душа погублена?

— Погублена душа?

Он снова привстал, пытаясь возмутиться, но тут же бессильно упал на подушку. А в голове, все звучало:

— Погублена, погублена, погублена...

Потом пошли воспоминания.

* * *

Вспомнился сын, но не таким, каким он мог быть сейчас. Да и не знал Михаил Николаевич, не ведал, каков тот сейчас. А ведь сыну-то уже за сорок...

Нет, сын вспомнился маленьким и доверчивым. Доверчивым... Слово это снова и пребольно царапнуло Михаила Ивановича.

— Доверчивым...

Вспомнилось, как сын держал его за палец, когда они шли куда-нибудь гулять. На бульвар, на Соборку, в Горсад, в зоопарк. Сын был покладист и, получив свою долю удовольствий — катание на пони, качели, шел, все так же держась за его палец, вместе с отцом на пяточок коллекционеров. Он терпеливо сносил долгое стояние вместе с чужими дядьками и ребятами.

Разговоры, обмены, покупки...

В награду за терпение, сын всегда получал мороженное.

Однажды, уже поздней осенью, простояв, лакомясь мороженым, несколько часов на пяточке, сын сильно заболел. Ангина, воспаление легких, высокая температура.

Михаил Николаевич испытывал угрызения совести, обещал себе, что больше никогда, никогда... Он много времени просиживал у кроватки Игорька, развлекал его, уговаривал пить лекарства, чуть не плакал сам, когда сыну делали уколы.

Ах да, тогда они впервые разругались с Мариной.

До этого случая она как-то снисходительно относилась к его увлечению, но тут...

Выдала она ему тексты! Мало не покажется!

Он и не знал, что столько всего в ней накопилось.

Да и он, тогда, не сдержался:

— Не пью, не курю, зарплату полностью домой приношу. Что еще надо?

— Что еще надо? — всхлинув, переспросила она.

— Что еще надо? — повторила она вопрос, сделав ударение на слове «еще». И замолчала. Надолго. На несколько дней.

Игорь болел, а Михаил Николаевич вел себя примерно.

Его, конечно, тянуло к монетам, но, тогда, он мог с собой совладать.

Мальчику стало легче. Но он все так же требовал от отца сидеть с ним, развлекать его. Привык. Другой бы радовался, что ребенок так тянется к нему, но Михаила Николаевича это стало раздражать. К тому же совершенно не оставалось времени на общение с нумизматами, а этого общения требовало все его естество.

Тем не менее, он дал себе зарок не таскать мальчишку за собой на всякие сборища. Дал, то дал... Впрочем, держался он долго. Но, все-таки, сорвался.

Как-то, уже зимой, он все-таки пошел с ним на пяточок.

— Минут на десять, не больше! — Уговаривал он себя.

Но «благими намерениями»...

Приехал коллекционер Рома из Москвы. Он привез на продажу юбилейный рубль, именуемый среди специалистов «Сей славный год». Это рубль 1912 года, посвященный столетию Отечественной войны. На нем есть надпись:

«Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги».

Пока Михаил Николаевич сговаривался с ним, пока торговался... Монету он, конечно, купил и недорого. Пятьдесят рублей отдал. И еще Петра прикупил 1721 года, что тоже время заняло.

Марина, ожидая их дома, извелась. Снова ссора.

На этот раз Марина не кричала, не плакала, а, что было хуже всего, молчала. То есть, не совсем молчала, а только с Михаилом.

Через несколько дней, вроде, оттаяла. Однажды она вдруг сказала ему:

— Миша, давай уедем обратно!

— Куда? — Не понял Михаил Иванович.

— В Черешневое...

— Зачем? — снова не понял он.

— Чтобы жить!

— А разве мы тут не живем? Я — так вообще отлично!

Она только вздохнула.

Тогда, именно тогда, пролегло между ними то, что, иногда, называют трещинкой. Может это и так, тогда с годами трещина эта лежала себе и лежала, не особенно затрудняя общение. Но, все-таки была! Наверное, это так, ибо, забеременев через некоторое время, Марина не захотела оставить ребенка, хоть Михаил и уговаривал ее. Для вида он это делал или нет? Кто знает...

— Мне не потянуть еще одного ребенка и твою коллекцию! — Тогда сказала она.

«Причем тут коллекция?» — думал про себя Михаил. Но спросить поостерегся.

С абортami тогда сложно было. Пришлось побегать, да и денег это стоило немалых.

— Двух Петров купить можно за эти деньги, — как-то поймал себя на мысли Михаил.

Жизнь потекла дальше. Без изменений.

Без изменений?

Нет, изменения все-таки были, но медленные, невидимые. Короче, не затрудняющие жизнь.

Игорь рос. Стал школьником.

Росла коллекция Михаила Ивановича. Денег катастрофически не хватало. Зарплату он, как положено, целиком отдавал Марине.

Я забыл сказать, что после Черешневого он не стал больше работать в школе, а устроился в областной архив, расположенный в бывшей Бродской синагоге на улице Жуковского. Кроме этого, он подвизался в обществе «Знание» и, когда-нибудь читал лекции. Было это не очень регулярно, но что-то капало и это «что-то» отдавалось коллекции.

После работы Михаил заскакивал в букинистический магазин на Греческой, где рылся в книгах, выискивая труды по нумизматике. Покупал он все, что попадалось, иногда даже в ущерб монетам. Пятачок был рядом, так что все можно было совмещать. Однажды, роюсь в книгах, он познакомился с человеком, который делал то же самое. Они разговорились.

Новый знакомый оказался великим коллекционером Мошнягиным, о котором Михаил Николаевич уже слышал не раз. И каждый раз имя это произносилось с придыханием, восторгом.

Выходец из Одессы, впоследствии переехавший в Москву, Мошнягин был коллекционером всегда, причем коллекционером-ученым. Его перу принадлежали многие и многие работы по монетам Советского Союза, а его коллекция России была одной из лучших в стране. И вот такой-то человек стоит перед Михаилом Ивановичем, опираясь на резную трость, и разговаривает с ним. Михаил Николаевич пригласил Давида Исааковича, так звали Мошнягина, к себе. Тот рассмотрел его коллекцию, снисходительно улыбнулся и сказал:

— Знаете, коллега, при Вашей увлеченности, коллекция могла бы быть и получше! Зачем Вы оставляете все подряд? Определитесь окончательно с темой и собирайте!

— Я Россию собираю, — запротестовал, было, Михаил Николаевич, — да еще и на медные деньги.

— Денег не хватает? — удивился Мошнягин. А потом сказал, как припечатал:

— Коллекция должна быть бесплатной!

— Как бесплатной? — охнул Михаил Николаевич.

— Подумайте!

С тем и расстались. Мошнягин еще два дня был в Одессе, еще раз виделся с Михаилом Николаевичем. На этот раз он пригласил его в дом своего учителя Зильбермана, где сам остановился.

Михаил чувствовал себя попавшим в высшее общество! Так, собственно оно и было. А разговоры, а рассказы.

Михаил Ефремович Зильберман, раздувая моржовые усы, редкие и торчащие строго параллельно земле, рассказывал о редких монетах, попавшихся ему, а Мошнягин поддерживал разговор рассказом о том, как ему удалось с помощью монет определить дату Второго Иудейского Восстания.

На прощание Мошнягин продиктовал ему свой Московский адрес и телефон.

— Будете в Москве, заходите. Кое-чем сумею помочь, думаю, — сказал он.

Зильберман просто пригласил его заходить. И то, и другое приглашение были приняты с благодарности. Миша был на седьмом небе от счастья. Ему казалось, что поднялся он на несколько ступенек выше. И только одно не давало ему покоя, мучило его:

— Коллекция должна быть бесплатной!

Потом к нему пришло озарение, которое круто изменило, не столько его жизнь, сколько его коллекцию.

Действительно, активный коллекционер, рано или поздно, определяет для себя круг своего собирательства. Это необходимо, ибо, чтоб достичь глубины, необходимо и копать глубоко. То есть какая-то тема становится основной, монеты, ее наполняющие, и становятся, собственно, коллекцией. Все остальное, если оно есть, это обменный фонд. Таким образом, ограничив круг своего увлечения чем-то конкретным, можно весь материал, вышедший за рамки этого круга, сделать фондом, не только для обмена, но и для продаж. Таким образом, у серьезного коллекционера всегда есть минимум два фонда — основной, то есть собственно коллекция и обменный. Причем оба эти фонда необходимо пополнять, причем пополнение основного фонда полностью зависит от состояния обменного. Хотят нужную монету продать — пожалуйста! Продается что-то из обмена и вот они деньги. Более того, часть обменного фонда надо выгодно продавать с тем, чтоб всегда были деньги. А если, например, хотят только меняться, так обменный фонд для этого и предназначен.

Собиратели знают, что если ищешь, например, рубли Петра Первого, то попадается все, что угодно, кроме искомого. Вот из этого «все, что угодно» и нужно выбирать стоящее с тем, чтоб продать подороже или обменять.

Но для этого нужны знания не только в своей области, но и в смежных. Такие знания — это уже класс коллекционера.

Первым делом Михаил Николаевич пересмотрел свою коллекцию. Он давно решил, раз и навсегда, ограничиться только монетами России! Это, во-первых, высвобождало огромное количество материала, а во вторых, ставило перед ним конкретную цель, к которой он будет идти всю жизнь.

Для разгона, он продал мальчишкам всю иностранщину. Копейка к копейке, это составило приличную сумму. Можно было вернуться!

Затем он, пользуясь книгами, а больше расспросами, попытался классифицировать свою Германию. Оказалось, что у него есть довольно приличные вещи, хотя много было и чепухи. Взять те же немецко-фашистские рейхсмарки. Их отец, в свое время привез больше всего, причем, в основном пятимарочники. Оказалось, что среди них, а их было много видов, есть и редкости, которые стоят дорого. Например, пятимарочник с Гинденбургом и орлом на обороте, или там с Потсдамской кирхой стоят пять-шесть рублей, а такой же, но с Мартином Лютером или Шиллером — тридцать. А ведь были еще более ранние германские монеты, монеты Прибалтики. Ну, да я уже об этом говорил.

К тому же в Одессе произошло тогда знаменательное, для коллекционеров, конечно, событие — впервые было открыто Общество коллекционеров. Собирались во Дворце моряка раз в неделю, по выходным. Теперь все приобрело более организованный вид. Начались новые знакомства, хождения друг к другу в гости, рассматривания коллекций. Уже тогда Миша, придя домой после очередного визита, записывал по памяти, всю запомнившуюся информацию о коллекции коллеги. Так он делал и в последующие годы.

Так что, сейчас было что продавать, менять, было и на что покупать! А главное — было с кем общаться! То, что раньше свершалось периодически, теперь стало основой бытия, если хотите — профессией. Он покупал, продавал, снова покупал... Невозможно было остановиться, да и коллекция росла.

Дома же существовал шаткий мир. Марина, вроде бы, примирилась с происходящим. Во всяком случае, разговоры на эту тему прекратились. Прекратились вообще! Если раньше она могла поинтересоваться его делами, посмотреть, если он настаивал, на какой-то диковинный экземпляр, то теперь — нет!

Монеты существовали отдельно от нее. Она, проиграв сражение с ними за другую, более понятную и радостную для нее жизнь, сделала вид, что их и не существует. Так ей было легче.

Изредка выбирались они в гости или там, в кино, театр. Изредка приходили гости и к ним. В гостях Михаил скучал, злился, считая время, отобранное у монет, потерянным.

Сыну времени он тоже почти не уделял. Благо, тот учился да и вел себя в школе хорошо. Удобный сын.

— Удобный? — *Интересное определениее пришло. — Удобный!*

Да разве может ребенок быть удобным? По всему выходило, что может. Потому что не надо было терять время, помогая ему делать уроки, на разговоры всякие воспитательные.

Когда Игорь приходил к нему для общения, Михаил Иванович не радовался этому. Общение это было ему не интересно, детские проблемы его не волновали. Он раздражался, старался, чем побыстрее, выставить сына из комнаты.

— А уроки ты сделал?

— Почему ты ничего не читаешь?

Ну, и так далее...

Сын уходил.

Потом он стал приходить все реже и реже и Михаил Николаевич начинал каяться и бранить себя.

— Что это я делаю? — *угрызался он. — Ребенок ко мне тянется, а я?*

В такие минуты он сам искал общения с сыном, но тот, памятуя, что рано или поздно все закончится криком, такого общения избегал.

К счастью, у сына появились друзья, он стал пропадать во дворе, приводить в дом друзей. Однажды, он попросил отца показать ребятам коллекцию. Михаил Николаевич показал ребятам коллекцию, разумеется, не всю, а так, что попроще да покрасивей. Сына он потом отругал. А коллекцию свою стал запирать.

Потом и Игорь стал собирать монеты. Это вряд ли было серьезно. Возможно, мальчик хотел, хоть в чем-то найти с отцом общее.

Михаил Николаевич отнесся к увлечению сына пренебрежительно, правда, изредка баловал его какими-то монетами, пытался рассказывать о них.

Мальчишка есть мальчишка. В дом зачастили, такие же, как и Игорь, юные нумизматы. Не все из них нравились Михаилу Николаевичу. Он стал запирать дверь в свою комнату, опасаясь, что у него

что-нибудь украдут. Марина была недовольна этим, и у них опять начались перепалки. Но он настоял на своем. А время шло...

* * *

Шел шестой час, когда Михаил Николаевич проснулся. Спал он всего-то несколько часов, поэтому чувствовал себя разбитым, но сна больше не было.

Он вылез из-под одеяла, сел на кровати, опустив ноги на пол, посидел, а потом медленно прошаркал в уборную.

Закончив туалет, он вернулся и снова лег. Самочувствие было приличным. Он привычно принялся мечтать о сумке с монетами, но мечталось как-то вяло, неубедительно. Тогда он оделся и направился в кухню. Завтракать.

Поев, он задумался над тем, что сегодня делать. Выходить на улицу, слава Богу, никакой необходимости не было. Все, что необходимо, было куплено еще вчера. По всему выходило, что весь день свободен. Можно было с полным правом заняться коллекцией, тем более, что это занятие всегда доставляло ему радость и никогда не надоедало.

Михаил Николаевич тщательно вымыл руки и направился к шкафу. Прodelав все привычные манипуляции, он открыл сейф и достал оттуда первую планшечку. Это была Петровская медь. Он брал монеты одну за другой в руки, согревал их, рассматривал в лупу, надеясь отыскать еще что-нибудь новое, но каждая уже была так давно и тщательно изучена, что на какие-либо открытия уже надеяться не приходилось. Оставалось только любоваться монетами, что тоже было очень приятно.

Для недостающих монет в планшечке были оставлены свободные ячейки. Их было не так много, но и не мало.

Дело в том, что в последние годы Михаил Николаевич стал, так сказать, коллекционером-снобом. Ему захотелось, чтоб все рядовые монеты, о редкостях речь не шла, были у него только в отличном состоянии. В этом был, конечно, резон, ибо рыночная стоимость монет всегда пропорциональна их состоянию, но попробуй, замени почти треть Петровской меди, которая, сама по себе, редка. Монеты плохой сохранности лежали в отдельной планшечке и пребывали в коллекции как бы условно. Повторю, что это, конечно, не касалось настоящих редкостей, коих было у Михаила Николаевича немало. Взять, хотя бы, эту.

В его ладони лежала великолепная денга 1709 года с трехжемчужной короной. Редкость и красавица!

Он думал о монете, как о живом и близком существе. Это ж так о дочери можно сказать:

— Красавица!..

Потом он начал перебирать Петровские копейки. Монеты были просто на загляденье. Сохранные, с темной ровной патиной!

А венцом его собрания Петровских копеек была пробная, 1710 года.

Он, улыбаясь, стал вспоминать, как легко и, практически задаром, она ему досталась. И, главное, где — в обществе, где тогда, и не такие как он, акулы царили.

* * *

Общество коллекционеров тогда располагалось в здании старого Главпочтамта на улице Гоголя. В зал пускали только взрослых коллекционеров, а ребятня стояла под дверью, умоляя взрослых:

— Дяденька, проведите!

Ну, совсем, как на футболе.

Ну, как его тогда угораздило выделить среди других этого парнишку и провести в зал? Мистика какая-то! От счастья, что взрослый, настоящий коллекционер не только провел его в общество, но и, как с равным, беседует с ним, мальчишка поплыл. А тренированный глаз Михаила Николаевича уже разглядел среди всякой монетной чепухи необычную Петровскую копейку.

Мальчишке копейка, видимо, тоже нравилась, потому что, когда Михаил Николаевич взял ее в руки, он весь сжался. Не желая спугнуть удачу, Михаил Николаевич равнодушно положил монету обратно в коробочку из-под леденцов, где лежали и остальные сокровища паренька, и взял в руки другую, обычную, потом еще одну.

— Вот эти мне подойдут, — сказал он. — А, кстати, что ты-то собираешь?

Оказалось, что парнишка собирает монеты СССР.

— Ну, так у меня есть потрясающий обмен. Ты когда-нибудь слышал о пробных монетах 1958 года?

— Да, конечно, — ответил парнишка, — но никогда не видел. Это же пробные монеты. Они же большая редкость!

— Смотри!

И Михаил Николаевич достал десятикопеечную монету 1958 года. Она была такая же, как и серийный гривенник 1961 года (Помните?), но год был, все-таки 1958!

Мальчишка обалдел. Действительно о пробной серии 1958 года слышали многие, но вряд ли у кого эти монеты были. Сознание того,

что он может стать обладателем этой уникальной, по его мнению, монеты, почти лишило его дара речи.

— *Что Вы за нее хотите?* — *Спросил он, но видно было, что паренек готов на все, ради обладания этим гривенником.*

У Михаила Николаевича таких гривенников было несколько, и он уверенно вел партию к логическому завершению.

— *Пожалуй, возьму вот эту,* — *показал он на тертый пятак 1924 года.*

Паренек затаил дыхание. Происходило нечто невообразимое. За пятак, цену которому, вернее ее полное отсутствие, он хорошо знал, ему давали редкую пробную монету!

— *Впрочем, нет,* — *призадумался Михаил Николаевич,* — *все-таки маловато будет, даже ради знакомства.*

Паренек обмер. Счастье ускользало из рук!

— *Возьмите что-нибудь в додачу,* — *предложил он.* — *Выбирайте!*

— *Пожалуй,* — *помедлил Михаил Николаевич,* — *пожалуй, я возьму...*

И призадумался. Он брал в руки одну монету, другую, словно не мог найти достойного довеска.

— *Пожалуй, я возьму вот эту,* — *и он указал на Петровскую копейку.*

Парнишка с радостью согласился. В дальнейшем, он всегда первому показывал Михаилу Николаевичу свои монеты, но больше ничего поистине редкостного ему не попадалось. Так, по мелочи...

Так появилась среди Петровской меди эта копейка.

Вспомнив эту давнюю историю, Михаил Николаевич довольно усмехнулся.

— *Надул паренька? Ну и что же? За знания надо платить!*

Он еще немного подержал копейку в руке, потом, со вздохом, положил ее на место.

Особую его гордость составляли серебряные Петровские копейки, которые, будучи не очень редкими, все были в отличном состоянии. Хотя, и среди них были редкости. Взять вот эти копейки 1713 и 1714 годов. Их он приобрел у сумасшедшего ленинградца, который никогда не называл одну и ту же цену. Спросишь раз — одна цена, второй раз — другая, третий — третья, и так до бесконечности. Причем цены повышались и понижались совершенно произвольно. Высокая цена, низкая, снова низкая, еще меньше

прежней, снова высокая... Поди, угадай, когда покупать надо. Но он все-таки угадал!

И только иногда, совсем редко, Михаила Николаевича мучила мысль:

— А может, надо было еще пару раз поспрашивать?

Он откинулся на спинку стула и долго сидел так, улыбаясь.

Да, хватало у него в жизни случаев, когда за бесценнок шедевры покупались.

— Коллекция должна быть бесплатной!

Как давно было это сказано...

— Нет, дорогой Давид Исаакович, ошибаетесь! Коллекция, вырастая и развиваясь, еще и доход должна приносить! Видите, уважаемый, как я Вашу формулу развил?

Михаил Николаевич поймал себя на том, что говорит вслух.

Нет, нет уже давно Великого Коллекционера Мошнягина, но так хочется говорить с ним, спорить. Спорить? Да, спорить, потому что он редко осмеливался спорить с Великим. А если осмеливался, то делал это чрезвычайно редко.

Он всегда поражался чрезвычайной открытости Мошнягина, не одобрял ее. Тот готов был часами говорить о своей коллекции, иллюстрируя рассказы самими монетами. Он не всех пускал в дом, но тот, кто туда попал, мог рассчитывать на роскошное гостеприимство, мог посмотреть и потрогать руками любые монеты, а то и получить что-нибудь в подарок. Причем, неважно кто это был: умудренный старец или совсем зеленый студент.

Да, велик был Мошнягин! Ну и что? Сам же за это и поплатился. Всю коллекцию из дома вынесли. Ищи-свищи...

Нет! Свою коллекцию Михаил Николаевич никому не показывал!

Знали, конечно, что у него есть та или иная монета, но всего не знал никто! Да и зачем? Что, он для кого-то собирает? Нет, и еще раз нет! Только для себя. Так зачем другим знать о том, что у него есть? Незачем! Похвастаться какой-нибудь редкостью? Зачем? Еще завидовать начнут, а зависть многое порождает.

Зато, выбрав свободный денек, а у него почти все дни теперь свободные, можно разглядывать-перебирать свои сокровища и радоваться.

— Как скупой рыцарь! — уколола вдруг непрошенная мысль.

— Ничего общего, — ответил он сам себе, — мои сокровища духовны!

— Ну и что? Духовны, как бы не так! Для большинства людей это только груда металлических кругляшей. И ни холодно людям от этого, ни жарко...

— А я не большинства собираю! И, даже, не для меньшинства. Что мне до них? Я собираю для себя! А оценить мое собрание могут только такие, как я!

Тут он вспомнил, что «такие, как он» вряд ли увидят и оценят его собрание, но и это не поколебало его.

Михаил Николаевич глянул на часы и решил временно прерваться. На обед. Режим следовало соблюдать. Что он и делал не один уже год.

* * *

В шестидесятые годы, в самом начале, коллекционеров стало «больше, чем людей». Собирали все! Общество, перебазировавшееся, к тому времени, в летний кинотеатр Дворца студентов, почему-то имени Дзержинского, напоминало по воскресеньям пчелиный рой. Найти что-то стоящее в этой толпе было крайне затруднительно. На необычную вещь кидалось сразу несколько человек. Правда, существовали свои неписанные законы поведения и они кое-как соблюдались, но не всегда. В этих случаях и до драк доходило.

Вот, например, известный наглец и проныра Кац, однажды лично схлопотал по рожке от одного паренька. И за дело! А случилось вот что.

Пришел как-то Кац в общество и видит, что парнишка какой-то торговал довольно интересный Петровский рубль и недорого. Один нюанс, деньги еще заплачены не были. Парнишка только полез по всем карманам, чтоб набрать требуемую сумму. Тут Кац этот к нему подходит и просит:

— Не позволите ли, молодой человек, взглянуть на Ваше приобретение!

Тот, лопух, обрадовался уважительному тону взрослого человека, коллекционера к тому же, монету Кацу отдал, а сам деньги продолжает считать.

Чего там считать, если у Каца деньги давно приготовлены и в кулак зажаты. Только мальчишка монету ему отдал, как Кац продавцу деньги сунул и пошел себе.

Парень сначала ошалел, а потом озверел. Не успели его удержать. А он еще и боксером оказался. Догнал он Каца... Короче, остался Кац без монеты, зато с битой мордой.

И все, кто его знал, были довольны, ибо проделывал он штучки такие не раз, не два...

Так что, как видите, зрелища были, а хлеба, настоящего коллекционерского хлеба, почитай, что и не было.

Выход был только один — ехать в Москву или Питер. Тем более что деньги на такую поездку были.

Просто так, сам по себе, поехать Михаил Николаевич не мог. Опасался семейных сцен и вообще...

Пришлось думать, искать причину, объясняющую необходимость поездки в Москву. Искал, искал, а нашла причину эту... Марина! Ей на работе предложили три путевки на теплоход, плывущий по Волге по маршруту Москва — Астрахань — Москва.

Путевки были дороговаты, Она сомневалась, но Михаил Николаевич своеобразно разрешил ее сомнения. Он пришел в профком на ее работе и выкупил эти путевки. Его там, конечно, знали, так что вопросов не было.

Решено было отправиться в Москву загодя, побыть там два-три дня, а потом уже отправиться в путешествие по Волге. Михаил Николаевич выторговал себе еще неделю в Москве на обратном пути. Поездка намечалась на середину августа и заканчивалась аккурат к началу учебного года, так что и аргументы у него были.

— Нечего Игорю школу пропускать, а у меня еще шмат отпуска остается! Раз уж я в Москве буду, то почему бы по Столице не побродить?

— Знаю я, где ты бродить будешь, — отвечала Марина, но, в общем-то, беззлобно.

Так и порешили.

В Москву поехали поездом и ничего, кроме скуки и мучений от вынужденного безделья, Михаил Николаевич не испытывал.

Зато было время поразмышлять. Он вдруг поражен тем, как сильно отвык-оторвался от семьи. Вроде бы, вместе живут, а все же...

Теперь, оставшись с ними надолго наедине (четвертого попутчика в купе не было), он чувствовал себя скованно и неудобно. Это, однако, скорее озаботило его, чем ужаснуло.

Он заставил себя привыкать к разговорам с Мариной (о чем?), к любопытству и непоседливости Игоря.

Привыкание это шло ни шатко, ни валко, но, все-таки, шло. Так что, по приезду в Москву, семья опять была семьей. Михаил Николаевич был доволен этим, хотя зверски устал.

Два дня, проведенные в Москве, пришлось «держат марку». Он водил свое семейство в зоопарк на Красной Пресне (две остановки

трамваем и он в обществе коллекционеров!), на ВДНХ (сто метров в сторону и он на сходняке!), по Красной Площади...

Потом был теплоход. Назывался он «Иван Сусанин». Каюта у них была большая и светлая с двумя кроватями (полками? койками?), расположенными одна над другой, и диванчиком для Игоря. Кормили хорошо и, положив руку на сердце, было интересно.

Углич, Кострома, Куйбышев... Вот в Куйбышеве ему удалось оторваться от экскурсии и побродить по городу. Города он не знал, бродил, в основном, по центру, чтоб не заблудиться и вовремя успеть на теплоход, но, все-таки, набрел на букинистический магазин, где ему удалось купить интереснейший нумизматический выпуск трудов Государственного Эрмитажа.

— Теперь будет что почитать, радовался он.

На теплоходе была отличная библиотека, но не терять же время на всякие там романы-повести.

Соседи предлагали сгонять пульку, но он, опасливо оглянувшись на Марину, отказался.

Марина, видя, что супруг все время при ней да при Игоре, отталяла. Жизнь налаживалась. Плыли они по потрясающе красивым местам с частыми «зелеными стоянками», где можно было искупаться, побродить по берегу, полюбоваться чудными волжскими плесами. В городах они исправно посещали экскурсии, потом, как и все, бежали по магазинам, покупая обновки.

На восьмой день пути они прибыли в Астрахань.

Как только судно пришвартовалось, как по палубе ударил топот множества ног. Целый десант астраханцев ворвался на судно, стучал в каюты, предлагая черную икру. Икра эта была упакована в пакеты по одному килограмму. Стоила она баснословно дешево — по пять рублей пакет, но много купить было нельзя, потому что в каюте холодильника не было. Купили один пакет и ели вволю.

Это, пожалуй, все, что запомнил Михаил Николаевич об Астрахани, показавшейся ему жаркой и пыльной.

Первая половина путешествия была окончена.

— Только половина, — грустно думал он.

Мысленно он был уже в Москве, но виду не подавал.

Обратный путь пролетел, или надо сказать проплыл, довольно быстро.

Еще день Марина с Игорем провели с ним в Москве. Они втроем отправились в ГУМ. Хотелось им купить то то, то это. Михаил Ни-

колаевич покупал им то, покупал им это. Все были довольны. Наконец, он отвез их на Киевский вокзал и посадил в поезд.

Ему предстояла неделя счастья, заполненная встречами, разговорами и, конечно же, покупками!

Вернувшись в гостиницу и не в силах дождаться утра, Михаил Николаевич принялся обзванивать знакомых коллекционеров.

* * *

Телефон зазвонил, когда Михаил Николаевич уже отобедал и размышлял над тем, не лечь ли передохнуть.

Звонил один из «стариков» и у Михаила Николаевича от приятного предчувствия стало хорошо-хорошо на душе.

Однако «старик» ничего конкретного по телефону не сообщил, а только условился о встрече.

Решили, что он подъедет к Михаилу Николаевичу часа через два.

Какой тут сон? Михаил Николаевич напрягся, как бегун перед стартом.

— Так, — размышлял он, — прижало старого черта!

Сам, будучи далеко не молодым, Михаил Николаевич упорно именовал коллег-однолеток стариками. Впрочем, так оно и было.

— А вдруг он купить что-то хочет? — пугал себя Михаил Николаевич.

Но, по зрелому размышлению, выходило, что этого не может быть. По его сведениям, а черпал их он в самых разных источниках, с деньгами у «старика» было полная «труба».

Пенсии тому никогда не хватало, а то, что можно было распродать, без ущерба для основной коллекции, тот давно уже распродал.

— Стало быть, деньги опять понадобились! Значит, принесет он что-нибудь на продажу. Интересно, что?

Михаил Николаевич порывлся на полке стеллажа, достал нужную папку и стал изучать всю, имевшуюся у него, информацию о коллекции коллеги. Честно говоря, он помнил все и так, но хотел быть стопроцентно уверен, что ничего не пропустит. Монеты, имевшиеся у «старика», лежали перед ним в виде записей и таблиц.

— Так, что бы я сам продал из этого? — позкзаменовал свою сообразительность Михаил Николаевич.

Ответ лежал на поверхности. Коллега собирал русскую медь и весьма в этом преуспел. Коллекция меди была весьма полной и тут Михаилу Николаевичу ничего не светило. Но была у коллеги неплохая подборка Анненских рублей, которая ему досталась це-

ликом, и которой он дорожил из-за великолепного экземпляра Гедлингеровского рубля 1736 года. У Михаила Николаевича такая Анна была, но худшей сохранности, хотя и более редкая разновидность. Она досталась Михаилу Николаевичу от известного Кишиневского собирателя, который, не зная, что это такое, таскал ее в коробке из-под чая наряду с другим, ничего, по его мнению, не значащим, материалом. Михаил Николаевич прямо обмер, когда ее увидел, а Кишиневец был поражен обилием монет, полученных за Анну.

Так что, вторая Гедлингеровская Анна была для Михаила Николаевича крайне желательна.

— Но одну он ее не продаст, — размышлял Михаил Николаевич, — без нее остальная подборка теряет смысл. Стало быть, придется покупать все. Он стал прикидывать стоимость монет, чтоб выйти на цифру, которую он готов будет заплатить. Выходило тысяч восемь.

— Собью до семи и куплю, — решил он, — в крайнем случае, дам семь с половиной.

На том он успокоился и стал дожидаться коллегу.

Михаил Николаевич не мог дождаться утра, чтоб начать задуманное. Он хотел встретиться с теми москвичами, которых он знал только заочно, познакомиться с новыми коллекционерами и, в первую очередь, побывать у Мошнягина. Он позвонил ему, как только счел, что время для звонка не слишком раннее. Тот пригласил его к себе на Донскую улицу, объяснил, как пройти к его дому от станции метро Октябрьская.

Днем эта встреча состоялась. Михаил Николаевич не помнил, как прошел, нет, пролетел он по тенистой Донской улице, как нашел нужный номер дома, как взлетел по лестнице на третий этаж, позвонил... Он шел в гости к Великому и ждал от этого визита многого, очень многого.

Хозяин сам открыл ему дверь, пригласил в кабинет. Кабинет был большой, немного темной комнатой. Слева, в углу стоял письменный стол, заваленный бумагами.

— Пишут... — неопределенно сказал Мошнягин, кивая на стол.

Посреди комнаты тоже стоял стол, большой и тяжелый. На нем лежали планшетки с монетами.

Советы — определил Михаил Николаевич.

Справа от стола стоял большой платяной шкаф. Левая дверца его была открыта, но вместо вещей, сверху донизу шкаф был начинен планшетами.

У противоположной стены стояли какие-то бюро и шкафчики. Как оказалось впоследствии, они тоже были с монетами. И еще там был книжный стеллаж, в котором, к удивлению Михаила Николаевича, были не только книги по нумизматике, но и томики стихов.

Хозяин пригласил присесть. Михаил Николаевич сел.

— Надолго в Москву? — спросил хозяин.

— На неделю.

— Где были? Что уже приобрели?

— Пока нигде не был. Вы — первый. Да и не знаю я никого.

— Ну, это дело наживное.

Разговор налаживался. Михаил Николаевич, мечтавший сразу же погрузиться в монетную тему, поймал себя на том, что с удовольствием слушает рассказ хозяина о том, как тот служил на строительстве Волго-Дона. (Как зашел разговор об этом Михаил Николаевич право не помнил).

Потом хозяин рассказывал о редких советских монетах, показывал их.

После этого перешли к России. Хозяин вынимал из шкафа планшеты, показывал монеты, рассказывал о них.

Монет было много и почти все хотелось купить.

— Я тут и сотой части не потяну, даже тысячной, — с горечью подумал Михаил Иванович.

— Это какая же коллекция должна быть, если мне только дубли показывают.

И еще одна мысль не давала ему покоя:

— А смог бы я так показывать свои монеты почти незнакомому человеку?

— Нет, не смог бы! — Честно ответил себе Михаил Иванович. Но обаяние хозяина было так велико, что он даже не почувствовал себя ущемленным.

Разговор, между тем, продолжался. Выяснилось, что хозяин монеты не продает. Но у Михаила Николаевича сделалось такое несчастное лицо, что хозяин пообещал сделать для него исключение.

Перешли и к этому. Купить, как я уже говорил, Михаилу Николаевичу хотелось почти все! Но он понимал, что это невозможно.

Да, был еще такой забавный эпизод.

— А у меня есть монета, — сказал Михаил Николаевич, — которой даже у Вас нет!

— Какая же? — поинтересовался хозяин.

— Гедлингеровская Анна 1736 года!

— Да, хорошая монета, — с этими словами Мошнягин поднялся, подошел к шкафу, достал очередную планшетку и поставил ее на стол.

Наряду с другими монетами там лежали три! Гедлингеровские Анны 1736 года!

— Двести рублей и любая из них Ваша!

Анну тогда Михаил Николаевич не купил, чем угрызался потом всю жизнь.

Зато приобрел он несколько, довольно редких, монет девятнадцатого века, отличный по сохранности рублевик Петра III и, о счастье, рубль Иоанна Антоновича.

Визит подошел к концу и безмерно счастливый Михаил Николаевич распрощался, унося с собой не только монеты, но и адреса коллекционеров и рекомендательные письма к ним.

С Мошнягиным он, в тот приезд, еще раз увиделся в Московском обществе коллекционеров на Краснопресненской. С тех пор они стали переписываться.

Из Москвы Михаил Николаевич уезжал окрыленным. Столько новых монет! Столько знакомых! Столько возможностей. Ему казалось, что целый мир открылся перед ним и манит, манит в свою солнечность. Правда, солнечный диск в этом мире был монетой, новой и сверкающей.

* * *

Монеты, принесенные «стариком» для продажи, были действительно рублями Анны Иоановны. Всего тридцать монет в отличном состоянии.

— Да, неплохая подборка, — похвалил Михаил Николаевич. — Ну, и что с ней станем делать? Кроме Гедлингера рубли-то все рядовые!

— А сохранность — вступился за свое добро оппонент. — И кроме Гедлингера тут редкости есть! У Полуйко...

— Полуйко, Полуйко, — Перебил Михаил Николаевич. — Только он один выискивает сотни разновидностей одной и той же монеты, только он и расценивает их по редкости. Своя рука — владыка!

— Так-то оно, так, — не сдавался «старик», — но все же...

Они еще долго говорили о достоинствах и недостатках, принесенных монет, причем Михаил Николаевич упирал именно на недостатки, тогда как оппонент сосредоточивал внимание на достоинствах.

Пришло время приступить к делу.

— Сколько за Гедлингера? — Спросил Михаил Николаевич.

— Продаются только все! — Как и следовало ожидать, ответил «старик».

Помолчали. Михаил Николаевич сделал вид, что думает, хотя все решил уже давно.

— Хочешь, бери все за восемь тысяч зеленных, — не выдержал молчание хозяин Анн, — не хочешь, другим отдам. Мне и так отдавать тебе монеты, как серпом по яйцам.

— Почему? — опешил Михаил Николаевич.

Он так поразился сказанному, что даже не успел обидеться.

— Да потому, что ты, как паук, сидишь и коллекцию каждого из нас, рано или поздно в свою паутину заворачиваешь! Ты же не живешь, а монеты копишь, а я и такие, как я, мы живем. Поэтому-то у нас денег никогда нет, и идем мы к тебе, и лучшее несем.

— Разве я вас зову? — тихо спросил Михаил Николаевич. — Разве это я тебе сегодня по телефону позвонил, это я монеты к тебе принес? Если я паук, то почему ты не пошел к другому? Сказать? Да потому, что другой заплатит тебе еще меньше!

— Семь тысяч мне за них уже дают, — сказал «старик», и Михаил Николаевич видел, что он не врет.

Обиды все еще не было. Была ярость, подавляемая, но от этого не менее жгучая. Где там обиде?

— Семь, говоришь, дают? А тебе мало? Ко мне пришел, еще сотню-другую вытянуть! Говори сразу и окончательно: — Сколько?

— Я уже сказал, что хочу восемь тысяч! — уперся тот.

— Восемь я тебе не дам, из принципа. Пауки столько не дают! Ты же к пауку пришел, не так ли? Я — не паук! А ты много хуже меня! Ты меня ненавидишь, но идешь ко мне! Кто же из нас хуже? — довольно несвязно цедил Михаил Иванович.

Сошлись на семи с половиной.

* * *

Сойдя с поезда, Михаил Николаевич отправился домой. Ему казалось, что стал он выше ростом и, вообще, значительней. Знакомства, приобретенные им в Москве, поднимали его статус, возвышали его в собственных глазах.

— Показать бы кому-то привезенное, похвастать...

Но он тут же отогнал от себя эту мысль.

— Незачем это! Лишнее!

Дома его ждали. Дома ему были рады. Памятуя о том, каким милым, внимательным и добрым был он в недавнем путешествии, Марина и Игорь скучали по нему. И он постарался не разочаровать их. Вечер прошел чудесно. И ни Марина, ни Игорь не знали того, как тяготится он этими разговорами, знаками внимания, покоем, которыми был так переполнен вечер. Он с облегчением вздохнул, когда они, наконец, пошли спать.

Теперь он был предоставлен самому себе, а стало быть, мог наслаждаться работой с монетами. Вроде бы, скажете, рутина. Достать монету, определить ее по одному каталогу, отметить там, затем сделать то же самое по другому каталогу, третьему... Но эта рутина была ему дороже всего! Монет он привез немало. Так что, когда пришло время ложиться спать, на часах было четверть четвертого ночи. Марина, не дождавшись его, обиженно спала. Он лег рядом, положил руки за голову. И опять, опять та же мечта-полусон, снова сумка с монетами. Петры, Петры, Петры...

Наутро приятное ощущение собственной значительности не покинуло его, а, даже, как-то расширилось, окрепло. Было воскресенье, он шел в общество. По дороге он стал думать о том, что сейчас будет рассказывать коллегам о Москве, о своих новых знакомых, среди которых были люди, пользующиеся великим почтением. Но тут же остановил себя.

— Незачем это, — поучал он сам себя, — могут спросить о том, что он привез. А что тогда отвечать. Рассказывать о своих покупках? Незачем! Расскажи, потом покажи... Еще этого не хватало!

Стало немного обидно. Столько впечатлений, столько новых монет, переведших его коллекцию на качественно новый уровень, а никому ни пол слова. Впрочем, почему ни пол слова? Он же купил много монет для обмена-продажи. В Москве многое можно купить по дешевке. Туда-то все везут! Так что, есть у него с собой то, что охотно показывать можно. А заодно и похвастать знакомствами можно будет.

Успокоив себя таким образом, он прибавил шаг.

Вот и дворец студентов. На входе стоял его давний знакомец, так что можно было даже не предъявлять свою бардовую членскую книжку. Его тут же обступили, спрашивали о том, почему он «проказнил» целых три воскресенья и, конечно, о том, что же он привез.

Тут он не спешил. Он прошелся по рядам, постоял, поговорил о том, об этом, выясняя ситуацию. За то время, что он путешествовал, некоторые изменения все же произошли. Появилось много новых коллекционеров, которые недостаток знаний возмещали обилием денег и напором. Все, предлагаемое к продаже, сметалось мгновенно, цены росли. За рядовой рублевик Петра Первого, за который раньше просили пятнадцать рублей, а отдавали за тринадцать четырнадцать, теперь стоил двадцать-двадцать пять. И то, попробуй, найди! Это было ему на руку. Михаил Николаевич решил продать кое-что из привезенного. Монеты были разложены в два класса. В один, что похуже, в другой, что получше. Самые интересные дубли, аккуратно завернутые в мягкую салфетку, лежали во внутреннем кармане и к продаже не предназначались.

Он вынул первый класс и протянул желающим. Его обступили. Посыпались вопросы о цене той или иной монеты. Вопрос ценообразования он решил просто. Цену, существовавшую до его отъезда в Москву, он увеличивал вдвое.

— Уступит всегда успею, — решил Михаил Николаевич.

Некоторые отходили. Некоторые начинали торговаться, но он, пока, стоял на своем. Увидев, что он непреклонен, люди, наименее стесненные в средствах, начали покупать. Тут сыграло свою роль и стадное чувство, так что все содержимое класса испарилось минут за тридцать. Тут он взял себе передышку. Легкость, с которой «улетел» совершенно рядовой материал, его поразила.

Перед тем, как приняться за второй класс, Михаил Николаевич решил передохнуть. Старые знакомые, к которым он подошел, встретили его упреками.

— Всяким залетным, без года неделя, любителям монеты показываешь, продаешь, а старым знакомым что?

— Много с вас возьмешь, — подумал Михаил Николаевич, присаживаясь рядом на ребристую скамейку.

Но ответил совсем по другому.

— А для старых знакомых у меня другой класс есть. Гораздо получше! И еще кое что в загишке.

У него, вообще, такое правило было:

— Уважительно и вежливо разговаривать со всеми: будь то пацаненок какой-то или дилетант-профан, старушка какая-то или вот, как сейчас, коллеги-зубры.

И это правило не раз себя оправдывало, и приносил пацаненок или старушка когда никогда что-то интересное.

И еще, расплатившись за купленную монету, он не спешил уйти, а долго расспрашивал о том, что есть еще дома. Иногда дома было что-то еще более ценное. Был как-то случай. Принесла одна старушка продавать два рублевика. Триста лет дома Романовых, юбилейные. Они очень часто попадались и стоили не более двух рублей за штуку. Старуха хотела по три. Никто у нее не покупал. Она покорно ходила от одного к другому коллекционеру, протягивала им монеты, но безуспешно. Михаил Николаевич не отмахнулся от старухи, поговорил с ней, узнав, что дома еще такие монеты есть, не поленился посадить старушку в такси и подъехать к ней домой. А дома у нее действительно был еще с десяток юбилейных рублей, но среди них Гангут⁵ и лягушонок! И все ему достались по три рубля. А ведь Гангут уже тогда стоил больше ста! Попробуй, не поговори после этого со старушкой или там стариком.

* * *

«Старик» ушел. На столе перед Михаилом Николаевичем лежали рублевики Анны Иоановны. Ровно тридцать штук и среди них, вожделенный Гедлинггер. Но радости не было. То, что услышал он от «старика» то, что впервые было высказано ему в лицо, было для него шоком.

Так чувствует себя человек, неожиданно узнав, что неизлечимо болен. Да, все признаки болезни были налицо, да, он не раз думал о том, что заболел именно этим, но была, была надежда, что сделает он все анализы, отнесет умному врачу, а тот скажет:

— Чепуха, уважаемый. Попейте эти капли, попринимайте эти таблетки и, как рукой, снимет.

Но вдруг, о ужас! Врач говорит иное. И все. И наступает временный столбняк отчаяния. Потом человек слегка отходит, успокаивается и начинает барахтаться. Потом... Но сначала наступает состояние, схожее с тем, что сейчас испытывал Михаил Николаевич.

Он, конечно, отдавал себе отчет, что коллеги относятся к нему, скажем так, неоднозначно. Но не знал, не предполагал силы и мощи той ненависти, которую обрушил на него его недавний визитер.

И главное, Михаил Николаевич догадался, что так к нему относится вся «старая гвардия», а может, даже, и молодые-ранние.

⁵ Юбилейный рубль 1914 года, посвященный столетию Гангутской битвы.

Из могучего всесильного коллекционера-великана он превратился вдруг в изгоя, всеми ненавидимого.

— За что? — шептал Михаил Николаевич.

— За что?

Он, конечно лукавил. Было за что, и он это знал. Знал, но до конца не верил в это, гнал эти мысли прочь. Потом он стал оправдывать себя. Но для этого нужно было припомнить все и каждому поступку найти оправдание. Но это было невозможно! Так много всего скопилось за годы и годы коллекционирования, так много всего...

* * *

Так много материала и сразу Михаил Николаевич не демонстрировал еще никогда!

Классер рвали из рук, посыпались расспросы:

— Где взял?

— Так я же по Волге плавал! — туманно отвечал Михаил Николаевич.

Не хватало еще раскрывать источники добычи монет. Коллегам только палец покажи...

Часть монет из второго классера была продана тут же. Оставшиеся монеты он договорился обменять на днях. О монетах, лежащих у него во внутреннем кармане, он даже не заикнулся.

— Не время еще, — решил он, — и предложений особо интересных нет. Так что пускай, пока, полежат.

Дома, пересчитав выручку, он был потрясен тем, что уже окутил все расходы на все монеты, приобретенные им в Москве!

— А ведь, сколько еще осталось! — Радовался он.

Захотелось теперь же, не медля, снова ринуться в Москву. Но это было невозможно. Не так поймут дома, не так поймут на работе.

— Зачем нужны семья и работа, если они мешают жить так, как я хочу? — досадливо думал он.

Все раздражало его. Хотелось покоя и свободы.

— Уйти, что ли от них? — вдруг подумал Михаил Николаевич.

Он тут же, возмущенно, отогнал эту мысль.

Но только отогнал. Мыслишка эта трусливо отбежала в сторону, как дворняга, на которую накричали. Но только отбежала и... стала поодаль, дожидаясь момента, когда можно будет вернуться.

Потянулись будни. Работа, пятачок на Греческой площади, дом. Все, как и раньше.

Но уже вдохнул, вдохнул он воздух, возжеленной и понятной только ему, свободы, почуял запах денег. И не просто денег, а денег дающих возможности!

Возможности чего?

Он сам вразумительно не мог ответить на это. Лишь одно он знал точно. Семья — это досадная помеха для коллекционирования. Или для того, что денег побольше заработать? Нет, пожалуй. Деньги были нужны для того, чтоб покупать монеты. И только! Он почувствовал в себе желание и силы тягаться не только с местными собирателями, но и со столичными. Со временем, конечно... Но для этого нужна была свобода! Станный человек, он видел свободу в том, чтоб любыми способами пополнять свою коллекцию, ни с кем, при этом, не считаясь. А семья была рядом и требовала и денег, ну с этим он как-то бы примирился, и внимания, и времени. А, главное, он был подотчетен! Жена, сын стали преградой между ним и тем, что считал он самым прекрасным на свете. А самым прекрасным на свете были монеты!

Монеты лежали на столе. Ровно тридцать штук. И среди них красавица — Гедлингеровская Анна. Но радости не было. Была горечь.

— Неужели, неужели все так обо мне думают? — задавал и задавал он себе вопрос, вышагивая по комнате.

Заметьте, что Михаил Николаевич даже не задавался вопросом:

— Неужели, неужели я такой, каким выставил меня этот человек?

Он негодовал:

— Паук! Почему паук? Разве я заставлял, затягивал кого-то?

Но ему и в голову не приходило, что сети, расставленные им на каждого коллекционера, на каждую монету, сродни паутине. Он ведь прекрасно умел вычислить кто, когда и с чем придет к нему. Да еще и подталкивал к этому. И не он ли скрупулезно высчитывал, учитывая все факторы, кому и сколько он станет платить.

А монеты все еще лежали на столе, но ни их отменное состояние, ни предстоящая приятная и важная работа по их классифицированию, ни, не менее приятное, заполнение пустующих ячеек, ну, просто, ничего не радовало Михаила Николаевича.

Впервые за много лет, он ощутил себя одиноким, отделенным каким-то барьером от остальных людей.

— Если б они знали, если б они знали... — повторял почему-то он, но остальная часть мысли никак не формулировалась.

— Что знали? О чем знали? — Он и сам, пожалуй, не в силах был ответить на это.

Да и что, такое особенное, должны были знать о нем люди?

Он снова начал кружить по комнате, что-то бормоча и натываясь на стул.

Гадкое чувство никак не проходило. Он подошел к окну, глянул вниз. Там ничего не было. Михаил Николаевич снова закружил по комнате, вышел в кухню, напился, снова подошел к окну, на сей раз кухонному. По двору, направляясь домой, шел давешний «бомж» с каким-то свертком, похожим на картину, в руках.

Михаил Николаевич отошел от окна, вернулся в комнату.

— А, все-таки, вышло по-моему! — вдруг произнес он, остановившись.

— Обхамил, сделал больно, но отдал монеты по моей цене!

Но и это не успокоило его.

— Сказать такие слова и не хлопнуть дверью, не уйти...

Вся обида и горечь вдруг перелились в другой сосуд, и назывался сосуд этот презрением. Он презирал недавнего оппонента до отращения, до судорог.

Вдруг, впервые в жизни, ему захотелось закурить. Он не знал, не ведал вкус табачного дыма, но был уверен, что закури он, тотчас станет легче.

Монеты все лежали на столе, но прикоснуться к ним было мучительно.

— Какой ценой... — вдруг шевельнулась мысль.

Он осознал, что цена этих монет высока, неизмеримо выше денег, заплаченных за них.

— Ох, как пакостно на душе!

— Душа... — снова из бессонницы ночной вернулось к нему это слово, даже не слово, понятие, которое он не в силах был понять.

— Душа... Что это? Есть ли она? Но болит!.. А ведь, если можно сделать больно душе, то и другое с ней содейать можно! Например, погубить! Не поздно ли я задумался?

Он пытался отмахнуться, уйти от ответа.

Но душа болела, и это было хорошо, но Михаил Николаевич не догадывался об этом.

* * *

Догадаться о мыслях мужа Марина, конечно, не могла, но почувствовала неладное. И это неладное сразу связала с монетами. Она

даже пожалела, что причиной всему не женщина. В этом случае она могла бы, хоть как-то, бороться. Но нет, противником ее была недобрая сила, именуемая коллекционирование, чуждая ей и непонятная. Она пыталась отвлечь Михаила от монет, взваливая на него груз домашних проблем, но только раздражала его. Тогда она оставила его в покое.

Свобода обрушилась на Михаила Николаевича! Он ликовал. Можно было до ночи пропадать у кого-то из коллег, совершая какой-то необыкновенный обмен, можно было сорваться в конце недели в Москву или Питер. Ни упреков, ни споров, ничего! Это не насторожило его, а лишь обрадовало. Они зажили каждый своей жизнью, почти ни в чем не пересекаясь. И это не день, не два, не недели, месяцы, а годы и годы.

Как не пересекаясь? А Игорь?

А Игорь рос, отходя от отца, все более и более прикипая к матери. Живя в одной квартире, они и встречались-то мельком.

У Игоря появилась девушка, а вместе с ней и материальные проблемы. Мать самостоятельно их разрешить не могла, а отец, давая ему деньги, долго и удивленно смотрел на него. Так что, просить у отца хотелось все реже и реже. Он начал потихоньку распродавать свои монеты, этого, пока, хватало, а что будет дальше, он и не думал. Деньги уходили быстро, он снова что-нибудь продавал. Ему вдруг начал нравиться этот процесс. Это было как болезнь.

* * *

Михаилу Николаевичу нездоровилось. Началось все с пресловутого насморка, который, как успокаивал он себя, должен был пройти за неделю. Но насморк не проходил, а как бы видоизменялся. Грудь заложило, мучил кашель. В довершение ко всему, побаливало сердце, так что нечего было и думать об аспиристине с горячим чаем, малине.

Михаил Николаевич кутал горло и грудь шарфом, спал, не снимая свитера, но не отпускаяло. Температура была не большой, всего-то 37,3, но ломало его изрядно. Он все больше лежал, изредка вставая и подходя к окну. На улице было дождливо, видимо, прохладно. По двору прошел объект его постоянных наблюдений, неся в руках какие-то банки с краской.

— Ремонт, что ли задумал? — определил Михаил Николаевич, но тут же засомневался:

Какой еще ремонт у бомжа?

Он отошел от окна, начал рассматривать свое жилье. Потолки изобиловали мелкими, затейливыми трещинами, кое-где пузырились обои.

— А ремонт не помешал бы! — Подумал он, но тут же отмахнулся от этих мыслей.

В довершение всего, вышли продукты. То есть, если пошарить по сусекам, то что-то найти и можно было, но полноценной еды не было. Да и есть не хотелось.

Он лежал, укрывшись пледом под подбородок, и думал.

Думал он, в основном, о том, что вот и куска хлеба некому подать, что годы прошли, а, в итоге, одиночество. Ни-ко-го!

Мысли эти, назойливые и обидные, как бы примиряли его с самим собой, отгоняли другие, даже не мысли уже, — воспоминания.

* * *

А вспоминал он о том, как, однажды придя домой, он обнаружил, что ящик письменного стола открыт, а монеты, лежавшие там, чепуховые, конечно, но во множестве, исчезли.

Вспомнил, как метался он по пустому дому (Марины и Игоря не было), все более и более разъярясь.

— Ограбили, — думал он, — обокрали!

Вспоминал, как несся в милицию, давал показания, писал заявление, требовал покарать виновных.

А виновным оказался... Игорь, взявший эти монеты для каких-то своих, вполне еще мальчишеских целей.

Потом, осознав происшедшее, он пытался забрать заявление, умолял, даже плакал.

Поздно было!

То ли кампания тогда какая-то была, то ли взятку надо было дать, а он не дал, но дошло дело до суда.

И хоть просил, молил он на суде о снисхождении, говорил, что никаких претензий не имеет, умолял и снова плакал, но раз был суд, то был и приговор. Два года условно!

А Марина? Где была Марина? Михаил Николаевич помнил ее бледное от ужаса лицо, помнил ее глаза, полные презрения и ненависти, но не помнил ни одного ее слова. Их просто не было!

На следующий день после суда Марина и Игорь навсегда ушли из дома и, как оказалось, из его жизни.

Он пытался их найти, даже нашел в Сумах, умолял вернуться, каялся, но все напрасно.

Он уехал, потом вернулся опять, но они не желали даже говорить с ним.

Они больше не слышали его. Их больше не было!

Он пытался снова и снова, но только вынудил их покинуть Сумы. След их потерялся.

Время шло. Периодически он еще пытался найти их, надоедал Марининым родителям. Те тоже не желали говорить с ним, лишь однажды, лет через шесть, сообщили ему, что Марина умерла.

— Нет ее, нет совсем, а Игоря не ищите! — сказали ему тогда. Так ли это было? Возможно и так, но он все надеялся.

С годами надежда эта слабла, потом и вовсе исчезла.

Постепенно он привык к тому, что один, хотя, поначалу, трудно было. Казалось бы, жили нехорошо, мешала семья ему, а оказалось, что без них труба. Тяжко было!

Только монеты, ставшие причиной всему, стали и его лекарствами.

Он садился за стол, вынимал планшетки и... все болезненное и страшное уходило в сторону, отпускало его.

Он ожесточился. Годы шли, и вина его казалась все меньше и меньше, а наказание за нее непомерно тяжелым.

— За что вы со мной так, — спрашивал он у стен и потолка, — за что?

Он возненавидел квартиру, в которой жил, где все напоминало ему о жене и сыне. К тому же квартира была огромной для него одного. Он перебрался в одну из комнат, запустив остальные, но легче не было. Его навязчивой идеей стало поменять жилье.

Однажды, покупая коллекцию у знакомого, уезжавшего в Германию, он обратил внимание, что тот достает монеты, заходя целиком в платяной шкаф. Его это удивило.

Хозяин, заметив его удивление, показал ему сейф, вделанный в стену, как раз позади шкафа. Это Михаилу Николаевичу очень понравилось.

— Мне бы такой, — позавидовал он.

— Только вместе с квартирой! — отвечал хозяин.

— Согласен, но тогда и вместе со шкафом!

Шутки шутками, а продажа состоялась. То есть, как бы не продажа, а сложный обмен, в результате которого Михаил Николаевич стал владельцем и квартиры, и сейфа, и солидной доплаты за свою трехкомнатную.

Так теперь и жил. Время шло...

* * *

Прошла неделя. Хворь потихоньку отступала. Сначала упала температура, потом постепенно прекратился кашель.

Михаил Николаевич уже не лежал в постели и вполне себя обихаживал. Сил, конечно, было маловато, да и с питанием было плохо.

В конце концов, он, все-таки, выполз из дома и дошел до ближайшего магазина. Там и отоварился. Не до экономии было. Ноги бы не протянуть.

Вернее, он об экономии этой даже не вспомнил, покупая продукты, баловал себя сверх всякой меры. Оказалось, что в этом тоже есть своеобразное удовольствие. На улице он встретил своего заочного знакомого-«бомжа» с собакой на поводке. Пес был породист и ухожен.

— Вот, приятелем обзавелся, — решил Михаил Николаевич и ему стало завидно.

Доставив себя с продуктами домой, он почувствовал себя уверенней.

Он снова стал широко общаться с коллекцией, наконец-то классифицировал те злополучные Анны. Выходило, если смотреть по каталогу Полуйко, то все эти монеты можно было смело класть в коллекцию, ибо все они. Хотя незначительно, но отличались от имеющихся у него. Только Гедлингеровская Анна сразу заняла свою ячейку в планшете. А остальные... впервые, он не знал что делать. Да и монеты, откровенно говоря, внушали ему антипатию.

— Зачем мне такие мелкие разновидности, — думал он, рассеянно перебирая монеты руками.

— Но, с другой стороны, они уже есть!

Можно, конечно, было их продать, как и собирался он сделать с самого начала. Отобрать те, которые сохранней его экземпляров, заменить, а все ненужное продать. Просто и ясно. Но душа коллекционера протестовала.

— Пусть полежат, пока, а потом видно будет. Глядишь, и обмен какой-нибудь подвернется.

Но, почему-то мысли об обмене, о любом общении с себе подобными, пугали его. Он больше не хотел видеть кого-либо, разговаривать, пожимать руки, улыбаться.

Он хотел покоя, смутно понимая, что покоя не будет.

А будет тяжелая железная дверь, огораживающая его от всего мира, решетки на окнах. То есть будет такая же тюрьма, как и та, которую он чуть не уготовил сыну. И не выйдет Михаил Николаевич

из нее никогда, ибо это — его тюрьма! И заточил он в нее себя сам! И нынешнее положение свое и считает он истинной свободой.

А может это и так, ибо в страшном нынешнем бытии, среди мерзкой суеты этой обидной жизни, он живет в своем, придуманном и взлелеянном мире. И не нужен ему другой.

Только иногда, по ночам, когда будут мучить бессонница и мысли о душе, он будет метаться и спрашивать:

— Для кого?

Кто ответит ему?



Александр Самарцев

/ Москва /

■ ■ ■

Товарный дернулся и закрипел
во всем прокуренном гомере,
и монастырь с холма, и серый-серый сквер
ему объятий эхом наревели.

Халупы вытрясут, где Германн, где Муму?
на главной площади средь школьного навала
я знал родство, но пеналь не возьму,
апрель расслабился, и трещинка взбежала

по куполу лазоревых мозгов, —
сiju с медбратьями, и матерею, дую,
от пижм и ландышей оглох
в соломку слуховую.

Мазут родительских суббот
переминается в Рубёжном.
Виктория — два пальца — и за борт,
познай порожнее порожним.

Всё едешь под воду, как в раскоряку вяз
силён уловами на том же месте.
По-пионерски нам попутный газ
пылает, нимб отняв у Пресли.

Над этой доброй гарью пронеси,
лучится кисть, хромает голос хмелем,
всяк, всяк слепец, перевирая небеси,
не гексогеном ли подбелен?

Закашлял пригород от оперенья стрел,
белье сушить развесил всем по вере,
где свой особый путь червяк проел,
а высунься, — в своем ли он гомере?

Охранник в семечках, как ледоход,
устал от кладбища громоздкой
прикушенной слезы — её вот-вот
засыплет дарственной коростой.

Нет на засыпку мира без вражды,
прицел куда-то вниз талдычит,
неловко перекрестятся вожди,
дороги дембельны, а тёлок пруд пруди
за серым склоном молодых табличек...

Сергей Тетерин

/ Москва /

■ ■ ■

Который час? — не спрашивай меня,
прохожий осторожный, не отвечу.
Фонарного фанерного огня
пустая площадь и заря навстречу.

Случайно, неосознанно сошлись
и разойдемся по своим свободам,
которые то выходом, то входом
нам кажутся, то — переулком вниз.

■ ■ ■

Ведь им даже в аду не гореть...
Представляешь, у них по-другому:
Что для нас одинокая смерть,
То для них — возвращение к дому.

И не то чтоб на каждом углу,
Но для жизни достаточно часто
Я встречал эту сволочь в миру
И раскланивался несчастно.



Ольга Зондберг

/ Москва /

Из повести
«Палингенезия»

Поплавский

Он спит в кафе, держась за край стола.
Во сне снимает кепку, и сонливо
выводит на стекле *«lumiere astrale»*
железной кистью с грифельным отливом.

Запоминает беглую строку —
«Какой поэт не любит гладить кошек»,
и забывает эту чепуху,
когда идет гулять и видит лошадь.

Разглядывает мелкие черты
лица на аверсе монеты мелкой.
Устав до наступленья темноты,
ложится на спину и на скамейку,

не зная, что поверхность холодна,
что мимо едет девочка в дормезе,
и ей от нетерпения и сна
темно дышать, как яблоку на срезе.

1997

■■■

Я рад, что тебя променяли на скит.
Твоя голова, понимая, летит,
Хоронит во рту травоядный оскал
И праздно плюет на Латинский квартал.

А дерево ясень в осеннем кафе
Стволится сквозь осень в осеннем кафе.
Я также мотор-голова-машинист
И так же роняю детали на свист.

1997

■■■

Сверху крышка, слева дверца, —
Можно в комнате хранить
Или вынести из сердца
И нарочно уронить
Гроб дубовый, шкаф зеркальный
На траву, куда опять
Со считалочкой пасхальной
Вышел зайчик погулять.

1995

Павел Маслак

/ Киев /

Окамень

Из цикла «Золотые Руны.
Психоделические рассказы»

Говорить он начал буквально так:

— Вам хочется меня выслушать? Извольте. Только не спрашивайте когда и где это произошло. Происходит.

«Когда». А что вы, собственно, знаете о времени? И есть ли оно вообще? Сами подумайте — о нем вы можете говорить только условно. Все эти — «вчера», «много лет назад», «вечность тому» — существуют только в вашем представлении. Вы просыпаетесь утром, осознаете себя, но где гарантия, что «накануне» (назовем это так) вам не ввели в мозг какой-нибудь электродик или раствор, которые и создали у вас ощущение памяти, наполненности событиями, а на самом-то деле они — просто-напросто сочетание определенных молекул или грамотная комбинация токов...

«Где». Та же история. Какая разница — в верхнем или в нижнем мирах — они по образу почти не отличаются. А в своих снах вы посещаете места куда более отдаленные, чем где-либо.

... Это был июль. Да, самое начало июля. Я вышел из своей каюрки, каплей заскользил по ребристым ступеням, затянутым пересохшей плотью пыли, и замер на площадке четвертого этажа: единственная дверь была распахнута и кивала сквознякам. За дверью жила моя квартирная хозяйка. Не то чтоб я боялся встречи с ней, но с некоторого времени у нее на лице появился серовато-серебристый глянец и редкие движения детородного тела ее стали копотливыми. Сие могло означать только одно — старуха примкнула к племени «условноживых», а для чего мне созерцать окаменевшую глыбу с выступленными глазами? Вдруг она сейчас именно и «выкристалли-

зовалась»? («Выпала в осадок» — буквально так сказал мой приятель Сумихин.)

А впрочем, я слишком много болтаю.

Все, абсолютно все, происходит не вдруг. И окаменевшая мегера, подзабытая несуществующими родственниками, подтверждает факт. Ведь когда ее... утилизировали, окаменение уже росло и расширялось. Вот и Сумихин, с которым я прямо-таки столкнулся в двух шагах от дома, ухватил меня за руку и затараторил, гоня взвинченный взгляд по сторонам:

— Скорее! Пойдем! Я нарочно за тобой побежал — там такое!

Посмотреть действительно стоило. Вам, должно быть, знакомы эти летние кафешантаны: истошно выгнутые стулья подле дачных столиков, пестрые зонты, частокол невысокого забора, и жара, и пыль, и снующие прохожие. К такому месту и подвел меня взбудораженный Сумихин. Народу было много, но все больше публика случайная и озабоченная, молчаливая, один только нищий на углу не своим, но профессионально поставленным голосом, зывал.

— Вон видишь, видишь? — шипел мне в затылок Сумихин.

Я протолкнулся взглядом через чьи-то рослые, в мраморных прожилках, уши.

Каменный старик сидел на стуле неестественно прямо, запрокинув голову, прицелившись наконечником кадыка в возбужденные лица. Его рука уже намертво сжимала поводок; несколько позаброшенного вида пес то утробно подвывал, то, дыбя шерсть, бросался на работников санитарной службы. Белохалатники боязливо отскакивали, отмахивались топорами, так и не решаясь приступить к своей работе. Это могло бы продолжаться до морковина заговенья, но поводок лопнул, пес налетел на заборчик, перепрыгнул и скрылся в забурлившей толпе.

— Миколка, давай! — облегченно, едва не радостно, выпалил старший службы.

Ражий парень — щербатый, рыжеволосый — вразвалку приблизился к старику, размахнулся топором и — обухом по голове. Осколки полетели врассыпную. Профанированное тело с грохотом повалилось ниц, раскололось на куски; кисть со сцепленными пальцами выскользнула из рукава и, наматывая поводок, покатилась, да так и ткнулась в грубый башмачок. Баба заверещала дудой, ее под руки увели.

Вся санитарная служба принялась за дело. Одни стучали топорами — дробили, крошили, другие сгребали образовавшийся песок и щебень, третьи по цепочке передавали заполненные ведра к грузовику. Надо сказать, что после окаменения вес тела увеличивается в несколько раз, и утилизация — это тяжкий труд. Вскорости все было



В.К.
99.

Б.Констриктор, графика, 1999

закончено, и народ начал разбредаться. Сумихин — вот иронический человек! — подобрал незаметно отлетевший осколок («на память»). В тот же день я выменял его за зеленую коробочку. Но о ней ни слова!

Бессонными ночами в своей крошечной клетушке я рассматривал этот каменный мизинец. Душно мне было в моей каморке, словно сама пустота сгущалась вокруг меня и затвердевала. А ведь пустота может быть твердой. И если просто пустота вселяет трепет оттого, что тебе некуда идти, то каменная страшна вдвойне — нельзя ни пошевелиться, ни слова молвить...

Что ни день, прибегал ко мне Сумихин, и еще с порога слышалось неизменное:

— Все в постели валяешься? Чего хандришь? Тут такие события разыгрываются!

В самом деле, в это время происходило много жуткого и зловещего. Уже нередки были случаи, когда люди окаменевали прямо на улицах. Застывшая мать с орущим ребенком на руках. Пешеход, рухнувший посреди мостовой. Водители, чертыхаясь, объезжают человеческие обломки. Но, как ни странно, — паники не было. Ко всему то подлец-человек привыкает!

— ... вот он на этой тумбе, в парке, так второй день и стоит! — продолжал тарахтеть Сумихин. — Но ведь процесс может затянуться до месяца включительно — это, заметь, официальная наука говорит!

— Ничего твоя наука не знает.

— Э, брат, ты естествознание не попирай! И причину найдем, и лекарство отыщем. Профессор Казанцев уже почти установил, что все дело в цепном кремнеорганическом самообразовании, — Сумихин многозначаче вытянул палец.

Я не мог на него смотреть без содрогания.

— Подведет тебя *твое* самообразование, — желчно намекнул я на брошенный университет и страсть к научно-популярным брошюрам.

— Есть и другие идеи, — с достоинством парировал Сумихин.

— И тут ты не прав. *Идея* может быть только одна.

А к тому времени я уже был одержим ею. Я знал, что происходит, и видел, как можно уйти. Но все лежал на своем вечном диване, и думал, думал... Зол я был тогда и раздражителен. Ничтожный жук, растерянно петлявший в пустом пространстве моей комнатки, вызывал желание чуть ли не подняться и заняться поимкой. Смех на лестнице — за дверью — казался реальным воплощением самых муторных архетипчиков...

Только Сумихин и не давал соскучиться.

— Послушай, что я сегодня ночью накропал. — И задекламировал, словно в полнолуние:

О, ответь на любовь мою пламенную,
Полюблю я тебя даже каменную,
Полюблю тебя монументальную
И холодную, без фаты фатальную...

Я всегда поражался — отчего у кондовых технарей патологическая склонность к стихотворству? Причем, в отличие от обычных графоманов, именно эти деятели всегда воспринимают критику с благодарностью.

— Рифмы у тебя уж очень на один покрой. А так — все правильно. Действительно, я слышал — женщины частенько каменеют в постели.

— Это ты здорово загнул! — обрадовался Сумихин, скверному впрочем, каламбуру и зачистил: — Да уморы-то на каждом шагу. Сейчас мода на атлантов. Ты вот лучше по городу походи, посмотри. Десяток встретишь, слово даю. Кто уже полностью в осадок выпал, кто еще переминается час от часу...

А ведь подумать — заметил ты, что мизинец на правой руке не гнется и, положим, серость глянцева на лице, так залезай на любой пьедестал и... Памятник самому себе через некоторое время. Подождать, конечно, придется, но, как говорит Сумихин, — не более месяца.

— Твоя идея как, уже вызрела? — в благодарность за добрый отзыв о стихах, Сумихин решил поговорить о моем.

— Это у тебя возле носа что-то вызрело. А идея очень даже проста. Признай — нет разумного объяснения тому, что происходит с нами. Теперь представь, отвлеченно конечно, два мира, словно два полюса, которые влияют друг на друга неразрывно.

В первый раз я полностью высказал словами все надуманное. Эти два мира — двойники в одной связке. И различие между ними онтологическое, так сказать. Духовное и материальное в этих мирах имеют противоположное значение. Заболит, скажем, у меня душа, и сразу у моего двойника из нижнего мира телесный недуг случится. Или они там у себя каким-то общим замыслом объединятся, а у нас тут же год урожайным выдастся. Напишет Сумихин стишата о страстной любви, и в нижнем мире счастливая семья возникнет. Ущербная, правда.

— Или возьмем секту «Инфернальная Стезя». Они души людей делают беззащитными, а в том мире, стало быть, тела незащищенными для болезней становятся, — Сумихин прямо загорелся моей идеей, что меня подивило. — Интересно, а каков мой двойник?

— Скорее всего — карлик с прыщавой душой.

— Это у меня-то душа мелкая? А как тогда твой смотрится?

Задел я его, задел, но попытался ответить беспристрастно:

— У моего двойника тело накачанное, сильное. А душа, — я глянул в оскол зеркала, стоящий на комод, — неприглядная у него душонка.

Сумихин долго у меня тогда пробыл, все про идею выпрашивал. Но до конца так-таки не понял. Не смог он своей сутью постичь, как можно из одного мира в другой переместиться, сохранив при этом и тело и душу свою с тем же знаком. Ну, да Бог с ним. Это ведь у меня мизинец не гнулся, и мне спастись надо было. Тот самый, выменянный у Сумихина, глиняный палец указал мне путь, вошел он в мою душу, крепко вошел, сросся с нею. Но и тяжело мне было в последние дни, боялся я, что не успею.

... Зато здесь теперь мне так покойно! Всему радуюсь, каждому дню, даже насекомое какое пролетит — а смеюсь... И это вовсе не от успокоительных уколов, которые прописал Доктор Смерть (так мы называем главврача за глаза — они у него добрые). Просто теперь я *здесь*. В этом мире невозможно превратиться в камень. А руки у меня всегда за спиной связаны, чтоб видом моего пальца других не тревожить...

Мы прошагали по коридору к выходу.

— Чего скажешь? Документов на него никаких нет, родственники не разыскивают.

— Четко видно — хочет мозгляк избежать воинской службы. Косит, сука, точно косит под психа.

— Ну и черт с ним, — военком сплюнул густой слюной себе на рукав. — Значит, расстрелять. Распорядись, — повернул он голову к адъютанту, — анагаму этого сегодня же вечером в расход пустить.

Горбун почтительно изогнулся и молодецки блеснул своим единственным глазом.

— Только руки ему не освобождать, — добавил я. — На всякий случай.

Жилистая лапка карлика сплела паутину слов на гербовой бумаге, комендант подмахнул не глядя, ткнул перстнем в застывающую слюну, скрепил и дал документу жизнь.

— Может, пропустим по пиву? Нарушь свой обет, поддержи. А то у меня, после вчерашнего, голова прямо каменная...

В конце концов, можно же хоть иногда развязать своей душе руки? И я ответил просто:

— Угу.



Леонид Раскин

/ Москва /

■ ■ ■

Мне мало воздуха, мне много января...
Когда российский снег падёт на сердце краем,
Позволь мне, Господи, ступить в Твои края,
(Там, в зарослях малины за сараем),
Где буду встречен и привечен я,
И узнан по приметам бытия,
И нежностью предвечной овеваем.

■ ■ ■

И мы, любимая, умрём.
Представь: каким-нибудь воскресным
Осенним бестелесным днём
Под небом пасмурным и пресным
Мы, взявшись за руки, вдвоём,
Уже бесплотные, идём
(Как по бродвеям шли и пресням)
В страну, где во плоти воскреснем
И вечной жизнью заживём.

■ ■ ■

Когда зима, когда лишь совесть греет тело,
Как смерть, близка стезя (смотри, не провороны!)
Той мысли, что с небес июльского предела,
Словами окрылясь, на свет стихов летела,
Как Божий ангелок на дьявольский огонь.



Когда оборвётся полёт образцово
И кончатся разом восторг и болтанка,
Мы рухнем у дальней стены Вострякова,
Москвич-невеличка и петербуржанка,

Приткнёмся в ограде гнездовья родного,
В небесной скворечне, чьё имя — землянка,
Воробышек, певчий превечного Слова,
И слов его бранных живая приманка.

А где-то над горкой могильного крова
Продолжится птичьего цеха морзянка:
Чириканье, карканье, щебет и снова
Кладбищенских дошлых ворон перебранка,

Чтоб завтра Господь (половчей птицелова
Раскинувший сети Свои спозаранку)
Заухал, закричал, прокаркал сурово:

«Мы дольного мира свершили огранку —
И новое небо к полётам готово.
Воскресни, засранец! Воскресни, засранка!»

Из поэмы перемещений

*Максиму и Жене Навроцким
посвящается*

1

В Покрове кондова
Жизнь и здорова:
Молока парного
Стынет ендова,

Брешет пёс дворовый,
Ухает сова,
Августа ржаного
Ходят жернова,

Роща и дуброва,
Поле, трын-трава,
Неба векового
Свет и синева, —

Здесь из корнеслова
Прорастут слова:
«На траве — коровы,
Во дворе — дрова», —

Но расслышать Слово
Можно ль спрохвала?..
Стокилометровый
Путь до Покрова!

2

Как бросить ветреный Покров
С его покорностью во взоре:
Хореи тряпок на заборе,
Стада тониических коров,
Земной раёк колоколов,
Что свили гнёзда, тараторя,

На верхотуре при соборе,
Где Бог да сонмы воробьёв, —
На произвол исконных слов
И метров ялтинских предгорий,
Чтоб, словно испокон веков,
Волнам витийствующим вторя,
Невольно перенять у моря
Высокий штиль его штормов?

3

Шуре и Поле Навроцким

Ещё не взбухали нахальные почки,
Пасхальные не наступали денёчки,

А я уже бредил вагоном купейным,
Июньскою Ялтой да «Крымским» портвейном.

Днесь Чёрное море мне ставит примочки,
Ай-Петри врачует мои заморочки,

И пышные звёзды со взором елейным
Умильно лепечут: «Налей нам, налей нам!»

Курчавятся крымской поэмы росточки,
Я слышу их вкупе и поодиночке,

В семейном кругу, на балконе питейном
Шурую, полю, удобряю портвейном,

Как парк, разбиваю на броские строчки,
Где гнёзда свивают Навроцкие дочки.

4

Ай-Петри корона
На туче патлатой,
Туманов хитоны
И ливней халаты,

Уступы и склоны,
Ключи, водопады,
Ущелья, каньоны,
И молний разряды.

Изысканна Ялта,
Юна, но исконна,
Зелёным объята
И к Чёрному склонна.

Террасы, балконы
В когтях винограда.
Татарские кроны
И камни Эллады.

Большого притона
Дневные наряды:
В наколках тритоны
И в мини наяды.

Иограф, Лапата,
Горпано-Сталоны,
Пологи, горбаты,
Целеустремлённы,

Верны постулатам
Морского закона,
В руках узловатых
Подносят влюблено

К бурлящему лону
Кипящую Ялту,
(Что тюркским объята,
К античному склонна),

Под грома раскаты,
Под чаячы стоны,
Как чару муската —
К устам Посейдона.

5

Там девушка с бантом
Плывёт по аллее,
И юноша с понтом
Хиляет за нею.

Лежит донжуан там,
На солнышке млея,
Огромным талантом
Нервируя гея.

В объятии потном,
От гея левее,
Сидит с Ферапонтом
Его Пелагея.

Под солнечным зонтом
Процесс в апогее:
Долбит Пигмальон там
Свою Галатею.

Фланирует с франтом
Поддатая фея.
И движется фронтом
На всех гоноря.

Там ялтинским Дантом
Стою на скале я,
Занудным педантом
С пером Апулея.

Гляжу мастодонтом,
О рифме радею,
А в мире свободном
Вершится идея:

Уран с Чернопонтом
Слились, голубея, —
К ним тянется с понтом
Грудастая Гея.

6

Под небом у моря на юге Тавриды,
Где время с пространством вошли в симбиоз,
Где гибли титаны, сменялись народы,
Где ясли ветров и прибежище гроз, —

На мысе Айя лет четыреста кряду
В немыслимой позе с руками вразброс
Над бездной на склоне скалы до упаду
«Бесстыдница»¹ камень целует врасос.

7

Я месяц учился у Чёрного моря
Волнам и размерам. С одышкой споря,

Полз в горы подобно хромой черепахе.
С пульсацией в черепе, холодом в пахе

¹ «Бесстыдница» — дерево (земляничник мелкоплодный).

Стоял в поднебесье — и в скальном зазоре
Мажорскую Ялту увидел в миноре

С бемолями тел, истлевающих в прахе,
Бегущих от грома в паническом страхе, —

Чуть позже, когда в раскалённом изморе
Блядун-громовержец сошёл с плоскогорья.

Тогда-то узнал я чрез бахи и трахи
Распутного Зевса в суровом Аллахе,

О чём и писал в неизбывном задоре,
Опившись портвейном, взирая на море,

Как дошлая сваха, как доблестный хахаль, —
На деву морскую, что поле и пахарь

В едином лице со стихией во взоре,
С заколкой-корабликом в лунном проборе.

О чёрный недуг мой, сияющий знахарь,
Зачем же меня ты оправдило на хер?

Трясусь я в купейном вагоне — и вскоре
Услышу хорей на покровском заборе.

Но в лепет рифмованный драной рубахи
Вплетётся взволнованный твой амфибрахий!

Борис Херсонский

/ Одесса /

Чувство смысла

Молодой человек пришел к знакомому богослову испросить благословения на поступление в колледж. «Прекрасная идея, — сказал богослов, — но что ты будешь делать потом?» — Поступлю в Университет. — А потом? — Стану юристом. — А потом? — Буду баллотироваться в Парламент. — А потом? — и так далее. Наконец молодой человек сказал: «Потом я умру».

— А потом? — спросил богослов.

1

Традиционная советская психология (и в особенности — психиатрия) постулировали тезис о том, что нормальному человеку «в корне чужды» и вредны мысли о смысле его существования. Собственно уже сама постановка вопроса о смысле жизни — считалась проявлением психологического кризиса, если не симптомом шизофрении. В подобном примитивном «принижении» нормальной жизни человеческой души в рамках тоталитарной системы нет ничего удивительного. Но не только большевизм, но и обыденный «здоровый смысл» обнаруживает устойчивую тенденцию к отвержению проблемы человеческого существования (экзистенции). Здравый смысл живет, вопреки своему названию не мыслями, но скорее «страстями разума». Он интуитивно полагает, что в делах человеческой экзистенции ему, здравому смыслу, делать нечего.

Философы говорят о «плохо сформулированных проблемах», которыми мучается человечество: чего только стоит вопрос о первичности сознания или материи! По сути дела подобные вопросы предъявляют разуму задачи, не то что бы принципиально ему недоступные, а, выражаясь бюрократическим языком, разуму неподведомственные. Норма (если здесь вообще допустимо понятие нормы) — это своеобразное чувство или «переживание осмысленности». Психологическим подтверждением этого тезиса является ощущение утраты, которое ис-

пытывает человек в состоянии экзистенциального кризиса. Не «не было и нет», но «было и отнято».

Смысл жизни является такой же данностью, как и сама жизнь. Жить — это значит в той или иной мере переживать осмысленность, как таковую, без доказательств и обсуждения. В этом отношении смысл жизни такая же неопределимая категория как «точка», «плоскость» и, если угодно, — время. Блаженный Августин как-то воскликнул: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время, если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю.» («Исповедь», XIV, 17) Слово «время» легко поддается замене на «смысл жизни»: миллиарды людей на земле живут и действуют так, как будто они знают тайну смысла своего существования. Но стоит величайшим, известнейшим, умнейшим из смертных начать рассуждать и мудрейший из гениев попадает в круг навязчивых, повторяющихся мыслей, которые были высказаны за тысячи лет до него и, нет сомнения, будут высказываться, пока человечество живо, и не лишлось дара речи.

Очевидно, кто-то наказывает нас всех за попытку проникнуть с помощью разума и слова в то, что нам уже известно ИЗ ИНОГО ИСТОЧНИКА.

«Бессмысленность», или, вернее «бесмыслица жизни», несколько лучше объясняемая словами, столь же недоказуема: это также преимущественно — эмоциональное переживание. В данную минуту сотни тысяч, если не миллионы людей в мире переживают чувство бессмысленности жизни. Ни «оптимиста», ни «пессимиста» не переубедить.

Иные, часто — недоступные сознанию, силы заставляют менять розовые очки на черные и наоборот. Нечто иное, исходящее изнутри заставляя нас «переключить» наши чувствования. Преуспевающий герой рассказа Чехова, целиком погруженный в житейскую суету внезапно просыпается в холодном поту — от осознания того, что его жизнь прошла и в этой жизни не было смысла. Лев Николаевич Толстой ощущал в себе экзистенциальный надлом, развивающийся подобно медленно прогрессирующей болезни, где главными симптомами были вопросы: «А зачем?», «А потом?».

2

Клод Леви-Стросс считал основной «полярностью» человеческого мышления понятия «жизнь» и «смерть». Даже свет-тьма, не говоря уже об «инь — ян» или фроммовской биофилии — некрофилии, нечто производное. Между этими полюсами нет переходных ступеней, нет пространства, движение от одного к другому дискретно, как прыжки элементарной частицы. Эта «основная полярность» задает точки отсчета. Для человека, переживающего осмысленность жизни отправная точка — жизнь. Человек, переживающий бессмысленность существования имеет точку отсчета — смерть.

Не во фроммовском «некрофилическом» или фрейдовском духе одержимости Танатосом. Отношение к смерти всегда двойственно, амбивалентно. Взгляд на похоронную процессию «со стороны» это смешение страха и любопытства. Вокруг кладбища или лобного места сконцентрировано мощное психологическое поле, где силы притяжения и силы отталкивания действуют одинаково сильно. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» (А.С. Пушкин). Серьезная проблема состоит в том, что в процессе развития экзистенциального кризиса неизбежная смерть неизбежно будет казаться привлекательной. Собственно, человек в состоянии кризиса говорит о жизни (и то — до поры), но думает — о смерти. Вопрос о смысле и значении индивидуальной смерти остается стержнем, вокруг которого совершают свое круговращение вечные мысли о круговращении мертвой и холодной вечности:

«А ты, холодный труп земли лети,
неся мой труп по вечному пути».

Эти строки написал поэт, которого в целом трудно упрекнуть в излишнем пессимизме — Афанасий Фет.

Екклесиаст говорит о своих мыслях и чувствах теми же словами, что Лев Толстой. Древнеегипетские поэты — безымянные авторы «Песни арфиста» или «Спора разочарованного со своей душой» чувствуют и говорят то же. Вильям Шекспир пишет 66 сонет, а Борис Пастернак — переводит его. Размышления, за которыми стоят интенсивные чувства печали, безысходности, бессмысленности...

«И возненавидел я жизнь!» — восклицает Екклесиаст — «Блаженные мертвые более чем живые, но блаженнее тех и этих, кто вообще не существовал!».

«Мысль о самоубийстве была естественным продолжением моих рассуждений» — признается Толстой.

«Измучен всем, я умереть хочу» — пишет Шекспир.

«Мне смерть сейчас представляется ручьем в тени деревьев после странствий в пустыне» — восклицает автор «Спора разочарованного».

Но быть может полнее всего это двойственное отношение к неизбежности смерти выражено в стихах Райнера Марии Рильке:

«Всевластна смерть.
Она на страже,
и в счастья час
она живет и страждет
и жаждет в нас».

3

Человек вне ощущения «притяжения смерти» инстинктивно полагает, что смысл его жизни складывается из мелких «смыслов» либо «осмысленностей» его повседневных действий, в эмоциональных связях

и взаимоотношениях с другими людьми, наконец, в «плодах своих трудов». Он никогда не производит этого арифметического суммирования, предчувствуя, что подобная процедура ведет к катастрофе. Смысл жизни не складывается из смысла поступков. Так же как бесконечность не является суммой отрезков пространства, а вечность — времени. Это ясно всякому задумавшемуся. И практика обыденной жизни состоит не в решении экзистенциальной проблемы, а ее игнорировании. Человек вне кризиса ощущает свой путь как прямую, направленную вперед и вверх. Кризис сгибает эту прямую и превращает в замкнутый круг. Ощущение цикличности, повторяемости, отсутствия реального движения — одно из самых характерных для подлинного кризиса личности. Ветер, возвращающийся на свои круги, солнце, спешащее к месту своего восхода, неизбежная смена поколений и — забвение... В конечном счете, замыкается и гигантский круг Мироздания:

«Когда пробьет последний час природы
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них».

(Ф. Тютчев)

Гораздо реже в повторяемости, репродуктивности видят смысл существования: «будут внуки потом, все опять повторится сначала» — говорят слова оптимистичной советской песни «Я люблю тебя, жизнь». Пятилетняя девочка говорит о том, что она и ее брат будут делать через сто лет. Затем она замолкает и после паузы печально говорит: «Через сто лет ни меня, ни Саши не будет». Но еще через секунду: «Тогда будут другая Наташа и другой Саша» — и весело идет дальше.

«И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть» (А.С. Пушкин)

И все же идея повторяемости скорее — спутник безысходности. И буддизм в символе постоянно вращающегося колеса как бы закрепил это ощущение: «Рождение вновь и вновь — горестно!» (Дхаммапада).

Естественно и понятно, что экзистенциальные переживания часто возникают у человека надломленного, пережившего крушение своих «относительных» целей и убедившегося в тщете многолетних усилий. Удивительно, если подобное состояние возникает на вершине успеха. Экзистенциальный надлом и соответствующая реакция с переживанием бессмысленности это симптом ЗАВЕРШЕНИЯ какой-либо существенной части жизненной программы человека. Завершение предполагает «прощание с плодами» и чувство естественной опустошенности. Существует психиатрический термин «депрессия победы». Лао-Цзы учил, что встречать победителей должны плакальщики и могильщики. Речь идет не только об оплакивании солдат, убитых на войне. Оплакиванию подлежат и сверхценные идеи, касающиеся важности завер-

шенного дела (тот же Лао-Цзы считал важнейшим качеством «совершенномудрого» умение отстраниться после завершения дела).

Ребенок тянулся за игрушкой и отбросил ее в сторону, едва только взял ее в руки. Он плачет. Новая игрушка на некоторое время завладевает его вниманием. Но когда ребенок понимает, что ВСЕ игрушки надоедают, он становится безутешен.

«Но когда я подумал о том, что сделали руки мои,
вспомнил свои усилия, чтобы достигнуть цели,
то вот, все суета и погоня за ветром:
возвышения нет под солнцем!»

(Екклесиаст)

Вероятно, осознанное существование на границе небытия, «бездны мрачной на краю» необходимая внутренняя пружина творчества. И творчество, в свою очередь помогает отступить на шаг от бездны, переживать минуты, когда чувство осмысленности сильно как никогда. Сколько поэтов вслед за Горацием произнесло — «Нет, весь я не умру!». Но упование на творчество оказывается последней иллюзией. На пороге могилы Державин, также перелагавший «Памятник», написал короткое стихотворение — «Река времен», где даже творчество, «последний остаток бытия», обречено:

«А если что и остается
чрез звуки лиры и трубы
то вечности жерлом пожрется
и общей не уйдет судьбы»

4

Владимир Соловьев назвал свою рецензию на двухтомное издание сочинений графа А. Голенищева-Кутузова «Буддийское настроение в поэзии». Представителем буддийского настроения Соловьев считает «такого поэта, который, по-видимому, вовсе не интересуется буддизмом и вообще строго охраняет свой русский стих от чужеродных имен и терминов...». Голенищев-Кутузов, по мнению Соловьева, принадлежит буддизму эмоционально — «тон минорный, настроение безнадежное, он поэт смерти и Нирваны, хотя это последнее, столь ныне (статья 1894 года — Б.Х.) злоупотребляемое слово и не встречается в его стихах... он — буддист не в смысле каких-либо догматов и учений, а в смысле того душевного настроения, которое кристаллизовалось исторически в религии Шакьямуни, но может существовать индивидуально, независимо от нее». «Поклоняясь смерти, гр. Кутузов иногда, по старой памяти христианских слов, говорит о ней, как о переходе к иной, высшей форме бытия, но большею частью, верный своему общему буддийскому мирозерцанию, он видит в ней безусловный конец всякого бытия, сон без сновидений и без пробуждения».

Мирозозерцанию гр. Кутузова Владимир Соловьев противопоставляет поэтику Александра Пушкина: «У Пушкина тон бодрый, радостный и уверенный; при самых языческих, мирских и даже греховных сюжетах настроение его все-таки христианское, — это поэзия жизни и воскресения».

Между тем именно Пушкину (а не гр. Кутузову, либо иному второстепенному поэту) принадлежат строки подвергающие сомнению ценность земного бытия как такового, строки такой силы, что им сопереживали (а значит — ощущали те же чувства) и будут сопереживать, запомнили (а значит, сохранили этот эмоциональный опыт) и запомнят поколения и поколения любителей поэзии.

«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль, зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум».

Эти стихи Пушкин написал 26 мая 1828 год, в день своего рождения... Быть может, единственный раз поэт называет творческую силу жизни «враждебной». Опустошенность сердца и остановка мышления, сопровождаемая однозвучным шумом жизни, напоминающим звук вращающегося колеса в руках буддийского монаха... Но остановимся: не во втором ли четверостишии того же стихотворения душа была наполнена страстью, а ум взволнован сомнением? Стихотворение о бессмысленности и бесчувственности проникнуто глубоким чувством боли и смыслом. Менее известное стихотворение «Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы» выражает те же эмоции.

«Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Жизни мышья беготня,
Что тревожишь ты меня?»

Но и здесь, в конце стихотворения: «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу» (последняя строка в редакции Жуковского — «темный твой урок учу» имеет более сумрачное звучание).

Тема трагедии человеческого существования слишком важна для человечества, бессмертный гений Пушкина не мог не коснуться ее. Тема экзистенциального кризиса звучит у него чаще, чем может показаться на первый взгляд. То христианское мироощущение, которое справедливо отмечает у поэта Владимир Соловьев, касается скорее не отсутствия в пушкинском творчестве темы бессмысленности и безнадежности жизни как таковой. Речь идет о путях душевной внутренней работы, о переработке экзистенциальных переживаний и, в конечном счете, преодолении кризиса... Мне представляется, что слово «но» — важный ключ к пониманию того, что происходило в душе Пушкина. «Но строк печальных не смываю», «Но не хочу, о други, умирать»... В послании Раевскому Пушкин признается, что видит все — даже жизнь и любовь «в их наготe». «И мрачный опыт ненавижу!» восклицает поэт. Но и здесь нет знака равенства между «мрачным опытом» и жизнью как таковой. Почти всюду у поэта — постоянное возражение самому себе, напряженный внутренний диалог — даже на пороге отчаяния. Приведем «переключку» двух великих стихотворений Пушкина — «Демон» и «Ангел». На самом деле демон — герой обоих стихотворений, а ангел — лишь впечатление, образ, заставивший того, кто «не верил... любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить не захотел», сказать: «Не все я в небе ненавижу, не все я в мире презирал».

5

Первичная реакция на «перелом души», на экзистенциальный кризис — особый вид тревоги (страха — немецкое слово *Angst* допускает двойной перевод). К ощущению страха здесь примешивается чувство тоски и скуки — короткая пушкинская строка из незавершенного отрывка — «Страшно и скучно». Лучше, тщательнее всего формы экзистенциального страха проработаны и описаны протестантским теологом Паулем Тиллихом в знаменитой работе под названием «Мужество быть». По его мнению, экзистенциальная тревога проявляется в трех ипостасях, сохраняя внутреннее единство. Каждая из форм экзистенциальной тревоги может проявиться в относительно «мягкой», по выражению Тиллиха, «относительной» форме и предельно жесткой, абсолютной. Абсолютность состоит, прежде всего, в необратимости. Первая ипостась, форма экзистенциальной тревоги это тревога судьбы (относительная степень) и смерти (абсолютная степень). Вторая форма — тревога пустоты (относительная) и бессмысленности (абсолютная). Третья — тревога вины (относительная) и осуждения или проклятия (абсолютная степень). В рассуждениях Тиллиха — одно из краеугольных понятий — небытие: «Первое утверждение о природе тревоги таково: тревога есть такое состояние, в котором существо сознает возможность собственного небытия. Или, передавая тот же смысл короче, тревога есть экзистенциальное осознание небытия. «Экзистенциальное» здесь означает: тревогу вызывает не абстракт-

ное знание о небытии, а осознание того, что небытие входит в наше собственное бытие»

Это вторжение небытия в сознание сходно у юноши Гаутамы (Будды) и у русского мальчика, который вошел в историю как протопоп Аввакум: «Аз же некогда видел у соседа скотину умершу, и той ночи, возставше пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть».

Сами по себе экзистенциальные переживания как бы нивелируют личность человека, выносят индивидуальность за скобки. Но творческая проработка экзистенциальных переживаний неотделима от творческой личности человека. Более того, нигде личность не проявляет себя столь полно...

В Пушкинском творчестве тема смерти иногда возникает как внезапная мысль, например, при взгляде на засушенный между страницами книги «безуханный», лишенный запаха цветок:

«И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли
Как сей неведомый цветок?»

(Метафора, сравнивающая увядание человека и цветка, несомненно, принадлежит к категории вечных. Вспомним книгу Иова: «Человек, рожденный женой, кратковременен и исполнен печалью, как цветок восходит и никнет он, ускользает как тень и не останавливается». Но Пушкин не был бы самим собой, если бы та же метафора не была переосмыслена иронически в коллективно сочиненных «Нравоучительных четверостишиях»:

«Во ржи был василек прекрасный
Он взрос весною, летом цвел,
И, наконец, увял в дни осени ненастной.
Вот смертного удел!»

Лишь иногда мысли о смерти становятся почти навязчивыми. Любое впечатление порождает целенаправленное, постоянное, напряженное размышление о конечности личного бытия, как в стихотворении «Брожу ли я меж улиц шумных»:

«Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе — цвести».

Но в творчестве поэта звучит и протест против небытия, он не может проститься с земной любовью и «суетными впечатлениями» даже за гробом.

«Ужели с ризой гробовой
Все чувства сброшу я земные
И чужд мне будет мир земной?

Минутной жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?

Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?»

Страх перед полным небытием, утратой мысли и первой любви заставляет продолжать жить.

«Как ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу, печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милой
Таился и пылал в душе моей унылой».

6.

Пушкин прислушивается к голосу времени внутри своего тела — он с печалью отмечает старение тогда, когда ни о каком биологическом старении нет и речи. Двадцатиднолетний юноша сравнивает себя с запоздалым листом осенью, который остался «один на ветке обнаженной»!

Но еще пристальнее прислушивается он к изменениям собственной души.

«Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу темнеет;
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет».

(Ф.В. Раевскому)

Или — «Каждый миг уносит частичку бытия».

И вновь, неотвратимый и неумолимый жизненный цикл иронически переосмысливается в шуточном стихотворении «Телега жизни», где даже академическое издание стыдливо скрывает окрик «Пошел! Е...а м..ь!» многоточием. Завершение пути выражено двумя строчками: «И дремля едем до ночлега, а время гонит лошадей».

Пушкин говорит о смерти с живыми. Здесь почти нейтральные стихотворения — «Гроб юноши» и «Мое завещания друзьям»...

Особо остановимся на «Послании Дельвигу», которое было первоначально опубликовано под названием «Череп». Собеседование с черепом — классический экзистенциальный сюжет, восходящий к Чжуан-цзы. Древнекитайский философ превращает останки в самое счастливое существо во вселенной — «такого счастья нет даже у царя,

обращенного лицом к югу... Разве захочу сменить царственное счастье на человеческие муки?». Шекспир меняет живых и мертвых местами — череп Йорика достоин сожаления. Боратынский, взирая на череп, уравнивает жизнь и смерть: «пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умирать научит». Тема смерти может явиться и как одинаковое экзистенциальное напряжение, все они трагичны. В пушкинском варианте трагизм уничтожается, сюжет переосмысливается иронически — «Прими сей череп Дельвиг, он принадлежит тебе по праву». Вместо диалога с мертвым, здесь — стихотворная история похищения скелета одного из предполагаемых предков пушкинского приятеля странствующим студентом, перебиваемая ироническим прозаическим отрывком, сообщающим, что грозный предок Дельвига не оказал студенту никакого сопротивления.

7

Пушкин откликается на смерть великих людей, либо тех, кто был ему близок. Интонации тут совершенно различны — в «эпитафиях великим» это подведение итогов угасшей жизни, иногда призыв восстать и продолжить дела, прерванные смертью:

«Великолепная могила...
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит».

(Наполеон)

В 1931 году, в момент восстания в Польше, Пушкин не менее патетически обращается к гробнице победителя Наполеона М.И.Кутузова:

«Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О, старец грозный, на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой».

Но когда речь идет о близких людях, интонация совершенно иная. Пушкин ищет продолжения угасшего диалога. Первое стихотворение, которым он откликается на весть о смерти Амалии Ризнич, полно упреков самому себе. Пушкин не может понять, почему он не способен откликнуться на скорбную весть так, как должно... Другие стихотворения памяти Амалии свидетельствуют, что внутренняя работа «личного воскрешения» продолжалась в душе поэта.

У Пушкина диалог с умершими, иногда может быть прочтен как отрицание смерти, призыв к пробуждению, как акт воскрешения.

Эпитафия младенцу —

«В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
благословляет мать и молит за отца».

Это надгробное слово умершему в двухлетнем возрасте Николаю, сыну декабриста, Волконского, имеет сложное эмоциональное звучание — ребенок здесь небожитель, который смотрит на земную жизнь как на изгнание — тема, которая перекликается со знаменитым древнеегипетским «Спором разочарованного»: «Воистину, кто перейдет в загробное царство — будет в числе мудрецов, без помехи говорящих с божественным Ра». Но главное в четверостишии — ребенок жив, он сохраняет эмоциональную связь с живущими.

Иногда личное обращение к усопшим у Пушкина отрицает сам факт смерти.

Пушкин ждет за гробом земного поцелуя любви от Амалии Ризнич («Для берегов отчизны дальней»). Та же тема продолжения земной любви вопреки смерти в стихотворении «Заклинание». И еще одна существенная деталь. Пушкин обращается к диалогу с близкими ему ушедшими повторно. А это — свидетельство продолжения диалога. Если использовать терминологию Мартина Бубера, умерший не превращается в неодушевленный объект «оно», но продолжает быть «ты».

Тема смерти возникает у Пушкина в связи с лицейскими торжествами: «судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему». Мысль, подготовленная воспоминанием о умершем друге, похороненном «под миртами Италии прекрасной» — и все же... И тут же возникает образ старца, последнего выжившего, докучного гостя среди чуждых поколений.

Идут годы, меняется лицейский праздник. Он становится «в своем веселии мрачнее». Среди лицеистов ходил «смертный дух и назначал свои закланья». Шесть друзей уже по ту сторону Леты. И приближение каждого живого к «началу своему» теперь уже реальность.

«И, мнится, очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый...»

В последнем, оставшемся незавершенным стихотворении к годовщине Лицея, о смерти прямо не говорится. Поэт лишь отмечает изменения, происшедшие в нем самом и его товарищах — «Прошли года чредою незаметной, и как они переменили нас!» В этом стихотворении уже нет протеста против небытия. Необходимо смириться со всеобщим законом: «Вращается весь мир вокруг человека, — ужель один недвижим будет он?»

Пустота и бессмысленность в сознании европейца ассоциируется, прежде всего с библейской книгой Кохелета (Екклесиаста). При этом мы все чаще рассматриваем проблематику библейской книги как

драму человека (Алама) и смерти, забывая, что у Кохелета присутствует некто Третий — Бог.

Темы пустоты и бессмысленности у Пушкина лишь изредка звучат от первого лица:

«Цели нет передо мною, пусто сердце, празден ум...». Тот же мотив в написанном десятью годами ранее знаменитом стихотворении «Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты».

Гораздо чаще переосмысленные осколки рассуждений «Проповедующего в собрании» мы находим в драматических произведениях Бессмысленность жизни порождает скуку, никакие достижения — ни знание, ни мудрость, ни даже любовь не в состоянии принести утешение? Об этом говорит Мефистофель Фаусту — «И всяк зевает да живет и всех вас гроб, зевая, ждет, зевай и ты». Фауст отвечает бесу также в духе Екклесиаста: «В глубоком знанье жизни нет, я проклял знаний ложный свет, а слава... Луч ее случайный неуловим. Мирская честь бессмысленна как сон». И рассуждения эти не могут не завершиться актом разрушения — «Все утопить!» — «сейчас». Тема тщеты накопления богатства, ибо унаследовать это богатство должен тот, кто над ним не трудился вовсе? Скупой рыцарь: «Он расточит, ...а по какому праву? И потекут сокровища мои в атласные диравые карманы». Тема тщеты власти — Борис Годунов («ни жизнь, ни власть меня не веселят»). Тема «зависти соседа»? — Моцарт и Сальери. Тема беспмятства и веселья перед лицом смерти — «Пир во время чумы». Отдать свои мысли герою, спроецировать их на «другого» — преодолении тревоги с помощью творчества. И вновь на помощь приходит ирония — в набросках к «Фаусту» обвиненная в карточном плутовстве Смерть говорит:

«Молчи! Ты глуп и молоденок.
Уж не тебе меня ловить.
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить».

Самоосуждение у Пушкина, быть может, наиболее жестко выражено в гениальном стихотворении «Воспоминание», которое дает психологический материал поразительный по своей достоверности. Кошунственно с точки зрения поэзии, но, вероятно, допустимо для профессионала-психолога и психиатра соотносить переживания поэта с классическими диагностическими критериями депрессии — расстройством сна, тоска, неотвязные мрачные мысли, идеи виновности...

«В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная...».

Проклятие Иуды — одно из самых мрачных и архаичных по стилю стихотворений великого поэта, где рисуется картина ада.

«Там бесы, радуясь и плеща на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике,
Лобзанием своим насквозь прожег уста
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Пушкин обращается к «Божественной комедии» Данте, но в вольном переложении сцен адских мучений чувствуется иронический, почти пародийный подтекст...

Вопреки утверждению Соловьева, идея личного бессмертия в ее христианском выражении не выражена у Пушкина явно. Скорее он пишет о загробном существовании в элегическом духе, навеянном наследием языческой античности. Один из подобных отрывков он включает в свои стихи дважды — в «Тавриде» и более позднем стихотворении без названия.

«Зачем не верить вам, поэты?
Да, тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.

Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей».

То же, языческое по своей сущности, мироощущение в стихотворении, посвященном П. И. Осиповой.

«Когда померкнет ясный день,
Одна, из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный».

Думая о смерти возлюбленной («Придет ужасный час...»), Пушкин обещает последовать за любимой в могилу:

«И сяду близ тебя, печальный и немой,
У милых ног твоих — себе их на колена
Сложу — и буду ждать печально... но чего?
Что силою... Мечтанья моего...».

Поэт не завершает эти стихи.

В том же духе и строки, в которых душа преодолевает рубеж смерти:

«И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать».

В неоконченном стихотворении «Когда за городом задумчив я брожу» сравнивается суетность городских погребений и деревенское кладбище, где «неукрашенным могилам есть простор», где «на место праздных урн, растрепанных харит стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя...». И здесь идея воскресения, пожалуй, отсутствует.

Более того, пасхальное приветствие «Христос воскрес!», молодой Пушкин использует в совершенно фривольном стихотворении, обращенном к еврейке Ревекке. И в более благопристойном, и все же несколько ироничном варианте вкладывает его в горло ученому скворцу:

«Скворец, надувшись величаво,
Вздыхал о царствии небес
И приговаривал картаво:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»

Впрочем, в этом стихотворении поэт замечает, что «такая птичка умней иного мудреца»,

9

«Смысл» близок к понятию «цель». На самом общем уровне поставить вопрос о смысле жизни все равно, что определить цель человеческого существования. Но все же в этих словах есть некое отличие: цель практически всегда означает нечто внешнее по отношению к человеку. Лишь Нарцисс заключал свою цель в самом себе, но и он нуждался во внешнем объекте (источник) для достижения своей цели. С философской точки зрения смысл жизни человека должен, неизбежно, находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ этой жизни. Даже такой последовательный рационалист и атеист, как Фрейд, отмечал эту особенность и категорически утверждал, что сама по себе проблема смысла-цели может рассматриваться в рамках только в рамках религиозного сознания. От себя добавим, что религиозное сознание в обыденной жизни не обязательно развивается внутри одной из религиозных систем. Стихийно-религиозное отношение к реальности и деятельности, включающее благоговение, некритическое поклонение и ритуализацию отношений — норма нашей душевной жизни. С точки зрения религиозных систем это отношение кощунственно, с точки зрения философии — примитивно и ошибочно. Но с точки зрения жизни «под солнцем», земной жизни любой объект, замещающий Божество, наполняет жизнь смыслом.

Идолопоклонник, оскотивший себя перед алтарем Изиды не чувствовал бессмысленности своей жизни и своей жертвы. «Покойный отдал всего себя развитию циркового духового оркестра» — эти слова не насмешка, а стандартная положительная оценка, подводящая итог жизненному пути.

Религиозное отношение к земной любви, семейному благополучию, воспитанию детей, уходу за домашними животными, вожделению автотранспорта — ересь и тягчайшее заблуждение. Но члены этой всемирной секты относительно реже будут клиентами психолога, чем те, кто проник в экзистенциальную проблематику и кто практикует подлинно религиозную жизнь. Напряженность работ русских философов XX века — Франка, Трубецкого ясно показывает, насколько эти, несомненно, обретшие личную веру и упование на Христа, люди ощущали остроту бессмысленности земной жизни. Трубецкой сравнивает обыденный ход жизни с горизонталью, а мучительный порыв ввысь, к Богу, к абсолютному смыслу бытия — с вертикалью. На пересечении этих линий, на этом «экзистенциальном кресте» испытывается человеческая душа, человеческая жизнь (на древнееврейском языке душа и жизнь — одно и то же слово — *нэфэш*).

Виктор Франкл, крупнейший экзистенциальный психолог, писал, что человек — больше чем психика, это еще и дух. Франкл, называвший диалог с психологом-консультантом «светской исповедью», был одним из первых в двадцатом веке, кто использовал слова религиозного утешения в процессе психотерапии. Полемизируя с К.Г. Юнгом, автором концепции «архетипов», Франкл утверждал, что несомненный факт понимания людьми того, что есть Бог, может говорить не о существовании «архетипа», но о существовании Самого Бога. Франкл приводит в пример элементарные арифметические действия, которые верны не потому, что существуют числовые архетипы, а просто потому, что они верны.

Вот знаменитые Пушкинские строки:

«Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..»
(Монастырь на Кавказе)

Путь к Богу — действенное «лекарство» от экзистенциального голода (блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся!), но на это лекарство не выписывают рецептов и его не продают в «аптеках»; увенчанных куполами. Это лекарство готовит Сам Христос в нашей душе, подготовленной для Спасения как добрая почва. Совет «Иди к Богу», из уст консультанта-психолога, означает не упование на Всевышнего, но небрежение своим нравственным и профессиональным долгом.

И — последнее. Недостаточно пережить разочарование в жизни для того, чтобы выбрать «радикальное решение» экзистенциальной проблемы — самоубийство. Ощущение бессмысленности — печально, но не располагает к действиям. В конце концов, самоубийство — такой же бессмысленный поступок. Иные чувства владеют человеком желающим свести счеты с жизнью. Жизнь — его враг. И смысл — его враг. Каждый «микросмысл» в каждой ситуации предал человека, он бежал, оставив человека одного в космической пустоте.

Увы, диалог с человеком, находящимся в состоянии экзистенциального кризиса, не может быть «уроком», вдалбливанием и втолковыванием человеку того, что его жизнь неповторима и осмысленна. Диалог — это только одна из ситуаций, вносящих изменение в жизнь, и следовательно — в переживание экзистенциальной проблемы. Не более, но и — не менее. И вполне вероятно, мы будем стараться вернуть человека в колею «ситуационных» микросмыслов, мы вернем его от абстракции к конкретности, мы снизим уровень понимания нашим собеседником катастрофичности и двойственности человеческого бытия. Довольно с нас и того, что его жизнь продлится еще на некоторое время, что корабль его души будет продолжать плыть по «житейскому морю, воздвигаемому напастей бурей». Удержав человека на краю бездны мы оставляем ему возможность диалога и с иным Собеседником...

«Плывет... Куда ж нам плыть?» (А. С. Пушкин)

«Что се видимое? И что будет плавание?» (протопоп Аввакум)

Литература

- Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. М., «Наука», 1982
- Бубер М. Я и Ты. В кн.: «Два образа веры», М., «Республика», 1995, стр. 15-92.
- Даниленко О.И. Здоровье души и поэзия. Санкт-Петербург, 1996
- Державин Г. Стихотворения. М., «Советский писатель», 1935
- Екклесиаст. Текст, комментарий. В кн. «Библия», «Жизнь с Богом», Брюссель 1986 с. 885-895; 1962-1964
- Житие протопопа Аввакума. В кн.: «Изборник». БВЛ, М., «Художественная литература», 1969, с. 626-674
- Лирика древнего Египта. М., «Художественная литература», 1965
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. третье, М., АН СССР, 1963, т. 1-4.
- Смысл жизни. Антология. М. «Прогресс», 1994.
- Соловьев В. Буддийское настроение в поэзии. В кн. «Стихотворения, эстетика, литературная критика». М., «Книга» 1990, с. 208-245.
- Тиллих П. Мужество быть. В кн.: «Символ», Вып. 28, Париж, 1992, с. 7-119
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М., «Прогресс», 1994.
- Франкл В. Доктор и душа. Санкт-Петербург, «Ювента», 1997.
- Фрейд З. Будущее одной иллюзии. В кн.: «Психоанализ. Религия. Культура.» М. «Ренессанс», 1992., с. 17-94.
- Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., Республика, 1994.
- Херсонский Б.Г. Когелет. Разум в поисках выхода. «Богомыслие», т. 6, 1996, с. 176-202.
- Чжуан-цзы. В кн. «Мудрецы Поднебесной». Симферополь.



Евгений Кержнер

/ Регенсбург /

Письма в Миннесоту

Письмо второе

Виктор Ульман

«Механическая судьба огромных масс никогда не будет иметь для нашего сердца и ума того значения, какое приобретает подлинная, неповторимая, до конца пережитая жизнь отдельного человека»

Герман Гессе

Дорогая ***!

Представьте себе: не первой свежести дама, известная под именем Костлявой с косой, удалилась, отказавшись выполнять свои обязанности! Так случилось в опере Виктора Ульмана «Император Атлантиды»: человечество было осуждено на вечную жизнь. Хуже всех — самому императору: конец его могуществу! — бесценная привилегия казнить и миловать обратилась в звук пустой... В панике закликает он Смерть: «Вернись! Мы, люди, не можем жить без тебя!» «Ну, что ж, я не прочь и помириться с родом человеческим, но хочу жертвы: первым должен умереть ты!» И не знавший до сей поры жалости диктатор вдруг преображается: «Пристало ли мне отвергать то, о чём молят тебя все страждущие?.. Будь по-твоему!..»

Император уходит, и вот его последние слова:

Есть лишь одно, пред чем бледнеет и богов улыбка — прощанье.

Ещё стоит над нами Час, как пребывал от века,
ещё твоя рука в моей и ощущает
всю темноту существования моего; ещё моя — в твоей...
Не плачьте обо мне!

Я ухожу за этим отроком чужим,

куда — я не скажу тебе,
но тихая живёт во мне надежда:
я вернусь...
Ибо не даль, куда иду, достойна слёз,
но эта близь, покрыта вечной тенью.

Кажется, что в этих строках скрыт какой-то второй план... Расшифровать его удалось совсем недавно. Это совпало по времени с моим приездом сюда, — именно тогда не только для меня, не знавшего ни языка немецкого, ни истории, но и для здешних исследователей стали всплывать из небытия имена художников, сожжённых в газовых камерах....

Президент Роман Герцог объявил 27-е января Днём *Shoah*¹, Днём Памяти. В распространённом им письме значит: «Мы не имеем права предавать эти события забвению... Нужно найти такую форму поминовения, которая бы напоминала о жертвах, выражала скорбь о потерях и страданиях, была бы действенна в будущем и противостояла всякой попытке повторения прошлого».

«*Süddeutsche Zeitung*», 27.1.1999

Терезин — небольшая крепость в Богемии, построенная в конце XXVIII-го века австрийским монархом Иосифом в память его матери императрицы Марии Терезии. После оккупации Чехословацкой Республики место показалось руководству «Протектората» идеальным для концентрационного лагеря, — очевидно, из-за близости к Праге и благодаря сохранившимся крепостным стенам. В городок, население которого не должно было превышать шести-семи тысяч, было депортировано около 60 тысяч евреев, — из Чехословакии, Австрии, Германии, Голландии, Дании, Венгрии. В их числе — видные деятели сионизма, ветераны первой мировой войны, писатели, люди искусства... Лагерь был разрекламирован как специальный курорт для «знаменитостей»; с иезуитской жестокостью у пожилых людей вымогали деньги и сбережённые драгоценности в обмен на «место» в Терезине, где их должна была ожидать спокойная, обеспеченная старость.

В действительности их встретили мучительная скученность, отсутствие санитарии, голод, эпидемии, издевательства и унижения. Вскоре подтвердился слух: лагерь предназначено быть пересыльным пунктом по пути на Восток. Ожидание неизбежного уничтожения стало частью будней²...

¹ *Shoah* (иср.) — разрушение, уничтожение, катастрофа. После Второй мировой войны употребляется в том же значении, что и «Холокост».

² Всего в Терезин было депортировано 139 654 человека. В лагере родилось 207 детей. Депортировано на Восток было 86 934 человека, не считая 1260 де-

Скрывая истинное положение дел, нацистская верхушка разыгрывала фарс. В 43-ем году в лагере Аушвиц (Освенцим) организовывается «семейный» филиал. Сюда свозят примерно пять тысяч человек; семьям разрешают быть вместе и даже сохраняют пока жизнь, за что заключённые должны под диктовку писать в Терезин «благополучные» письма. Сам Терезин объявляется «образцовым» гетто. В рамках программы украшения города срочно подновляются фасады, разбиваются цветочные клумбы, во дворах появляются яркие детские качели... Чтобы избежать впечатления перенаселённости, «лишних» — прежде всего больных — внеочередными партиями отправляют в польские пещи. В Терезин приезжает международная инспекция «Красного Креста». Для её членов устраивают показательные выступления. По свежим следам известный кинорежиссёр Курт Геррон снимает фильм «Фюрер дарит евреям город».

«Мировая общественность», по-видимому, удовлетворена (как это у Пушкина? — совсем по другому поводу: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»)... Сведения о том, сколько всего погибло в Терезине, не всегда совпадают. Видимо, в лагере умерло около 155 тысяч. Из тех 88 тысяч, которые были отправлены в транспортных дальнее, выжили 3 500 человек...

Писать так — нельзя! Не только из-за тяжести самой темы и неизбежности страшных округлений. Но, прежде всего потому, что невозможно воспринять подлинное содержание этих цифр. Лишь тогда, когда проступают из забвенья отдельные судьбы, живые сцены, дано нам отдалённо постигнуть происшедшее...

*С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Борис Пастернак*

По законам, действовавшим в австро-венгерской монархии, еврей мог быть взят в армию, но путь наверх по служебной лестнице, — в случае, если он оставался в своей конфессии, — был ему закрыт. Поэтому уже служивший в то время гауптман Максимилиан Ульман и его невеста Мальвина, обвенчавшись вначале в синагоге в Вене, вскоре переходят в католическую веру. После нескольких лет мотаний по гарнизонам, устав от переездов, мать с сыном Виктором возвращается снова в Вену. К этому ли времени относятся первые занятия музыкой, мы не знаем; известно, однако, что в 13 лет Виктор пробует сочи-

тей из Белостока. Из этих депортированных выжило 3 097 701 бежали. Умерло в Терезине 33 430 человек. Ко дню освобождения в Терезине было 16 832 заключённых, из них 8 665 прибыли туда в конце 44 года. Эвакуировано 13 454 человека (многие умерли от разыгравшейся под занавес эпидемии сыпного тифа).

нять сам, в 16 начинает систематически изучать музыкальную теорию, а в 17 дирижирует школьным оркестром в концерте в пользу раненых.

Виктор успел ещё по окончании школы поучаствовать в мае 1916-го в боевых операциях на итальянском фронте. Он командовал взводом, был награждён серебряной медалью «За доблесть» и произведён в лейтенанты. После войны по настоянию отца штудировал юриспруденцию в Венском университете; одновременно, следуя собственному влечению, посещает композиторский семинар у знаменитого Арнольда Шёнберга.

Внезапно, — впрочем, резкие перемены будут для него скорее характерны, — Виктор бросает университет, женится и переезжает в Прагу. Вероятно, это был разрыв с отцом, настаивавшем на буржуазной карьере.

Здесь он оказывается в пёстром водовороте разноречивых культур, завязывает знакомства, читает Рильке и Кафку, чьё присутствие ещё живо ощущалось на пражской сцене, пишет музыку и поэтические тексты к своим сочинениям. Через год после приезда в Прагу Ульман — ассистент главного дирижёра Новой немецкой оперы. В 1930-ом его композиции звучат на фестивалях в Генффе, Праге, Франкфурте, Берлине; критика ставит имя Ульмана в один ряд с выдающимися представителями новой венской школы — Альбаном Бергом, Антоном Веберном.

С первыми крупными успехами появляются и первые симптомы неуверенности в избранном пути, тоска по новым горизонтам. Судьба наталкивает Ульмана на антропософию — учение Рудольфа Штайнера, приводит в Дорнах — «Мекку» антропософов.

«И я там был», — когда вырастает перед вами на холме из зелени громада несколько тяжёловесных, но вместе пластичных форм — задуманный как храм Духа «Гётеанум», — это впечатляет.

Не хотел бы сейчас разбирать «за» и «против» самого учения, — это увело бы нас слишком далеко. Среди последователей Штайнера есть значительные имена, — скажем, русский поэт Андрей Белый, или немецкий — Кристиан Моргенштерн. Для нас существенно другое, — под влиянием новейшей системы взглядов наступает очередной «резкий поворот»: пианист, дирижёр, композитор Виктор Ульман порывает с музыкой! Можно только гадать, как глубоко, может быть, до отчаяния, усомнился этот человек в своём призвании! Вероятно, сомнение — один из признаков истинного таланта. По-моему, нет ничего страшнее людей, которым всё ясно. А ведь таких — большинство...

Подчиняясь собственному решению: «служить антропософскому обществу непосредственно», он переезжает в Штутгарт и становится вначале продавцом, а затем и владельцем антропософской книжной лавки «Гётеанум», которую переименовывает в «Novalisstube». Конечно, Новалис! — загадочный дух немецкого романтизма, всего двадцать девять лет живший на этой бременной земле, но оставивший наследие, и по сей день не исчерпанное пытливыми умами... Новалис дол-

жен был быть близок музыканту, — не он ли сказал, например: «Всякая болезнь есть, прежде всего, музыкальная проблема»?!

Спустя два года средства, однако, иссякают. По неопытности Ульман слишком поздно заметил, что перенял дело в плачевном состоянии. Разорившаяся семья с годовалым сыном возвращается в Прагу. Не только из-за финансовых затруднений: в Германии пришёл к власти фашизм.

Многое вместили последующие годы: деятельность в качестве радиожурналиста, лектора, педагога, психические срывы до признаков мании преследования, и снова — плодотворные периоды. Самое важное — Виктор Ульман опять с музыкой!

Тогда же переживает он и семейный кризис. Старшие дети — Фелиция и Йоханнес — уезжают в Англию. Возможно, предполагалось, что вскоре он и сам присоединится к ним, но тут происходит непоправимое: части вермахта вступают в Чехословакию, «ловушка» захлопывается...

Сохранились драматические свидетельства того, что композитор неустанно искал пути в эмиграцию. В письме школьному другу в Южную Африку за три недели до вступления немцев описывает он безвыходность положения, просит о помощи. Этот крик остался неуслышанным. «Твоя ситуация в Праге хотя и не «розовая» в материальном плане, зато по крайней мере политически надёжна» — ответил корреспондент. Что это было — непонимание или глухота? Наверно, мало кто мог угадать, как всё обернётся...

В январе 42-го было принято «окончательное решение» по еврейскому вопросу. В сентябре того же года Виктор Ульман был отправлен в Терезин.

Наступает последний акт трагедии. Вглядимся пристальней: сколько неожиданного, превосходящего понимание, граничащего с чудом откроется нам. Не поразительно ли хотя бы то, что ульмановских вещей, написанных в мирное время, осталось не так много, тогда как сочинения, созданные в лагере, дошли до нас почти полностью? В который раз подтвердилось булгаковское «Рукописи не горят»!

Один из выживших припоминает лагерную «шутку»: «Что такое Терезин? Концентрационный лагерь, ужесточённый еврейским самоуправлением».

Совет старейшин принуждён был участвовать в геноциде собственного народа. Тем не менее, делалось всё возможное, чтобы приблизить быт к нормальному. В условиях, когда семьи были насильно разьединены, нужно было позаботиться, прежде всего, о детях. По учебным планам, разработанным высококвалифицированными специалистами, втайне от СС велось преподавание... Врачи упорно боролись с неизбежно возникавшими эпидемиями; практически без инструментов проводили операции.

По интенсивности и масштабам культурная жизнь Терезина могла выдержать сравнение с любым крупным довоенным центром. Вначале она таилась по чердакам и подвалам и была связана со смертельным риском; потом, когда нацисты решили использовать лагерь в пропагандистских целях, — даже официально поощрялась. Иначе, как фантазмагорией, не назвать: давно и в Германии, и на всех оккупированных территориях имена «неарийцев» Мендельсона, Малера, Шёнберга, не говоря уже об исполнителях-евреях, были вычеркнуты из концертных программ — в Терезине их музыка звучала открыто! Давно из всех музеев были выброшены произведения «вырожденцев», — здесь разрешалось писать картины, играть национальные пьесы, петь еврейские песни. Разумеется, дело не ограничивалось национальными рамками...

Где-то в спортзале нашли полуразвалившееся пианино без ножек, без педалей. Отремонтировали, как могли. Водрузили на два ящика. В свирепую стужу укутанные по уши певцы и дирижёр Рафаэль Шехтер репетировали «Проданную невесту». Писатель Эгон Редлих записывает в дневнике: «Среда, 25 ноября 1942 г. Ночью замёрзло молоко в кастрюле. Какие опасные морозы! Дети спят, не раздеваясь, и блох становится ещё больше... Сегодня была премьера «Проданной». Прекраснейший спектакль!» Когда зазвучал хор «Как же нам не веселиться!», мало кто в зале не плакал...

Незадолго до начала войны композитор Ханс Краса сочинил для одного из сиротских домов Праги детскую оперу «Брундибар». Репетиции, прерванные депортацией, возобновились в Терезине: и сам Краса, и многие юные исполнители оказались здесь. В течение двух лет «Брундибар» повторялся примерно дважды в месяц. Песенки оттуда пели и насвистывали повсюду. Состав певцов и оркестра несколько раз менялся: на место отправленных в Аушвиц приходили новые. Ханс Краса, музыкант и бродяга, одна из ярких фигур беспечной пражской богемы, автор популярных шлягеров и лирично-гротескной оперы по «Дядюшкиному сну» Достоевского, — что он должен был испытывать, начиная всякий раз заново с другими исполнителями! — но скольким же помогло это забыть окружающий морок...

Одна наугад взятая неделя в Терезине:

понедельник — камерный концерт, ансамбль лёгкой музыки;

вторник — опера Пуччини «Тоска», оратория Гайдна «Сотворение мира»;

среда — сольный вечер пианистки Эдит Штайнер-Краус, в программе — произведения И.-С. Баха; четверг — фортепианный квартет с музыкой Дворжаса и Брамса; пятница — концерт, посвящённый Шопену; суббота — вокальный вечер и симфонический концерт; воскресенье — утром: лёгкая музыка, в 16.30 — оперетта Штрауса «Летучая мышь», в 18.30 — «Реквием» Верди...

В так называемой «малой крепости», превращённой в тюремные казематы, умирающий профессор Владимир Хельферт из Брно читал своим сокамерникам лекции о нравственной силе искусства...

Виктор Ульман организывает в Терезине «Студию современной музыки», «Музыкальную коллегую», много выступает как критик. Некоторые рецензии сохранились. То, что они высокопрофессиональны, — не удивляет. Поражает в них тон: благожелательный, тёплый, но вместе с тем требовательный, даже придирчивый. Ульман судит по всей суровости незыблемых критериев Искусства, как если бы не вкалывали музыканты перед концертом на принудительных работах, не голодали бы (и он вместе с ними!), не вынуждены были играть на раздолбанных пианино вместо концертных роялей, — как если бы за окнами нетопленной казармы, где часто звучала музыка в Терезине, текла насыщенная премьерами и вернисажами жизнь столичной метрополии. Чего больше в этом: желания вытеснить реальность или стремления её преодолеть?.. В рецензиях разбросаны глубокие высказывания, точные афоризмы, показывающие нам величину самого автора. Ну, вот, к примеру: «Бетховен выражал в звуках то, что Наполеон превращал в действие, а Фихте — в свою философию». Или: «Если быть гением означает вести битву не с другими, но с собой, со своими демонами, то быть мистиком означает выиграть эту битву». Это — о Бахе... Несомненно, Ульман-критик — тема для отдельного письма, я же хочу сейчас говорить об Ульмане-композиторе: в Терезине он испытывает необычайный творческий взлёт! Как будто сведены все концы и окончательно обрётён путь... В лагере, где, как он сам писал, «всё окружающее враждебно Музам», создаёт Ульман за неполные два года более двадцати сочинений, и за ними стоят величие и раскованность Мастера.

Впервые прикасается он к своим «корням», обрабатывает народные песни, пишет хоры на древнееврейские тексты. Возникают вокальные и фортепианные сочинения, «Сказание о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (так «аукнула» ещё раз Прага 20-ых годов!), блестящий струнный квартет и духовное завещание композитора — опера «Император Атлантиды»...

Либреттистом этой оперы был поэт, художник Петер Кин. Именно благодаря его лаконичным, экспрессивным зарисовкам знаем мы в Терезине многих «в лицо». Вот одно из его писем другу в Скандинавию, — в нём между строк так хорошо читается горечь человека, лишённого будущего:

«Твоё последнее письмо сопутствует мне здесь как талисман. Хотя я давно знаю каждое предложение наизусть, всё же перечитываю его снова и снова и радуюсь тому, что ты есть на свете. Письму этому уже три года, оно несколько потеряло фасон, выглядит потрёпанным и потёртым, как все фетиши, долго находившиеся в употреблении, — но всё это делает его ещё драгоценнее — благодаря сумме желаний, мыслей, воспоминаний, которые оно в себя впитало... К нам сюда пришла поздняя весна и несколько поспешно выдаёт свои великоления. Вишня уже опала, цвет её стелется под ногами, и это печально, но у каштанов — лучезарные свечки, они сияют при любой погоде».

Одним из кульминационных событий недолгого расцвета Терезина стало исполнение «Реквиема» Верди. Дирижёру Рафаэлю Шехтеру пришлось выдержать борьбу и с ортодоксами, и с сионистами: допустимо ли, чтобы под звуки католической заукойной мессы хоронили евреи сами себя? Свободным выбором своим — вопреки расовым, национальным, религиозным барьерам — подтвердил Шехтер принадлежность европейской, всечеловеческой культуре. Трижды фанатично набирал он около полутора сотен участников хора, солистов, начинал сначала и доводил дело до исполнения, упорно пытаясь «схватить судьбу за глотку». На репетициях уговаривал своих певиц: «Девочки, старайтесь, пойте, как ангелы, — авось, кто-нибудь там в небе и услышит вас!» Задохленьким, им самим отремонтированным инструментом всю громадную амплитуду вердиевского оркестра — от яростных раскатов «*Dies irae*» до тончайшего умиротворения «*Libera me*» — изображал пианист и композитор Гидеон Кляйн...

Впоследствии были найдены детские рисунки, стихи... Франта Басс, в то время — 13 лет:

*Маленький розовый сад, —
чудный какой аромат,
ходит по узкой тропе
мальчонка, сам по себе.*

*Как он дивно хорош!
Бутоны, — вот-вот расцветут.
Как раскроют свой алый цвет —
малыша уж на свете нет.*

Незадолго до отправки в Аушвиц Виктор Ульман написал небольшое эссе, — я хотел бы перевести его для Вас. В Терезине царила тогда эйфория. Стояло лето 1944-го. Один из заключённых ремонтировал машины комендатуры СС; в них было радио. В лагере знали о высадке союзников в Нормандии, о покушении на Гитлера, о приближении восточного фронта. Многим казалось, что жуть Терезина уже принадлежит прошлому, что даже нацисты поймут бессмысленность продолжения бойни... Эссе называется «Гёте и гетто»:

«Значительные личности запечатлевают в поколениях свой стиль, свой жизненный «почерк». Так, мне кажется, что позиция образованного европейца во всём, что касается языка, мировоззрения, отношения к жизни и искусству, к труду и наслаждению, определены Гёте. Показательно, что каждый охотно ссылается на Гёте, как бы ни были различны идеологии. (Другим сильным влиянием, в известном смысле антитезой, противоположностью было влияние Дарвина и Ницше).

Мне всегда представлялось, что гётевское: «Живи мгновеньем, живи вечностью!» раскрывает таинственную суть искусства. Будь то эфемерная, преходящая вещь, скоро увядающий цветок в натюрморте, будь то ландшафт, человеческий облик или поворотный момент истории, — живопись предохраняет их от забвения. Музыка поступает

так же со всем душевным, с чувствами и страстями людей, с «либидо» в самом широком значении, в смысле Эроса и Танатоса. Таким образом «форма», как её понимают Гёте и Шиллер, одухотворяет косную материю, массу.

Терезин был и остаётся для меня школой формы. Раньше, когда не чувствовались бремя и тягота материальной жизни, — они вытеснялись комфортом, этой магией цивилизации, — легко было создавать красивые «формы». Здесь, где нужно повседневно преодолевать сопротивление материи, где всё окружающее враждебно Музам, — здесь истинная школа мастерства, если вместе с Шиллером видеть тайну произведения искусства в преобразовании материи в форму, — что, по-видимому, вообще является миссией человека, — взятой не только эстетически, но и в этическом плане.

Я написал в Терезине довольно много нового, чаще всего по просьбам или пожеланиям дирижёров, режиссёров, пианистов и вокалистов... Надо подчеркнуть, что Терезин не препятствовал, но способствовал моей музыкальной работе; что мы ни в коем случае не сидели, плача и стеная, на берегах рек вавилонских; что наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни...».

Хочу понять: чудовищной машиной насилия человек загнан в капкан. И он не раздавлен, не ропщет, но чуть ли не благодарит судьбу!.. Смирение? Истязаемой палачом жертве померещилось приукрасить муки свои? Или иначе: в этом «суждено было претерпеть Сыну Человеческому!» — нечто от огромной истовой веры Иова? Что служило опорой ему: Бог? или антропософские убеждения? Не знаю, — всякие спекуляции должны умолкнуть перед такой силой духа. Каждый час творчества был Сопротивлением — «материи»: и в том значении, в каком понимал её Шиллер, и в той страшной реальности, в которой она окружала Ульмана, вынужденного прибегать к эзопову языку. Каждым днём в Терезине доказал он крепость своей веры! Драгоценна в ульмановском эссе для меня и несломленная верность, верность высоким идеалам немецкой, европейской культуры. Художник, мыслитель, только в силу происхождения своего обречённый двуногими скотами на уничтожение, как бы и не замечает, что эти современные варвары тоже разговаривают на языке Гёте и Шиллера, — он остаётся до конца непреклонным гуманистом... И, подводя в этих строках, в сущности, итог исканиям всей жизни, Поэт остаётся верен себе: как многогранна и символична одна только аллитерация «Гёте и гетто»!..

«Гидеон — его мы просто боготворили! И благодаря его искусству, и потому, что он был фантастически красив!»... «Его лицо достойно было того, чтобы быть увековеченным Кокошкой или Шиле; что-то почти демоническое проглядывало в его чертах. Он был моим идолом»... «Гидеон Кляйн был романтическим Маэстро, победоносным мастером на все руки, прирождённым гением»...

До депортации он был признан лучшим пианистом среди выпускников Пражской консерватории. Королевская музыкальная академия в Лондоне узнаёт о нём и предлагает с сентября 1940-го место и стипендию. Оккупационные власти разрешения на выезд не дают...

Как молодой и здоровый — ему было тогда двадцать два — Гидеон Кляйн попал в Терезин в числе первых. Он был зачислен в «Aufbaukstando», в задачу, которой входила подготовка города к приёму массовых заездов. Со временем обязанностей, связанных со встречами вновь прибывших, становится меньше. Кляйн посвящает себя, как и в последние годы перед войной в Праге, детям... Поначалу в Терезине были запрещены и книги; Гидеон собирал своих подопечных и часами читал им — наизусть!

Если даже отрешиться от постоянно нависавшей угрозы смерти, очень многих в лагере угнетала невозможность остаться в одиночестве. Трудно вообразить, как обнажены были у всех нервы. Кляйн умел ладить и с молодыми, которые были в него просто влюблены, и со «стариками» (Ульман, Краса были примерно на двадцать лет старше) — те ценили в нём талант и крупную личность. «Добрый дух» всей культурной жизни гетто, он незаметно и скромно организовывал, увлекал, примирял. Когда более пожилой, больной композитор Павел Хааз впал в тяжёлую депрессию (бич многих в Терезине!), Гидеон принёс ему нотную бумагу, буквально заставил начать сочинять, — Кляйну мы обязаны сохранившимися композициями П.Хааза. Он и сам именно здесь созрел как композитор, — уцелевшие его произведения говорят за него и о нём... Неподкупный Ульман отзываясь о Гидеоне Кляйне с присущей ему сдержанностью, — тем весомее звучит оценка: «Без сомнения, у Кляйна — значительный талант, можно только удивляться столь ранней, стилистически уверенной зрелости».

Предчувствуя наихудшее, Виктор Ульман привёл в порядок свои рукописи и отдал их надёжному человеку. Прodelав после войны сложный путь, они оказались, в конце концов, в Дорнахе, в «Гётеануме» (ещё один символ!), где и хранятся по сей день.

Обычно СС не вмешивалось в составление списков на «отpravку», — это было прерогативой еврейского самоуправления. Осенью 44-го нацистское руководство поимённо назвало тех, кому предстояло совершить последний путь на Восток. Тем самым была целенаправленно уничтожена вся культурная элита Терезина... 16-го октября 1944-го года в одном составе, направлявшемся в Аушвиц, находились Виктор Ульман, Гидеон Кляйн, Ханс Краса, Павел Хааз, Рафаэль Шехтер — и многие другие, оставшиеся безымянными. Два дня спустя почти все они были сожжены.

Жизнь человека подобна тени. Но какой тени?

Неизменной тени, отбрасываемой зданием?

Или тени дерева в сменяющихся временах года?

Нет, человеческая жизнь подобна тени птицы в стремительном полёте:

Чуть появившись, уже исчезла она.

(Талмуд)

Из всех вышеназванных так называемую «селекцию» прошёл только Гидеон Кляйн. Его отправили в лагерь Фюрстенгрубе. Очевидец вспоминает, что по прибытии заключённым приказано было для медицинского освидетельствования раздеться донага. Большая комната, где ждали врача, была пуста, если не считать стоявшего в углу пианино. Охранник поинтересовался, нет ли в группе музыкантов. Кляйн подошёл к инструменту и — обнажённый, как и все — стал играть. Вспоминавший не был искущён в музыке и не знал названия произведения, но эпизод этот врезался ему в память навсегда. Он добавляет, что если бы пианист сыграл что-нибудь вроде «Собачьего вальса» по вкусу эсэсовца, ему удалось бы облегчить свою участь, а то и спасти в дальнейшем свою жизнь. Гидеон Кляйн этого не сделал.

За несколько дней до освобождения, весной 1945-го, все заключённые погибли при ликвидации лагеря. Кляйну к тому времени только что исполнилось двадцать пять...

Теперь Вам будет понятен скрытый смысл стихов, приведённых в начале письма: хотя либретто оперы сделано не им, эти слова Ульман вписал в партитуру сам. Он цитирует здесь одно из своих пражских сочинений, до нас не дошедших. Не император, но сам композитор прощается и с Прагой, и с нами:

...Где нет тебя, там снег идёт.
Где нет тебя, там шумный летний дождь...
Но как ты думаешь: малыш идёт к колодцу,
конь в кузнице стоит и ждёт, чтоб подковали, —
так помяни меня без сожалений...
Не плачьте обо мне!
Я ухожу за этим отроком чужим,
куда — я не скажу тебе,
но тихая живёт во мне надежда:
я вернусь...
Ибо не даль, куда иду, достойна слёз,
но эта близь, покрыта вечной тенью.

Сбылось пророчество. Они вернулись...
Всего Вам доброго! Пишите!

Январь 1999 г

Михаил Гиголашвили

/ Саарбрюккен /

Немцы и немецкое в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского

Не удивительно и закономерно, что большинство героев-европейцев у Достоевского (и вообще в русской литературе) — именно немцы, как приехавшие, так и свои, местные, русские немцы, «внутренние иностранцы». Причина кроется в причудливых зигзагах истории, в таком социально-историческом феномене, как массовые переселения немцев-колонистов в Россию, в укорененности их во всех слоях русского общества, в географическом положении (Германия, — по словам Достоевского, «самый большой и самый главный» сосед России в Европе), и в кармическом законе притягивания противоположностей — ведь на мировой сцене символов славянский и германский характеры (менталитеты) олицетворяют полярные понятия, но в силу закона притягивания противоположностей стремятся друг к другу.

Российские немцы являлись уникальным связующим звеном между двумя мирами, Германией и Россией, их взносы шли в копилки обеих культур, они были как сообщающиеся сосуды, соединяющие две народные души. Однако у российских немцев были и тяжелые функции, одна из которых — заложничество в слишком амбивалентных отношениях России и Германии (от большой любви до большой вражды): каждое облачко на политическом небосклоне оборачивалось бурей для российских немцев, не говоря о войнах и конфликтах, в конце концов и уничтоживших этот уникальный феномен.

Немцев в процентном отношении к другим иностранцам в России было абсолютное большинство. Главные общины были в Санкт-Петербурге и Москве, а по всей России были раскиданы немецкие колонии, социально-торговые нити из которых обязательно тянулись в ближайшие большие города, где всегда можно было найти такую экзотическую прослойку, как обрусевшие немцы, не теряющие, однако, своих родовых, германских черт характера. Немцы, от сельчан-колонистов до царской фамилии, от ремесленников-мастеровых до чиновничье-бю-

рократической верхушки императорского Петербурга, были плотно внедрены в русский социум: бироны, канкрины, остен-сакены, пассаки, минихи, клейнмихели, бенкендорфы, дубельты и др. были зловещей реальностью, еще до того, как превратились в черные дыры русской истории и литературы.

Русские немцы были составной частью реальной жизни: «ученые» немцы заседали в академиях и училищах, преподавали в пансионах и школах, немцы-чиновники руководили канцеляриями и министерствами, немцы-врачи, инженеры, механики трудились в больницах, на заводах и фабриках, немцы-ремесленники работали в мастерских, немцы-торговцы сидели в своих лавках и магазинах. Достоевский с детства жил среди них, общался с ними, слышал их речь, подчас ломаную и неправильную (этот волапюк, «смешное наречие», впоследствии станет в его произведениях маркером при изображении немцев).

Немцы, как в колониях, так и в городах, вызывали у коренного населения не только большой интерес, но подчас и зависть к достатку, зажиточности, довольству, чистоте, порядку, четко организованному труду и быту. Несмотря на определенную замкнутость общин и колоний, немцы были известны в России не понаслышке, как англичане, французы или итальянцы, а в реальности, в действии, в повседневном быту, в процессе труда и жизни, их удельная доля в социальной жизни России всегда была очень высока, что и нашло свое отражение в русской литературе. Немцев русский народ видел, слышал, общался с ними, а писатели-реалисты — это глашатаи и озвучиватели народной души. Немцы и немецкое попадает в список почти обязательных реалий любого большого прозаического произведения русского реализма, охватывающего разные слои, прослойки, ниши и углы общества.

Постепенно сформировалось некое двойственное к ним отношение: с одной стороны, немцы образованы, пунктуальны, настойчивы, работоспособны, бережливы, надежны как работники-профессионалы, упорные искатели и мыслители, трезвые и рациональные ученые, философы, двигатели прогресса, разработчики, за что их должно уважать; с другой — они книжники, начетчики, скучные скупердяи, солдафоны, аккуратисты, ханжи и стукачи, и за это их можно высмеивать.

Практически во всех романах и повестях Достоевского тема немцев получает свое освещение и осмысление. Многочисленные параллели с письмами, статьями и «Дневником писателя» дополняют картину. Уже в раннем творчестве писателя отчетливо маячат причудливые, неординарные личности героев-немцев. Их появление придает тексту новые краски и оттенки, часто сатирические и юмористические, оживляет действие, наполняет его множеством неожиданных ассоциаций, а также динамизирует язык, выявляя его скрытые, особые ресурсы — варваризмы, на которых зачастую строится речь героев-иностранцев.

Достоевский в этом не оригинален и следует русской реалистической традиции — начиная с Фонвизина, авторы старшего поколения (Пушкин, Гоголь, Лермонтов) и современники Достоевского (Тургенев, Лесков, Толстой, Гончаров, Салтыков-Щедрин) делали немцев героями своих произведений, с разной интенсивностью выписывая их образы. А «немецкие» детали почти обязательны во всех прозаических шедеврах русской литературы.

В «Преступлении и наказании» (1866) «немецкое» начинает преследовать Раскольникова сразу, с первых страниц, когда он идет «делать пробу» задуманному безумию: «Эй, ты, немецкий шляпник!»¹(7)¹ — орут ему на площади, и будущий убийца понимает, что его шляпа, «высокая, круглая, циммермановская», привлекает к себе внимание и может сослужить в будущем плохую службу: «За версту заметят, запомнят... ан и улика.... Мелочи, мелочи главное!...» — упрекает он себя, приближаясь к дому старухи-процентщицы. (Циммерман — известный в Петербурге владелец фабрики и магазина головных уборов на Невском, где, по воспоминаниям вдовы писателя, сам Достоевский покупал себе шляпы).

Дом старухи-процентщицы «заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелкими чиновниками и проч.» (8) .

В доме, на лестнице, Раскольников встречает носильщиков, выносящих мебель из одной из квартир. Он уже прежде знал, что в этой квартире «жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо. На всякий случай...» (8). Как известно, этот случай скоро представился: пустой квартире суждено сыграть важную сюжетобразующую роль — там красили маляры, там спрятался Раскольников после убийства, когда Кох и студент Пестряков пошли за дворником. Условно говоря, без этой квартиры не было бы и завязки романа.

В квартире старухи-процентщицы Раскольников обратил внимание на висящие на стене грошовые картинки, изображавшие «немецких барышень с птицами в руках» (10). Не из той ли серии, что висели на станции у Самсона Вырина («Повести Белкина»)? Эти картинки настолько важны, что Достоевский не забывает напомнить о них в жутком сне Раскольникова о повторном убийстве старухи-процентщицы (269).

¹ Курсив всюду мой — М.Г. В тексте, в скобках, даны страницы «Преступления и наказания» по: Ф.М.Достоевский, Полное Собрание Сочинений в 30-ти томах, Л., 1973 г. Изд-во «Наука», т. 5.

Картинки важны и для Пушкина — в набросках 1830-х гг. «Записки молодого человека» сталкиваемся с описанием «немецких картинок», которое Пушкин потом использует в «Станционном смотрителе» почти полностью, добавляя лишь интересное уточнение — «под картинками напечатаны *приличные немецкие стихи*»). Как известно, сюжет этих картинок дублирует сюжет «Станционного смотрителя».

Многие герои романа живут в домах и квартирах, принадлежавших немцам. Сам Раскольников раньше жил в доме Буха (120), а теперь живет в доме Шиля² (170). В доме богатого немца живет Мармеладов («А вот и дом. *Козеля дом. Слесаря, немца, богатого...*» (26). Он не только живет в доме Козеля, но и квартирует у немки *Амалии Липтевхель* (26). Свидригайлов снимает комнаты у мадам *Ресслих, Гертруды Карловны* (237). Лужин снял квартиру у немца-хозяина, и тот твердо не соглашается на ее возврат («этот хозяин, *какой-то разбогатевший немецкий ремесленник*, ни за что не соглашался нарушить только что совершенный контракт и требовал полной прописанной в контракте неустойки». (349). Иеремия Смит в «Униженных и оскорбленных» живет в доме *Клугена*. Уже Лермонтов поселил своего Лугина в доме титулярного советника *Штосса*.

Сам Достоевский часто снимал квартиры у немцев. Только с октября 1846 по апрель 1847 года он сменяет несколько квартир, живет в доме Кохендорфа, в квартире m-me Capdeville, в доме Шиля, в квартире Бреммера. Мотив немецкой (шире — иностранной) собственности на дома, квартиры, номера, магазины и т.д. будет варьироваться писателем на протяжении всей творческой жизни и вполне объясним: Петербург всегда был центром русских немцев, шире — всех иностранцев, ибо в те времена зачастую «немцами» называли вообще всех чужеземцев-европейцев, которые начиная с петровских времен тысячами въезжали в Россию. В Петербурге, северных воротах империи, традиционно были самые большие их общины и колонии (описанные уже в «Гробовщике» Пушкина), издавались газеты, строились церкви и школы, а удельный вес немецкого населения был очень высок как среди врачей, инженеров, юристов, преподавателей, так и среди ремесленничества (Гофман и Шиллер в «Невском проспекте» Гоголя).

В «Преступлении и наказании» автор набрасывает образы нескольких немцев, владельцев квартир, кафе и борделей. В начале романа упомянута некая *Дарья Францевна*, «женщина злонамеренная и полиции многократно известная» (20), сводня и бандерша, которую Рас-

² Шилю принадлежало еще несколько домов в тогдашнем Петербурге. В одном из них жил сам Достоевский в 1847-49 гг. См.: Ф.М.Достоевский, Полное Собрание Сочинений в 30-ти томах, Изд-во «Наука», Л., 1973 г. т.7, стр. 378.

кольников поминает недобрым словом в сцене с пьяной девочкой на К-ом бульваре.

Во время своего первого визита в полицию Раскольников встречает там хозяйку борделя, колоритную *Луизу Ивановну*: «Очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала». А ждала она разноса за вчерашний скандал в своем заведении.

На ругань поручика Пороха она спешит объяснить случившееся: «— Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, — затараторила она вдруг, точно горох просыпали, *с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски*, — и никакой, никакой скандаль... Они совсем пришошь пьян и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногом фортепянь играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он ганц фортепянь ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манер, и я сказалъ. А он путилку взял и стал всех сзади путилкол толкаль. И тут как я стал скоро дворник позваль и Карль пришошь, он взял Карль и глаз прибиль, и Генриет тоже глаз прибиль, а мне пять раз щеку биль. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитэн, и я кричалъ. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжалъ; и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья, визжалъ; и это срам. Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за фрак от окна таскаль и тут, это правда, ему зейн рок изорваль. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых ман мус штраф платиль. И я сама пять целковых ему зейн рок платиль. И это неблагородный гость, господин капитэн, и всякий скандалъ делаль! Я, говорилъ, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас всё сочиниль» (98-99).

Традиция подобных фонетических искажений речи идет от Фонвизина, Пушкина и Гоголя, которые в сатирических целях уже прибегали к ломаной на «немецкий манер» русской речи своих героев. Пушкин в «Гробовщике» емко обозначил эту речь: «Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать *немца-ремесленника*, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он *тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем*, — извините, что я вам помешал... я желаю поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готтлиб Шульц»³.

Уже слова *Адама Адамыча Вральмана*, учителя-немца из «Недоросля» Фонвизина (1782) переданы в фонетической транскрипции и порой изуродованы до неузнаваемости: «Ай, ай, ай, ай, ай! Теперь-то я фи-

³ А.С.Пушкин. Полное Собрание Сочинений в шести томах. Госиздат художественной литературы, М., т. 4, стр. 81.

жу! Умарить хотят репёнка! Матушка ты моя! Сшалься нат сфаей утропою, котора дефять месесоф таскала, — так скасать, асмое тифа ф свете. Тай фолю этим проклятым слателям. Ис такой калафы толго ль палфан? ... Ушь диспозисион, ушь фсё есть... Матушка моя! Што тепе натопно? Сынок, какоф есть, да тал пох сдорoffee; или сынок премудрой, так сказать, Аристотелис, да в могилу ... Рассути-ш, мать моя, напил приохо лишне: педа. А фить калоушка-то у нефо кораздо слапе приоха; напить ее лишне да и захрани поже!» и т.д.

У Фонвизина комический эффект достигается в основном искажениями в области фонетики: оглушением согласных, подменой и смешением шипящих. Достоевский в речи Луизы Ивановны делает упор на всегда мягкое «л», выделяет неверное употребление предлогов, инкрустирует текст немецкими словами.

Другая петербургская немка, мадам *Гертруда Карловна Ресслих*, вообще не появляется в романе в качестве действующего лица, но о ней говорят, она участвует косвенно в действии, ее психологический портрет разработан более детально, и если пышная Луиза Ивановна — это эскиз в юмористических тонах, то образ мадам Ресслих прописан сплошь черной краской. Читатель впрямую с Ресслих не сталкивается, но впечатление от этой темной фигуры остается сильное.

Свидригайлов сообщает Соне, что живет «у мадам Ресслих, Гертруды Карловны» (237). В разговоре с Раскольниковым он уточняет, что Ресслих — его «старинная и преданнейшая приятельница» (424). В другом месте он называет ее «пройдохой» и «шельмой». Тень этого зловещего персонажа время от времени возникает за спинами действующих героев.

Лужин так характеризует её отношения со Свидригайловым: «Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая *Ресслих*, иностранка и сверх того мелкая процентщица, занимающаяся и другими делами. С этою-то Ресслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У нее жила дальняя родственница, племянница, кажется, глухонемая, девочка лет пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, всё это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия; наконец, в сущности, и доноса не было, благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны; всё ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен» (288-289).

Частица «же» («другой же немки») говорят о том, что Гертруда Карловна Ресслих — немка, что, впрочем явно видно из её имени и

подтверждается отчеством (Карл — любимое мужское «немецкое» имя у Достоевского⁴). Это в ее комнатах такие тонкие стены и такие большие замочные скважины, что Свидригайлов может спокойно подслушивать, что делается в соседнем номере, где живет Соня и куда приходит Раскольников.

Свидригайлов и раньше пользовался услугами этой шельмы, пользуется и теперь. В последнем разговоре с Раскольниковым он с иронией сообщает, что Ресслих *«вечно в хлопотах, но хорошая женщина, уверяю вас... Может быть, она бы вам пригодилась, если бы вы были несколько рассудительнее»* (471), намекая, очевидно, на способности Ресслих помочь Раскольникову достать фальшивые документы, скрыться из Петербурга, организовать побег за границу.

Далее становится ясно, что мадам Ресслих промышляет (как и Дарья Францевна и Луиза Ивановна) «живым товаром», молодыми девушками: Свидригайлов, рассказывая о каком-то своем прежнем развлечении («девчонка-то, в воде-то, зимой-то...») прямо указывает на своднические функции Ресслих: «Ну, так она мне всё это состряпала; тебе, говорит, так-то скучно, развлекись на время» (465). Он сообщает далее, что Ресслих теперь сватает ему «жену», шестнадцатилетнюю девочку: «А Ресслих эта шельма, ... она ведь что в уме держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот; в нашем слою то есть, да повыше» (465).

Мадам Ресслих имеет конкретного прототипа и восходит к ростовщице, которой Достоевский после смерти брата должен был платить «капитал и проценты» — в черновых записях к роману и в письмах она названа своим именем — «шельма Рейслер».

Интересно, что в подготовительных материалах Достоевский пробует возможные контакты Рейслер с другими героями. Так, была наметчена связка Рейслер-Соня-Разумихин, где Разумихин прямо увязывался с очередным скандалом у многострадальной Луизы Ивановны: «Рейслер и воровка — (Рейслер говорит Соне). Жаль только, что он тебя учил: убей. Соня дала знать Разумихину. Разумихин, прикинувшись в глазах Рейслер врагом Сони, выпытал Рейслер. Ничего не знает. Но Соня уже достала 50 р. вперед, чтоб к Луизе Ивановне, куда

⁴ Ср.: Степан Карлович («Бедные люди»), Карл Иванович Бризенмейстер, управляющий («Как опасно предаваться честолюбивым снам»), Карл Федорович, медик («Роман в девяти письмах»), Карл Федорович, танцовщик («Нечотка Незванова»), Луиза Карловна, дама из Мордасова («Дядюшкин сон»), Федор Карлович Кригер («Униженные и оскорбленные»), крокодил Карльхен («Крокодил») и т.д.

сам Разумихин посоветовал. Разумихин там все разбивает у Луизы и дивится Соне, которая себя запродала за него»⁵.

Предполагалось также, что Лужин будет шантажировать Соню через Ресслих: «Рейслер слышала (всё про Рейслер). Он связывается с Рейслер и догадывается (вся история), что он убил. Грозит Соне, что он погубит ее... Он связывается с Рейслер и грозит Соне. ... Сплетни Рейслер»⁶, однако в окончательном варианте контакты Рейслер-Ресслих замкнулись на Свидригайлове, и они образовали пару, которой автором передоверены все «черные дела» романа.

Интересно, что в подготовительных материалах, в ёмкой характеристике Свидригайлова, где по пунктам перечислены все важнейшие мотивы этого притягательно-отталкивающего образа, Рейслер и насильничество детей стоят друг за другом: «(13) Рассказывает вдруг невзначай, как ни в чем не бывало, такие анекдоты, как о Рейслер. 14) о насильничании детей, но бесстрастно. NB. Анекдоты его ужасны»⁷.

Амалия Липпевехзель — третья (после Луизы Ивановны и мадам Ресслих) петербургская немка-квартировладелица. Образ её разработан более детально, а сцена ее ссоры с Катериной Ивановной — настоящий клад не только для читателей, но и для лингвистов, ибо насыщена тем «смешным наречием», о котором уже шла речь.

Амалия Липпевехзель появляется на страницах романа не часто, но всегда активно. В начале мы узнаем о ее существовании из рассказа Мармеладова («Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Липпевехзель, а чем живем и чем платим, не ведаю.» (19), потом видим её в сцене с умирающим Мармеладовым (она прибежала «производить распорядок. Это была *чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка*». (176), и, наконец, на поминках.

Вопреки укоренившемуся мнению, ей вовсе не чужды человеческие порывы — она хлопочет возле умирающего Мармеладова, организует его поминки, старается сохранить мир среди своих жильцов, а в ссорах куда сдержаннее на язык, чем Катерина Ивановна, которая кроет ненавистную хозяйку изощренной бранью: «глупая немка, пьяная немка, подлая прусская куриная нога в кринолине, чумичка, пьяная чухонка, кукушка, сова, сычиха в новых лентах, шлепохвостница, дурында».

Сцена скандала проходит в несколько этапов, как и многие центральные, ключевые сцены у Достоевского, затяжные, идущие по на-

⁵ Ф.М. Достоевский, Полное Собрание Сочинений в 30-ти томах. Изд-во «Наука», Л., 1973 г. т. 7, стр. 134.

⁶ Там же, стр. 159.

⁷ Там же, стр. 163.

растающей, с несколькими пиками, каждый из которых выше предыдущего.

Первые искры летят сразу же, как только все вернулись с кладбища: Липпевехзель встретила гостей «вся разодетая, в чепце с новыми траурными лентами и в черном платье». Это не понравилось Катерине Ивановне.

Возгорание происходит, когда Амалия Липпевехзель, желая загладить неловкость за столом, принялась рассказывать, что какой-то знакомый ее, «Карль из аптеки», ехал ночью на извозчике и что «извозчик хотел его убивать и что Карл его очень очень просиль, чтоб он его не убивал, и плакаль, и руки сложиль, и испугаль, и от страх ему сердце пронзиль».

Катерина Ивановна замечает, что «Амалии Ивановне не следует по-руски анекдоты рассказывать». Та обижается и напоминает, что ее «фатер аус Берлин буль ошень, ошень важны шеловек и всё руки по карман ходиль». На это Катерина Ивановна раздражается тирадой: «Вот сычиха-то! ... Хотела сказать: носил руки в карманах, а вышло, что по карманам лазил, ххи-ххи! И заметили ль вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть, главное, немцы, которые к нам откудато-то приезжают, все глупее нас! Ну согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что «Карль из аптеки страхом сердце пронзиль» и что он (сопляк!), вместо того чтобы связать чиновника, «руки сложиль», и плакаль, и ошень просиль». Ах, дурында!» (375).

На повторное упоминание об отце Липпевехзель («майн фатер аус Берлин буль ошень, ошень важны шеловек и обе рук по карман ходиль и всё делаль этак: пуф! пуф!») Катерина Ивановна немедленно предполагает, что у Амалии Ивановны может, никогда и фатера-то не было, а что просто Амалия Ивановна — «петербургская пьяная чухонка и, наверное, где-нибудь прежде в кухарках жила, а пожалуй, и того хуже» и до сих пор неизвестно, как зовут Амалию Ивановну по батюшке: Ивановна или Людвиговна?

Тут Амалия Ивановна, рассвирепев окончательно и ударяя кулаком по столу, принялась визжать, что она Амаль-Иван, а не Людвиговна, что ее фатер «зваль Иоган и что он буль бурмейстер» и чтоб Катерина Ивановна «в сию минуту съезжал с квартир», затем бросилась собирать со стола серебряные ложки. Поднялся гам и грохот; дети заплакали.

Это — первый пик сцены. Вдруг появляется Лужин и предъявляет Соне обвинение в воровстве. Амалия Липпевехзель чувствует неожиданную поддержку: «Гот дер бармгерцигер!»⁸ Я так и зналь, что она вороваль!». А когда из кармана Сони выпадает сторубливка, тайком за-

⁸ Боже милосердный! (нем.)

сунутая туда Лужиным, Липпевехзель торжествует: «Воровка! Вон с квартир! Полис, полис! Их надо Сибирь прогнать. Вон!» (383).

Наступает второй пик сцены. Скандал усиливается. Неожиданно Лебезятников разоблачает происки Лужина. Теперь общий гнев обрушивается на Лужина, все кричат и шумят, и «всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался».

Можно сделать вывод, что Амалия Липпевхзель отнюдь не все понимает по-русски и многие детали разоблачения Лужина остаются для нее тайной из-за слабого знания русского языка. Когда же в поднявшейся драке в нее попадает стакан, она не выдерживает — «с визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою: — Долой с квартир! Сейчас! Марш! — И с этими словами начала хватать всё, что ни попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать их на пол» (392).

Следует третий, и последний пик. Гости орали и дрались, Катерина Ивановна кинулась на улицу искать справедливости, а Амалия Липпевхзель «металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что ни попадалось ей, на пол, и буйнила» (393).

В романе просматривается цепочка петербургских немок. Липпевхзель — главная из них. Луиза Ивановна — героиня одной блестящей сцены. О Ресслих только рассказывается, но ее тень незримо присутствует в романе. О Дарье Францевне сказано коротко, вскользь, а анонимная «отъявленная» немка (написавшая донос на Ресслих), только упомянута. Одни написаны детально, другие только набросаны штрихами, однако их всех объединяет ряд черт, в числе которых — алчность, скупость, хватка и криминальная активность. Один образ в пяти ипостасях. Складывается впечатление, что автор распределил свою ненависть к «шельме Рейслер» на пять героинь и наверняка не ошибся в типичности этого собирательного образа, восходящего к пушкинской «злой немке Ротберх» («Мария Шонинг»).

Интересно, что уже в «Двойнике» действует структура из нескольких «темных» немок, где вокруг главной, опорной «злой» немки, выписанной с большей тщательностью, группируются другие, «периферийные», тоже злые и подозрительные немки, а их внутренние и внешние черты как бы дополняют характер основной героини: это Каролина Ивановна (у которой живет Голядкин), «пресдобная» немка-хозяйка кафе, где подрались Голядкин-старший и Голядкин-младший, и некая немка-хромоножка, отдающая внаймы комнаты.

У самых истоков раскольниковского преступления (в прямом и переносном смысле) стоит некий Кох, один из клиентов старухи-процентщицы, о котором глухо сказано, что он скупал у нее просроченные заклады. Кох дергает дверь квартиры, а Раскольников смотрит на

прыгающий крючок и думает о том, что и этого свидетеля, как и Лизавету, придется убивать.

Но Коха спасла его страсть к порядку — он решил пойти вниз за дворником, и потом, на радостях, что не попал под топор, собирается отслужить «русский молебен» (103). В подготовительных материалах он фигурирует под фамилией *Бергштольц*, что говорит о том, что Достоевскому обязательно надо было оттенить факт его немецкого происхождения: «Этот *Бергштольц* у нее просроченные заклады скупал и внизу же серебренику их продавал! Это шельма, да то-то вот у нас — что *шельма*, что заклады скупал, так вот уж он непременно убил»⁹.

Фамилия Бергштольц явно из серии сделанных (Берг — гора, Штольц — гордость), вроде фамилии лечащего врача Голядкина в «Двойнике» — Рутеншпитц, вывернутый наизнанку «шпицрутен». Игра с немецкими фамилиями уже была опробована в «Униженных и оскорбленных», где жених обманутой красавицы *Генрих Зальцман* попеременно назван Маслобоевым Феферкухен — Фрауенмилх — Фейербах — Брудершафт.

Со слов Мармеладова мы узнаем, что некий *Клопшток*, *Иван Иванович*, не заплатил Софье Мармеладовой за шитье рубашек: «не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот шит не по мерке и косяком» (20).

Фамилия известного немецкого романтика Клопштока привлекла в свое время внимание Гете: «Сначала удивлялись, как такой замечательный человек носит такую странную фамилию, но к этому скоро привыкли и перестали заниматься значением этих слогов» (*klopfen* — стучать, *Stock* — палка, стучащая палка)¹⁰.

М. Альтман усматривает в этой фамилии второй план: «Этим рассказом Достоевский как бы говорит — вот, значит, каковы они в реальной действительности, эти, только по имени лишь романтики, так называемые Клопштоки...»¹¹.

К умирающему Мармеладову приходит «доктор, аккуратный старичок, немец» (178) — сородич всех других врачей и лекарей немецкого происхождения в русской прозе, первым из которых был лекарь из «Станционного смотрителя», за 25 рублей охотно подтвердивший мнимое нездоровье Минского. Не тот ли это холостой и добродушный старичок доктор, что живет у Владимирской с своей экономкой-немкой и лечит больную Нелли в «Униженных и оскорбленных»?..

⁹ Достоевский, цит. с.с. т. 7, стр. 65, 66.

¹⁰ Цит. по М.С. Альтман, «Достоевский. По вехам имен». — Изд-во Саратовского ун-та, 1975, стр. 168.

¹¹ Альтман, цит. соч., стр. 163.

В романе много интересных «немецких» деталей. Так, Раскольников, узнав из письма матери о решении сестры Дуни выйти замуж за Лужина, называет своих родных «шиллеровскими прекрасными душами» (44). Шиллер для Достоевского — это вечный символ, слово-маркер, обобщение, которым писатель обычно обозначает такие романтические реалии, как чистота души, безгрешность, наивная доброта, неумение обделывать свои дела, устраиваться в земном миропорядке¹². Шиллеровская душа — это прекрасная душа.

Имя великого романтика несколько раз всплывает в романе: уговаривая Раскольникова прийти с повинной, Порфирий Петрович иронически сравнивает себя с Шиллером: «Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер?» (446). (В этом же разговоре, сообщая, что в квартире Раскольникова был сделан обыск, Порфирий Петрович роняет вдруг по-немецки: «... но — umsonst!»¹³) (438).

В свою очередь, Свидригайлов называет Шиллером Раскольникова и признается в любви к великому германцу: «Вы — Шиллер, вы — идеалист! ... вы сами — прелюбопытнейший субъект! А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю» (457). Предлагая поехать к шестнадцатилетней «невесте» и дразня Раскольникова разными пряными деталями, Свидригайлов подтрунивает над ним: «Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то! ... вы вот всё охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно» (468, 470).

На страницы романа попадает также имя великого немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера. Оно упомянуто в контексте перечисления имен «законодателей и установителей человечества», Ликурга, Солона, Магомета и Наполеона.

При первом появлении Лужина Достоевский интересно характеризует его портрет: «Даже волосы, впрочем, чуть-чуть с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец» (143).

Вспоминаются слова Набокова, приписываемые им Гоголю, что «немец вообще не очень приятен, но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться»;

¹² Ср.: «Имя Шиллера для Достоевского с юных лет было «родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». Возвышенные мечтания, чувство прекрасного, связанные с чтением Шиллера, Достоевский рекомендует воспитывать в детях. Как символ этического идеализма имя Шиллера и образы шиллеровских «прекрасных душ» нередко встречаются также и в других романах Достоевского». Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, Л., 1973 г. Издательство «Наука», т. 7, стр. 366.

¹³ напрасно! (нем.)

тогда он может дойти до страшных нелепостей»; По словам Набокова, Гоголь в качестве примера пошлости рассказывал о некоем немце, плавающем, обнявши двух лебедей, в пруду перед окнами своей возлюбленной, чтобы добиться ее благосклонности: «немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж»¹⁴. Эти лебеди чем-то напоминают картинки «немецких барышень с птицами в руках», что висят на стенах у старухи-процентщицы.

Тяжелые мысли о будущем сестры Дуни рождают в голове Раскольникова следующие параллели: Дуня «скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой» и свою нравственную свободу «за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст» (45).

Эта же немецкая земля всплывает и в «Записках из подполья»: по мнению героя, главный недостаток человека — «это постоянное неблагонаравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих». Отторжение герцогств Шлезвиг и Гольштейн от Дании и присоединение их к Пруссии было одной из целей войн Пруссии с Данией и Австрией в 1864-1866 гг. Эти события широко освещались в русской прессе и, в частности, в журнале Достоевского «Время»¹⁵.

Из прессы в роман попал и другой эпизод: Свидригайлов упоминает случай, о котором сообщали газеты того времени (в том числе и журнал Достоевского «Время»¹⁶), как некий помещик Козляинов избил в поезде рижскую мещанку: «Ну-с, так вот мое мнение: господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие *подстрекательные «немки»*, что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться» (273). Пассаж представляет интерес, если рассматривать его через призму известного слуха о том, что Свидригайлов так избил свою жену, что та умерла от побоев.

После убийства, в свой первый полубредовый приход к Разумихину, Раскольников получает от того предложение перевести за деньги «два с лишком листа *немецкого текста*: «По-моему, глупейшее шарлатанство: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что чело-

¹⁴ Владимир Набоков. Лекции по русской литературе, М., Изд-во «Независимая газета», 1966, стр. 74.

¹⁵ Ф.М.Достоевский, Полное Собрание Сочинений в 30-ти томах, Л., 1973 г. Изд-во «Наука», т. 7. стр. 367.

¹⁶ В том числе и журнал Достоевского «Время», 1861, №1.

век.¹⁷ Бери ... Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах...» (111). В подготовительных материалах об этом сказано сильнее: «Я ведь и орфографию плохо знаю, а в немецком ни бельмеса, и всё больше от себя сочиняю, ей-богу!»¹⁸.

Лебезятников читает немецких авторов; это следует из его собственных объяснений, каким образом он оказался на поминках по Мармеладову: «мимоходом зашел прежде в номер к господам Кобылятниковым, чтобы занести им *«Общий вывод положительного метода»* и особенно рекомендовать статью *Пидерита* (а впрочем, тоже и *Вагнера»*) (388). «Общий вывод положительного метода» — это название сборника, вышедшего в Петербурге в 1866 году и составленного из статей, посвященных новейшим естественнонаучным и социологическим идеям. В этом сборнике были статьи немецких ученых-позитивистов: физиолога М. Пидерита и экономиста А. Вагнера¹⁹.

В конце романа помешавшаяся Катерина Ивановна заставляет детей петь на улице известную немецкую песенку: «Du hast Diamanten und Perlen... Как дальше-то? Вот бы спеть... Du hast die schönsten Augen, Mädchen, was willst du mehr?»²⁰ Ну да, как не так, was willst du mehr, — выдумает же, *болван!*» (422) — ругает она неизвестно кого.

В последней сцене романа, когда Раскольников идет признаваться, на Сенной площади его опять задевают: «Фу, как толкаются! Вот этот толстый — немец, должно быть, — что толкнул меня: ну, знает ли он, кого толкнул?» (510) — высокомерно думает будущий каторжанин.

И опять всплывает циммермановская шляпа — в участке поручик Порох философски замечает: «Шляпа есть блин, я ее у *Циммермана* куплю; но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того я уже не куплю!» (513).

Первая и последняя сцены романа как бы взаимно отражаются, перекиваются деталями. Но сейчас по площади идет уже совсем другой человек, который не боится ни свидетелей, ни улик, потому что сам решил рассказать людям о своем безумии.

¹⁷ По мнению комментаторов «Преступления и наказания», в числе прочих могла быть и книга немецкого автора Р.Ф.Вирхова «О воспитании женщины соответственно ее призванию». Подробнее: Ф.М.Достоевский, Полное Собрание Сочинений в 30-ти томах, Л., 1973 г. Изд-во «Наука», т. 7. стр. 371.

¹⁸ Там же, стр. 37.

¹⁹ Подробнее см.: Комментарий к «Преступлению и наказанию», т. 7, стр. 391.

²⁰ У тебя алмазы и жемчуг... У тебя прекраснейшие очи, девушка, чего же тебе еще? (нем.)

Евгений Антипов

/ Санкт-Петербург /

Audi alteram partem или Гай Цезарь Сапожок

Германик был красив. Германик был образцово красив: спустя две тысячи, его классическая внешность будет матово белеть в рисовальных студиях. Германик был красив, да, но и не только; смел, силен, честен. Благороден. Превосходный полководец, возглавлявший восемь легионов на Рейне, в бою он частенько резал врага самостоятельно оскаленным мечем. (Тацит сравнивает его с Македонским). Армия бунтует из-за невыплаты з/п, — оплатил из своих; кончина божественного Августа, армия вручает верховную власть — принять не может, чувство долга. Плюс (исторический раритет) доброта, плюс образованность: сохранились его комедии на греческом. Он популярен. И в армии и в народе. Что удивительно — и в сенате. Его любят все. В Риме же в эпоху империи никто из популярных не жил долго, и Германик досчитал до тридцати трех. Отравлен. Реакция на такую обычную римскую смерть была бурной. Люди закидали камнями храмы и опрокинули алтари: куда, мол, смотрели боги. Это в Риме. А за пределами — прекращались войны. Варвары, задрожав губами, уронили боевые топоры, а сам Артабан третий, парфянский царь, отказался от охоты. В эту смерть так не хотелось верить, что ползали упорные слухи и об успешной реанимации. На эту тему пели песни, но песни не стали псалмами. Возможно, родился Германик десятилетиями позже, вошел бы в христианский пантеон и встал бы, плечом, с другим римским командующим, с Георгием Победоносцем. Но Германик родился, когда родился, за четырнадцать лет до Вифлеемской звезды.

Единственной женой Германика была Агриппина, внучка Августа. Кстати, Август, а не Август. Она славилась целомудрием, ее называли украшением родины. Аристократка, матрона, она сопровождает Германика во всех походах, жена главнокомандующего, она перевязывает раны солдатам. Трое ее детей умерли в детстве, одна дочь убита, одна умерла молодой, одна казнена. Двое старших сыновей объявлены врагами государства (за популярность), уморены голодом. Чем не судьба для канонизации. Но и это не все. Жизнь ее была показатель-

ной, смерть поучительной. Тиберий ее оклеветал и сослал, центурион выбил левый глаз (или правый), и когда она отказалась принимать пищу, рот силой открывали, пищу заталкивали. За что? За то же — за популярность. В цитатах Тацита она непревзойденный образец римской нравственности.

У Германика и Агриппины были красивые дети. Девять.

Божественный Август ежевечерне, перед августовскими снами, целовал пупсика — изображение одного из девяти. Поэтому, прочитав у Сенеки, что Сапожок был безобразен (дикие глаза, отвратительная бледность, лоб в складках, уродливая облезлая голова с редкими торчащими волосами, щетинистая шея, тощие ноги, и, кошмар, большие ступни), поморщился на такую политическую услужливость. И римский реалистический портрет подтверждает: подростковое лицо Гая Цезаря скорее симпатично, чем безобразно, не мальчишеская сосредоточенность и оттопыренные уши — древняя душа.

Гай Цезарь рос вдали от дворцовой позолоты, стукачей, хронической клеветы и ядовитых кубков. В армейской среде, с ее грубоватым юмором, незатейливо ценились два качества — сила и воля. О мужестве слов не произносили, смущались и зевали. В отношениях простоватая прямота. Поступки родителей в экстремальных ситуациях и в повседневном быту, а впоследствии добрые рассказы об этих поступках формировали детско-юношеское сознание. Терпеливая преданность Агриппины вызывала в легионах восхищение, а Германик, Германик... Да что там. Любовь легионов к своему главнокомандующему переносилась и на Гая; в пароксизме солдатского умиления его Сапожком и назвали. В официальных записях имя не употреблялось, а строго по паспорту этот Сапожок был Гаем Юлием Цезарем. Как император, он — Гай Цезарь Август Германский или просто Император Гай Цезарь. Но именно с этим забавным именем Гай тяжело пройдет по истории. И станет его имя именем нарицательным.

...Август собирался передать империю Германику. Но передал Тиберию. Тиберия Август усыновил, когда тому было сорок шесть, а Тиберия обязал усыновить Германика. Тиберий, который был дядей Германику, усыновил племянника-Германика, но Германик к глубокой и безутешной радости дяди посинел и умер в расцвете лет. Тогда Тиберий поступает благородно, он усыновил младшего из трех сыновей Германика. А двух старших, подумав-подумав, так и быть — казнил.

Идут годы античности, контрасты реальной жизни вносят свою педагогическую лепту. Ах ты, Древний Рим, Древний Рим, вздыхает Сапожок и делает свои выводы. Вздохи эти не ускользают от пронизательного старика. Все чаще Тиберий рассуждает вслух, подняв палец перед лицом безымянного часового, что «Гай живет на погибель и себе и всем...» Одинокое удаляясь по коридорам власти, что-то шуршит себе под нос про змею, которую растит для римского народа, и Фазтона для всего земного круга. Часовой еще долго стоит вытара-

щенный, с перепуганным видом, на решительной щеке остывает отеческий шлепок.

Тиберий. Неглуп и сдержан. Как писал Дион Кассий, «это был человек со многими хорошими и многими плохими качествами, и когда он проявлял хорошие, казалось, в нем нет ничего дурного, и наоборот».

Традиция рисует римских императоров дебиловатыми монстрами. Лубок-страшилка для грядущего населения. Единственный аргумент за — давность лет: другие люди, другие нравы, психология. Достаточно и текстов Овидия — за две тысячи лет ничто не изменилось. Ни люди, ни нравы. Тем более, психология. Вера в «давность лет» принесла истории вреда больше, чем доброжелательность интерполяторов. Ведь и Нерон Рима для вдохновенья не разжигал, это дичь, во-первых, мотивом для поджога могла быть реконструкция центра, а никак не поэма, во-вторых, нормальней присвоить родимую казну, чем тратить ее на восстановление, а в-третьих, Нерона и в Риме-то не было, он приехал спустя несколько дней, когда огонь подбирался уже к резиденции. Театрал-романтик как монокль брал берилл и у перил, над заревом, не мог не цитировать Гомера, которого знал, хоть разбуди. А свита с добросовестными лицами уж тут, конспектируют. И устойчивый миф о нетрадиционной половой ориентации античной Греции — результат смещения хронического невежества и похотливого интереса. Мутный коктейль. Ознакомиться бы с судебными обвинениями, с образцами пламенного ораторства, и усвоить, что никогда общественные нормы не шли вразрез с природой. Др.греческая медицина описывает это дело, как болезнь с характерной симптоматикой, мол, и походка меняется, и манеры и голос. В Спарте лечили вплоть до высшей меры, в либеральных Афинах лишали гражданских прав. Парадоксальные неточности, эдакие банные листочки истории, они жутко липнут к доверчивым головам. И фраза про верблюда, который через игольное ушко, переведена очень буквально: «верблюдом» назывался корабельный канат. И волчица Луперка, вскормившая Ромула и Рема, никакая не волчица. Лупанарий — дом терпимости, «волчицами» называли проституток...

Тиберий. Тиберий был болезненно привязан к своей жене Випсании Агриппине. Она ждала второго ребенка, когда тот, подчинившись приказу, развелся. Развелся, чтобы жениться на дочке Августа. Брачные узы, ни свои, ни чужие, для озабоченной стервы помехой не были. Она добивалась Тиберия и добилась. Тиберий тосковал. Бывшую жену встретил только однажды — взор его был полон слез. Полон слез взор его был. И последовали меры, дабы никакие Випсании Агриппины такому слезливому взору более не попадались. У Веллея есть любопытные описания — забота Тиберия о больных и раненых солдатах во время паннонской и германских войн. То Тиберий уступает первенство в праве на власть, то откладывает триумф (он успешно вел военную кампанию), то, ссылаясь на усталость от государственных постов,

уезжает подальше от Рима. Аж на восемь лет. И даже с некоторой пользой — жена его была осуждена за разврат, и Август, от имени Тиберия, дает развод. (Первая его жена уже выдана замуж). После смерти Августа долго отказывался от власти. Друзьям объяснял, что власть это чудовище. Приняв власть, запретил посвящать себе храмы и статуи свои ставить рядом с богами. И сентябрь в Тиберий не переименовал, запретил. Далее испытал мощный напор подобострастия: консулы, сенаторы, всадники, все шли длинной вереницей, построившись по ранжиру. Тиберий наблюдал сначала со скукой, потом с интересом, потом с шаловливым весельем. Поняв, что государственная власть и человеческая жизнь стихии параллельные, то есть не пересекающиеся, он принял условия игры и стал раскладывать пасьянсы из чужих судеб или просто перетасовывать колоду от скуки. А начинал деловито. Зная патологическую тягу сограждан к доносам, запретил рассматривать анонимки. О да, это было бесчеловечно. Даже его мать не могла устроить никого по протекции. Знал греческий в совершенстве, популяризировал каких-то любимых греческих поэтов, тем не менее, боролся за чистоту латыни. Занимался историко-литературными исследованиями, задавая порою вопросами, не лишенными художественной обаятельности и сегодня: какие песни, например, пели сирены? Он враждовал со знатью, а с сенатом обращался не очень уважительно: вместо прощания Тиберий бросал по-гречески что-то вроде — эй, вы, рожденные для поклонов, я ушел. Занимаясь исправлением общественных нравов все основательнее — все основательнее пьет. С возрастающей изобретательностью предается радостям мужчины, теряющего свой жизненный стержень. Все чаще преследует друзей, все свирепее наказания за пустяки. К рассмотрению принимаются уже любые доносы, и все дела уже — уголовные. Он не верит ни людям, ни богам. Верит только в судьбу. Устойчивым хобби Тиберия становятся разврат и пытки. Слишком много противоречий, чтобы осудить его коротко и ясно. Когда обрушились трибуны цирка, погибло более двадцати тысяч. И он хохотал, оценив иронию небес: пришли смотреть на смерть — смотрите.

Тиберий приближает Сапожка ко двору, когда тому исполняется девятнадцать, до этого, оставшись круглым сиротой, Сапожок несколько лет живет у бабушек-прабабушек. В девятнадцать лет он и надел тогу совершеннолетнего, но без торжеств. В др.римской литературе «тога» часто используется как синоним «римлянина». К тоге относились внимательно. Тоги были: с длинными рукавами, до пят, с широкой, с узкой каймой, нижняя, расшитая, с растительным орнаментом, с пурпурной каймой, без украшений, мужская, темно-серая, «грязная», широкая, узкая. По качеству: пушистая, грубая, толстая, ворсистая. Под радостным итальянским солнцем эта шерстяная витиеватая одежда была хороша. И в больших количествах римляне использовали духи. Но тога — это признак гражданской полноценности. А Сапожок надел тогу значительно позже сверстников.

Тиберий жил не в Риме, а на Капри. Этот островок был собственностью Августа и перешел к Тиберию по наследству. (Акцентируем: собственностью Августа был о. Капри, а не Римская Империя). Тиберий Риму не доверял, да и на Капри он постоянно менял виллы. Именно сюда, на Капри, был вызван Сапожок, именно здесь он методично, как аспирант, посещал пытки и казни, именно здесь он с досадой пополам впитывал дворцовую мудрость: он становится подозрительно терпеливым. Неоднократно его провоцируют на высказывание в адрес Тиберия, но Сапожок, как торговый китаец, только кивает и улыбается. Его воззрения той поры остались за кадром истории. Но не остались за кадром поступки. Однажды, под впечатлением от очередного кровавого спектакля или начитавшись справедливых романов, он вошел в спальню Тиберия. В спальне Тиберия Тиберий спит. Вот он, тихо мурлыкающий в эту минуту, воплощенный ужас, виновник гибели всех его родных. Гай стоит у изголовья, в одной руке кинжал с узорами, на другой мизинчик грызет. Гай смотрит в лицо старика, у которого чужая власть исковеркала судьбу, а власть личная исковеркала душу. Смотрит как в зеркало, как в портрет Дориана Грея. Бросил кинжал. Задев углы, стремительно вышел из спальни. Старик открыл глаза. Лежит неподвижно, взгляд сосредоточен, глядит на картину, купленную за 6 млн. сестерциев. Приподняв голову, рассматривает кинжал с узорами, потом вздохнул и повернулся на бок. И никаких воспитательных мер, как будто приснилось.

Император Тиберий Цезарь Август умер в возрасте семидесяти восьми лет. В 37 году от Рождества Христова. 16 марта. Светоний предлагает версию, что Сапожок отравил его медленным ядом и, остывающего, задушил. Тацит описывает иначе. Старик постепенно угасал на своих виллах, но имитировал жизнь с упорством. Однажды Харикл, врач Тиберия, сказал, что старик не протянет двух дней. Так и вышло, затих, но потом зашевелился и потянулся, растопылив ладошки. Увидел начальника преторианских когорт с бакалейным именем Макрон, попросил маненько поесть. Вместо соловьиных языков и павлиньих подмышек, префект приказал набросить на него ворох одежды. Тиберий умер глубоко уязвленным.

Когда императором был провозглашен Сапожок, ликованию не было конца. Два с лишним месяца люди благодарили богов, на алтарях забито более ста шестидесяти тысяч животных. Сапожок шел в траурной процессии, а его встречали, как триумфатора. Царь царей, Артабан третий, который охотник, перейдя через Евфрат, воздал почести римским орлам. Знаменам, то есть. Ни о каких соправителях не хотели слышать. К его имени лепили самые сладкие эпитеты. Это была не лесть сената, это была любовь народа. Когда он болел, люди ночью толпились вокруг Палатина. (Палатин — конечно, холм, но и синоним императорского дворца). Сапожок отдавал той же монетой: 3,3 млрд. сестерциев истрачено в первые девять месяцев. Он выплатил то, что завещал Август, но жаждал Тиберий. На первом году он дважды

раздал по триста сестерциев, просто, в качестве компенсации за любовь. Пострадавшим от пожаров возместил убытки. Неоднократно оказывал гуманитарную помощь — по корзине с едой. (Читай: потребительская корзина). Какой-то вольноотпущеннице, которая под пытками не сдала своего патрона, за партизанский характер выплатил 800 сестерциев. Чтоб не мучились фискалы, сыгравшие свое в судьбе матери и братьев, все бумаги он демонстративно сжег, не читая. Помилывал осужденных и сосланных. Труды римских авторов, уничтоженные сенатом за диссидентство, восстановил в библиотеках. Типичная «оттепель». В ходе демократических реформ он восстанавливает народные собрания, выборные должности и упрощает работу суда. Приказал возобновить и обнародовать отчеты о состоянии империи. Даже возвращает некоторые царства, сочтя, вероятно, их присоединение юридически недостаточно обоснованным. Царям при этом компенсирует все подати и доходы; учреждает новые спортивно-интеллектуальные игры (в том числе и на периферии: в Сицилии и Галлии), устраивает пиры и раздает, как Санта Клаус, подарки сенаторам, их женам и детям. Один пир (рекорд Гиннеса!) стоил 10 млн. сестерциев. Он заканчивает долстрой, начинает строительство амфитеатра и водопровода, восстанавливает древние строения в Сиракузах, собирается на Самосе отстроить дворец Поликрата, в Милете довершить Дидимейский храм (который строился уже три века и должен был стать восьмым чудом света), в Альпийских горах основать город, перекопать Истмийский перешеек и т.д. и т.д. Римский народ уже начинает испытывать чувство глубокого удовлетворения, а Сапожок, широко рубанув ладонью воздух, еще и к Сатурналиям прибавляет день. Даже два. Но прежде всех дел государственных, толком и не прочувствовав своей исключительности, в громе стихии, в блеске молний Сапожок отплывает за останками матери и братьев. Сам собирает кости и везет их в Рим.

Светоний считает, что акция была популистской. Но буря-то была настоящей.

Интересный вот штрих. Изобретателем порнографии можно считать Тиберия; поезд Люмьеров было еще далеко, поэтому — театр. Артисты назывались спинтриями. Этих энтузиастов сцены Сапожок хотел утопить в Тибре. Уговорили пожалеть моральных уродов. Пожалеет, но выставил на сто первый километр... Отменив в Италии полупроцентный налог на распродажи, император Гай Цезарь впервые в истории человечества вводит налог на проституцию.

Гай Цезарь правил три года десять месяцев. И одну неделю. Четыре раза был консулом. Собственно, консул — и есть верховная власть. Отчасти эту власть разделяли народные трибуны. «Император» это воинское звание, присуждаемое за выдающиеся заслуги. И «диктатор» не злодей, а высшее должностное лицо времен республики, аккуратно избираемое, зато обидное «демагог» по-гречески «вождь» и «тиран» у греков — единовластный правитель, то есть «царь». А «царь» (и «кайзер» тоже) — видеоизмененное «цезарь». Гер-

маник, к слову, императором был дважды. Август вводит положение, исключаящее двух императоров сразу, но и во времена принципата один император мог быть провозглашен в Египте, второй в Галлии, третий в Греции, четвертый и пятый — где угодно, где есть войска. Все официально. Третий век бережно сохранил имена пятидесяти трех императоров, и если по справедливости, каждый получит год и десять месяцев, условно. Константин Великий, христианский реформатор, в 308 и 311 годах был одним из шести параллельных императоров. Его полное имя запомнить просто: император Цезарь Луций Флавий Валерий Константин Август.

О Гае Цезаре: оценки его персоны у разных авторов не столь уж монохромны. Больше всего негатива и неоправданных эмоций у эклектичного Светония, дед которого занимал какую-то, но небольшую, должность при дворе и мог представлять интересы оппозиции. Оппозиция что при Перикле, что при Тиберии, всегда она. Легкое перо Светония сделало военный сапожок синонимом крови, безумства и разврата. Спасибо ему, легкому. Но крови Сапожок не мог пролить больше Тиберия, не успевал. И вяленький и умом и характером Клавдий, которого называли императором, потому что крутился тут, остался в памяти народной с прилагательным «божественный». И Гелиогабал как-то затерялся, а уж так из кожи лез прославиться: сей шалун поимел всякое, что входило во дворец, и шалуна поимело — всякое. Почему же такая синтезированная гипербола в виде солдатской обуви была удовлетворенно принята современниками, почему в нее охотно поверило поколение следующее и почему сладострастно сохранило предание? Причины есть.

Не сложный феномен: человеческую психику интригует несложный феномен человеческой психики. Ибо оно родное. Идиот скучен, интересен тот, кого можно понять, со стержневым интересом разглядывая акварельные узоры своего подсознания. Все исследователи, и ангажированные и более поздние, убеждены: в годы правления Гай перенес заболевание, которое ударило по рассудку и аукнулось в уголках империи.

Через год правления у Гая умерла сестра. Она была на четыре года младше, он ее любил, то есть любил не только по-родственному, но и непосредственно. И любил ее давно, с первых волосиков. Но — любил. На этот счет у него были какие-то рассказы о Юпитере, потом Юпитер с рассказами надоел, и, несмотря на замужество, Юлия Друзилла была к трону приближена демонстративно. Его истерика на ее смерть вносит паузу искреннего сочувствия в такую похотливо-взволнованную историю. Гай исчез, ушел в ночь, оставив дворец, а во дворце осколки статуй. Пересек Кампанию, зачем-то доплыл до Сицилии, добрался аж до Сиракуз, вернулся в драной одежде и обросший, как Робинзон Крузо. Установил такой траур, что преступлением считалось смеяться, купаться и прочие пирушки-игрушки. Потом побрелся, кое-где подштопал, но на государственные дела смотрел уже без цветных

очков. Понимая свое состояние, говорит, что хорошо бы от дел отойти, подлечиться... Фразу записывают каллиграфическим почерком.

Он лично курирует зрелищную индустрию, и его явно раздражает массовое увлечение гладиаторскими боями. Однажды он выпустил на арену немощных гладиаторов и еще более немощных животных, а еще однажды, став свидетелем особо кровавого поединка, издает эдикт, в котором осуждает аристократию за восторженность: по-гречески «аристо» — «лучшие». Пролетарский лозунг «хлеба и зрелищ» все чаще погружает его в нехорошую задумчивость, пролетарская тема вызывает все более отталкивающую реакцию. Да и римские императоры деликатно почесались бы, узнав, что слово «пролетарии» будут ассоциировать с тружениками в поте лица и созидателями материальных ценностей — на латыни это слово значит «плодящиеся». Не в державной политике, а в «пролетарской» психологии эмбрион гибели колоссальнейшей империи. Пройдет Сапожок, пройдут 4,5 века, придут остготы. Западная Римская закончится и закончится самый большой период истории с мраморной табличкой «античность». Как-то вот отмахнуться, не вспомнят, не хмыкнут, что за судьбу Рима воевали варвары: со стороны остготов — остгот Теодорих, ставший королем в семнадцать лет, со стороны Рима — германец Одоакр из племени то ли ругив, то ли скиров. (К тому времени, из императоров, каждый второй — варвар; а треть Италии уже была отдана Одоакром под варварские поселения). Как-то вот отмахнутся, не вспомнят, не хмыкнут о реформах победившего Теодориха, что этот сокрушительный товарищ поставил на ведущие административные посты деятелей культуры, что он пытался возродить дух нации лучших римских времен, что проводил акведуки, разбивал сады, строил дворцы, что при нем была собрана крупнейшая библиотека, что огромнейшие средства тратились на поддержание архитектурных ансамблей Вечного города — театра Помпея, амфитеатра Тита, форума Траяна, что специальный архитектор следил за состоянием городских стен Рима (который уже сотню лет не являлся столицей), что была попытка возродить спорт и театр, поэтические чтения и музыкальные конкурсы, что за двадцать лет до него император-варвар Майориан уже издал грозный эдикт, запрещавший для строительства разрушать древние постройки Рима. Коренное сословие плевало на постройки, мочилось на эти стены и по-прежнему хотело прежнего. Хлеба и зрелищ.

...Прекратив бесплатные раздачи, Сапожок потерял самый массовый (как это по-русски) электорат. Может ли император, в здравом-то уме, прекратить раздачу дармовых денег? Не может. Значит, Сапожок-таки раскатым тронулся. Подразнив куском, он одним взмахом, как Язон, выстроил ряды врагов.

Второй по численности электорат Сапожок стал терять сразу после инаугурации (переводной уродец, правильной — инавгурации): лично проверяя списки всадников, то есть «среднего класса». У особо

запятнанных всенародно отбирал коня. Оскорблялись. Не за коня, за классовую пощечину.

А конфликт с властной элитой — это уж извините. Сдержанная строка академизма из тома Всемирной Истории: «Гай Цезарь не только не прекратил борьбы с аристократией, но даже усилил ее; сенатские историки описывали его как безумца...»

Легат Гетулик, вступив в заговор против Гая Цезаря и желая располжить солдат, допускает сильное ослабление дисциплины. Плюс два малоэффективных похода Гая в Германию и Британию, от триумфа отказался. Точнее, запретил сенату назначить себе почести. А ведь мудрый Август, мудрый и божественный, завещал империю не расширять. Сапожок теряет армию и подливает масла в сенат. Теперь любой бред по мере распространения приобретает особо художественный декор. Зная источник, Сапожок принимает меры, проступает кровь. Фраза из трагедии становится его дежурной фразой: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». По природе очень артистичный, перед зеркалом он оттачивает пугающие гримасы. Вот откуда «морщинистый лоб и свирепые глаза»: Сапожок страхом пробует удержать ситуацию. От чего нелепости затвердевают.

Впрочем, приняв с закрытыми глазами все, его «безумный разврат» покажется детским садом рядом с достижениями лучезарных любимцев Голливуда. А рядом с пэром Франции, маршалом Жиллем де Лавалем де Ретцем, соратником Жанны Д'Арк, и эти — всего лишь курсанты-эксгибиционисты. Возмущение, с которым пишут о Гае Цезаре авторы Древнего Рима, только делает честь авторам Древнего Рима. Однако, и возмущение и повышенный тон подозрительны. Помпей построил для сограждан театр, а когда узнал детали, всплеснул руками и храм Мельпомены переименовал в храм Венеры. Жизнь цезарей не была аскетичной, но не выходила из дворца; общественная жизнь и самого плебса не ограничивалась борьбой за права: Флоралии, Луперкалии, Изиак, Дионисиак, сугубо народные праздники, представляли собой демонстративные оргии. Акции единения, так сказать. Сдерживающими факторами, слабыми, конечно, были некоторые административные меры или частные лица — представление не решались начать, пока из цирка не вышел Катон. Такие народные гулянья — наследие Республики, точку же поставил Диоклетиан, император. Обвинение Сапожка в развращенности — не более, чем веселый курьез.

Через полгода после смерти Юлии Друзиллы Сапожок женился. У него родилась дочь, Юлия Друзилла.

...Кроме артистизма, таланта ораторского, музыкального и таланта танцора, Сапожок обладал и юмором. Судя по всему, тонким и, судя по всему, черным.

Однажды он вел торги. Обратив внимание, что сенатор в первом ряду активно кивает, цену за тринадцать гладиаторов Сапожок довел до олимпийских высот. Сенатор был очень удивлен, когда его разбудили.

Как-то, в разгар борьбы с издержками и пережитками, Сапожок в приказном тоне срочно вызывает к себе четырех сенаторов. Собрали узелки, поцеловались с родными и близкими. Пришли вовремя, сидят, усердно потеют. Распахнулась дверь, Сапожок в наряде отчебучил какой-то танец и поблагодарил за внимание. Ушли гуськом, на ватных ногах.

Ему приписывают и ерундовую дурь, и то, к чему отношения не имел. Конь его ел из мраморного стойла, а самого коня он сделал сенатором. Господа, господа, ведь и стены водохранилища (навсегда скрытые водой) украшались изысканной резьбой. А во дворце из мрамора было все. Да, возмутительно, что с конюхами он общался больше и охотнее, чем с консультантами на цыпочках. И коня он сенатором не сделал. Ах, только собирался. «Собирался» это, как, бросил вполоборота, что от коня будет больше пользы? Размышлял в сенате о создании публичного дома, специализированного, из жен сенаторов, — раздражаясь их кроткой невинностью?

Розовея и дыша глубоко, Светоний пишет, что в парике и женской одежде Сапожок ночью ходил по кабакам. А из первых рук, не теплым шепотом в затылок, — то где же ее взять, информацию четкую. Днем на рынке или ночью в кабаке.

И кабаки, и парики, и четкость информации принесли свои кровавые плоды, кто-то лишился состояния, кто-то — состояния жизни. Философские настроения в высших классах росли пропорционально числу лишенцев. Само собой, жертвы были невинны и чисты, как слезы умиления.

Среди его кровавых ужасов есть вопиющие. Квестор, обвиненный в заговоре, был высечен и, должно быть, глухо стонал, когда бичующие... стояли... на его тоге, ногами. С двумя другими заговорщиками он обошелся еще отвратительнее: отвел их в сторону и поносил жестокими словами. Все выслушав, они поклонились и ушли, но потом довели дело до ума. Заговоров было немало. Замешан и друг, Кассий Херей. Классы хиреют: замешан и вольноотпущенник. Доверял ведь по уши. Когда узнал, только-то и сказал: «Видимо, я действительно достоин смерти». И перестал спать по ночам вовсе. Одиночество трона осознал, бессонница цезарей. А Гай-то наш, Цезарь-то, был умен.

Две фразы блистательного Ренана; первая: Гай Цезарь был умен. Вторая: Гая Цезаря следует считать создателем школы управления. О чем вторая фраза: о том, что Август правил по республиканской инерции, при Тиберии демократия сохранялась в виде бутаторских реликтов, а Гай Цезарь Сапожок, хоть и начинал как император-демократ, но закончил, как император. Такая метаморфоза в умонастроениях Гая могла быть естественной и стихийной, могла быть неестественной и сознательной. Какие примеры демократии классического периода могли повлиять на политический выбор Гая Цезаря?

**Примеры демократии классического периода,
которые могли повлиять на политический выбор Гая Цезаря.**

1. Выдающимся мыслителем Эллады был Сократ. (В этимологии «диалектики» — диалоги Сократа). За диалоги получил от сограждан стакан испепеляющего яду. Истинный смысл яда, как всегда, не поделенная шлюха. Теодота. Но про демократию Сократ рассуждал с усмешкой: «Кормчего надо выбирать по знаниям, а не по жребию». Осужден за рассуждения.

2. Выдающимися мыслителями Эллады были Аристотель и Платон. Яд при этом не пили, но власть народа Аристотель ставил на предпоследнее место: на последнем была власть бомжей, охлократия. Платон вылил на эту власть столько, что можно и без примеров.

3. Выдающимся политиком Афин был Аристид Справедливый. Остракизмом изгоняли за популярность, подошел неграмотный некто и просит, напиши тут «Аристид». Что же сделал тебе «Аристид»? Ничего не сделал, надоело мне, Справедливый, да Справедливый, имею право. Посмотрел Аристид на ясное греческое небо, поставил имя свое и пошел в изгнание.

4. Выдающимся скульптором Эллады был Фидий. Он создал в изобилии, под его руководством Иктин и Калликрат возвели Парфенон, и Афины — он — в золотом плаще. Ее видели с моря. За этот шедевр Фидия посадили в тюрьму. Мудрый Перикл научил Фидия плащ делать съёмным. Взвесили, все золото на месте. Подумали и решили, что на щите богини Фидий и себя изобразил, даже схожесть нашли. Попытка возвыситься над народом. И Фидий умер в тюрьме.

5. Выдающимся правителем был Перикл. Но Фидия не спас, поскольку разделил, как подобает, судьбу сограждан по чуме. У Перикла был сын. В числе стратегов воевал со Спартой, это у Афин хроническое. В морском сражении Спарту разбили, но трупы своих не подобрали, буря. С речами о равенстве перед законом, победителей судили за святотатство. Говорили нелицеприятно, но со всей принципиальностью — смерть. Потирая руки, спартанцы подошли к Афинам. Борцы за справедливость высунули из-за стен круглые глаза и, не дожидаясь намеков, сдали город.

6. Выдающимся героем Эллады был Мильтиад. Когда пришел Дарий Великий, у греков зарябило в глазах. Единодушие на предмет сражения как-то не было. И только Мильтиад, марафонец, щитом с горы помигал и убил прямо в морду, всех, кто подвернулся. Соотношение потерь 1:33,3. Такие битвы были по пальцам: при Бруттии, когда Цезарь с Помпеем дружбу не поделили, да в Тевтобургском лесу. Беги, Фидиппид, говорил Мильтиад вытирая лицо, и умри со словами радости на устах. Фидиппид все исполнил. Дарий сел на корабли и через день был у Афин. Но и там Мильтиад. Стоят усталые, в пыли и в крови, с дымящимися ножами. Персы плюнули и ушли на десять лет. Афины были благодарны; через год Мильтиад сидел в тюрьме за ме-

нее удачные боевые действия на Паросе — из-за тяжелого ранения не смог продолжить осаду. Кимон просился в тюрьму за отца, чтобы похоронить. (Этот Кимон, позднее победивший персов в двойном сражении, — и морском и сухопутном, у реки Евримедонта — тоже изгнания не избежал). Мильтиада похоронили в Марафонской долине, рядом с братской могилой, в 42 км 195 м от Афин.

7. Выдающимся героем Эллады был Фемистокл. Из народа, начал с нуля, но, с усердием, вырос. Доказывал, что персы снова придут, что надо строить корабли, модернизированные и много. По финикийской технологии, скоростные, с тремя рядами весел, маневренные и со сверкающими медными носами для тарана. С Фемистоклом Афины стали морской державой — сто восемьдесят триер! Но когда на горизонте появился Ксеркс, все носы потускнели: тысяча громадных судов (из них двести семь быстроходных). Море выходило из себя, шлепками весел перемололи всю рыбу. Столько их там понапришло, аж в глазах дурно: выюный скот выпивал озера до скачущих головастика, чтобы пересечь лагерь персов — день ходьбы. Не желая тратить времени, персы прорыли афонский перешеек. Историки думали это шутка Геродота, аэрофотосъемка показала: рыли честно. Из десяти греческих стратегов, на битве настаивал один. Когда он предложил полностью взять командование флотом, согласились сразу. Правдами и, в основном, неправдами, Фемистокл завел персов в Саламинский пролив. На горе поставили золотой трон, Ксеркс сел и похрустел пальцами, можно начинать. Через своего агента Фемистокл фактически руководил и флотом противника. До последнего момента греки были настроены уплыть по-хорошему, на своих скоростных (ок. 380 шт.), но Фемистокл спровоцировал бой. Выбрав и время и ветер. Проходя вдоль борта, триеры срезали персам весла под корень. Битые суды Фемистокл и Ко занимались беспардонным уничтожением больших красивых кораблей, но ощущение победы не возникало — задавили бы и обломками. Через агента Фемистокл разворачивает неприятельский флот, и вдохновленные греки, поклевав хромого слона в хвост, возвращаются героями. За голову Фемистокла Ксеркс назначает 5,24 тонны драг. металла. Были и другие победы. А в послевоенное время виртуозно, на грани фола ведет международную политику. За государство рискует жизнью, но интригантскую политику проигрывает. Остракизм. В изгнании не устает проводить работу в интересах Афин, но обвинен в измене. От смерти бежит (и куда?) к сыну покойного Ксеркса. В письме сообщает прямо: я — тот. Артаксеркс принимает, как равного, оказывает царские почести и дарит три города на карманные расходы. Через годы Артаксеркс попросит его помощи в Египте, но там интересы афинян, и Фемистокл не может, он пьет свой стакан с ядом.

8. Выдающимся героем Эллады был Павсаний, спартанский царь и племянник Мильтиада. После Саламинского сражения он во главе союзнических войск разбил персов и на суше. При Платеях. Огромная

армия, раз в пять превышающая все население Греции, ушла окончательно. Потом он завоевал Византий и правил. Просил руки персидской царевны (один из сыновей Мильтиада был женат на такой же), отозван в Спарту, дисциплинированный, едет. Чувствует неладное, мечется, уехал править в Византий. Отозван снова. Дисциплинированный, едет. Приказ схватить, как изменника. Спасается в храме. Замуровали. Чтобы не осквернять (законность превыше всего), через месяц кладку разобрали. Тут же умер, но сам и как свободный гражданин. И даже статую поставили — во весь рост... Марафон и Фермопилы, Саламин и Платеи это хрестоматия греко-персидских войн. Из четырех величайших защитников Греции лишь один, царь Леонид, умер своей смертью — на поле боя.

9. Пугающее словосочетание времен классической Греции — «тирания Писистрата». Успешный полководец, в Афинах популярен, правил Писистрат по-доброму, все были довольны. Когда раздулась оппозиция, снял с себя полномочия и ушел. Спустя время, вернулся. Все обрадовались. Собралась уходить оппозиция, да ладно, говорит, оставайтесь. Кто-то подал на него в суд, пришел в суд, истец убежал. Плохо, что с разбитой губой попросил себе охрану, с палками. Это значит — выделяться, угроза равенству, значит. Вот и вся тирания. Но при чем здесь это? Да, пожалуй, и не при чем.

10.

(...)

20.

(...)

.....

Гая Цезарю приписывают учебник латинской риторики, но трактатов о механизмах управления Гай Цезарь не оставил. Историю вот знал. Когда после Кира Великого и самозванца Камбиса вопрос с державой Ахеменидов встал ребром, Отан сказал: «Не нужно царя, проходили, ужасен произвол самодержца. Пусть народ управляет собой, и будет справедливость». Мегабиз сказал: «Отан, ты не прав. Народ невежествен и обладает всеми недостатками царя. Какая разница, произвол деспота или произвол толпы. Пусть правят лучшие, сообщая они решат все». Дарий сказал: «Ты не прав, Мегабиз. Такие будут недолго, каждый захочет стать выше. Это раздоры и гражданская война. Если сравнивать, то худшее — власть дурного царя, но лучшее — власть царя хорошего».

Критерием качества царя является здравый смысл. Но у разных слоев свое понимание. Не сделав ставку ни на одну политическую силу, Гай Цезарь в своих реформах был обречен. И последняя капля переполнила все чаши праведного гнева: Гай Цезарь посягнул на самое святое, что было у римского народа — на рабовладельческие устои. Сначала разрешил рабам посещать зрелища и сидеть на любых местах, стерпели, а потом уравнил их в правах при судопроизводстве. Переворот.

В Древнем Египте культ фараона, «фараон» — это «великий дом». Понятно, для кого, для Бога на земле. При попытке ограничить тысячелетнюю власть жречества, бог-реформатор Эхнатон был смят, словно пивная баночка. Всего-то от него и осталось — Нефертити. Но то Египет, интересы узенькой прослойки, там и рабства толком-то не было.

.....

Третий римский император Гай Юлий Цезарь, прозванный Калигулой, был убит 24 января 41 года около часа пополудни в дворцовом переходе. *Cesarem decet stantem mori*. Император вел себя достойно. Кассий Херея разрубил ему затылок, а Корнелий Сабин разрубил подбородок. Калигула упал, его трясли судороги, но он крикнул: «Я жив!» Докончили тридцатью ударами, били в пах. Вместе с ним погибли жена и двухлетняя дочь, ее разбили о стену, как бутылку шампанского. Калигуле было двадцать девять лет.

...По дворцу бегала охрана, убили виновных, убили невинных, то где-то тут, то где-то там вспыхивали возня и крики. Дух Тиберия склонился над липким месивом и повторял вкрадчиво, и повторял, что Гай жил на погибель себе и всем, что в его лице он вскормил змею для римского народа и Фазтона для всего земного круга...

P.S. Фазтон — юноша, сын Солнца, хотел светить, но не справился с солнечной колесницей, погиб сам и опалил землю.

Мария Каменкович

/ Регенсбург /

О новой и старой литературе, или Неприглашение к диспуту

После презентации «Крещатика» весной 2000 года в Петербурге¹ журнал получил некоторую «прессу»², небогатую, но все же провоцирующую если и не на прямой отклик, то на некоторые размышления.

Мало кто из присутствовавших на сей достопамятной презентации успел к тому моменту полистать журнал. Наверное, именно поэтому во втором отделении развернулся горячий спор о темах и идеях «Крещатика», который упорно называли украинско-немецким журналом, хотя украинского в «Крещатике», кроме названия, не так уж и много (кое-что, правда, есть, отрицать бессмысленно). Г.Шмаков пишет: «...каждый из выступавших гостей считал свои долгом мысленно вернуться на берега реки, которую, как известно, не всякая птица перелетит». В то время как по крайней мере добрая треть авторов последнего номера была из Петербурга, половина проживает в городах и весях России, да и немецких авторов в номере негусто... Далее Г.Ш., противореча самому себе, сообщает: «...привезенный сюда номер — петербургский и ...претендует на символическое представление великого, понимаете ли (? — М.К.), города...» Но не будем тратить силы на пересказ этой статьи. Я — о презентации. Как-то так получилось, что больше всего времени на ней заняла дискуссия о новом в литературе и о ностальгической устарелости «Крещатика» (этот же порок приписывает журналу и Г.Ш.), то есть, об отставании от времени, о тех, кто успешно марширует в колонне со временем и кто выбивается из нее и уже поэтому комичен, как мандельштамовский Эдип, пытающийся

¹ Четвертая по счету у «Крещатика» — первые две прошли в Киеве в 1998-99 гг., третья — осенью 1999 г. в Берлине.

² Упоминание в очерке А. Иконникова-Галицкого «Затянувшийся монолог» (ЛГ Петербург, № 19-20 (5789), 17-23 мая 2000) и короткая статья Г.Шмакова «Где сливаются Днепр и Фонтанка» («Смена» №86 (22591), 22.04 2000, с. 5).

маршировать в колонне с Нилендером. И никто не замечает, что шутка Мандельштама коварна, что она не имеет логического завершения.

«...Послушать, как Эдип в Колоне
С Нилендером маршировал».

А как он маршировал? Отставал, как плохой солдат, или образцово держал строй?.. Вот о наказуемости отставания от времени и зашла почему-то речь на презентации. Впрочем, толчком к эскалации диспута послужило именно место, где состоялось это действо — особняк на берегу Фонтанки, помещение бывшего «Детлита»³, коридоры со стеклянными витринами, а под стеклом — «Хоттабычи» послевоенных времен, выцветшие пионеры на обложках мышиного цвета, тысячекратно повторенный Буратино — порождение эпохи нравственного релятивизма... В конце фильма про Буратино, если помните и если я не ошибаюсь, Сталин в белом кителе (море едва достигает его колен) уходит за горизонт, держа на ладони доверчивых кукол... Куда бежать? В недавнее прошлое не хочется, более отдаленное — отгорожено стеной: прошли советские времена, но дворец на набережной как был реkvизирован, так и остался, и спроси у кого из присутствующих и организаторов, в чьем доме мы собрались — небось, никто и не знает. И я не знаю. Кровеносные сосуды, которые должны связывать нас с прошлым, по-прежнему перерезаны, их еще сшивать и сшивать, мы еще никто и ниоткуда, дайте хоть сметать края раны на живую нитку, отпустите промотавшихся пионеров на покаяние... В присутствии всех этих октябрятских дедушек советского книгопечатания поневоле захочется на свежий воздух сегодняшнего дня. Вот подсознание и включило именно эту тему. Но каким образом мог вывести на нее сам журнал, мне не вполне понятно. Видимо, так уж расположились звезды. Это часто случается — шел в комнату, попал в другую. Ну а уж коли попал, называйся кем скажут... Первым волю звезд озвучил Виктор Борисович Кривулин — именно он первым упрекнул «Крещатик» в ностальгировании по невозвратимому, в формулировке Г.Ш. — «Критерием (отбора текстов в «Крещатике» — М.К.) кажется, является похожесть на что-то бывшее, на оживление давно минувших дней. Современная же литература, пытающаяся прочувствовать, отрефлектировать и образно воплотить нынешнюю жизнь на тающей льдине, похоже, остается за пределами редакционных интересов». То есть, «Крещатик» печатает старую литературу, а хорошо бы новую. Ну, ладно Г.Ш. — не читамши-то журнала, вольно бить в колокол. Но Виктор-то Борисович, надо полагать, знал, что говорит. Увы, в своем кратком выступлении он не уточнил — что же нынче следует считать «новой ли-

³ См. у А.И.-Г. «...Я осмотрел зал. Проржавевшие трубы, заклеенные бумагой окна, стены с потеками... Как все это уныло, казенно...»

тературой»⁴? Ю.М.Лотман говорил, что в наше время никто не способен поспеть за всем, что говорится и публикуется, и это в порядке вещей. Так, может быть, все уже знают, какой должна быть новая литература, может быть, уже и учебники написаны, а я не в курсе? Мне, по моему скромному разумению, казалось, например, что опубликованные в шестом номере «Крещатика» миниатюры Сергея Токарева⁵ — как раз образчик некоторого новаторства... этакое сочетание советского постмодерна с русским даосизмом, уже давно зародившееся в субкультуре хиппи («Сельский сторож дядя Ваня // Третий день лежит в нирване, // А колхозный огород // Христианин стережет...»), такой в своем роде Пелевин, но веселее, без пелевинского интеллектуального холода... а, впрочем, что Пелевин — и Пелевин уже прошлое, он уж сколько лет на авансцене.

Мне казалось также, что проза В.Печерского (номера 6 и 7) — безусловно новая литература, бери выше — своего рода мутация. Но, оказывается, и это лыко не в строку.

И того не скажешь, что «Крещатик» не поднимал вопроса о новой литературе. А как же эссе Ларисы Березовчук, в том же номере и напечатанное? Вот прерванная в связи с выходом текста отдельной книгой публикация романа Хаксли⁶ — это да, это архивы всемирной литературы, Хаксли уже староват. Но, с другой стороны, это — хорошо не-

⁴ См. у того же А.И.-Г. о стихотворении участников питерско-московского фестиваля поэзии по случаю выхода посвященного этому мероприятию сборника: «...N.N. (для нас не суть важно, кто именно, — М.К.)... вообще стихов произносить не стал ...а сказал ряд достаточно бессмысленных фраз, смеясь и над ними и над аудиторией — и ушел под общий смех. Серьезнее подошел к своей задаче Z.Z. В свойственной ему задумчивой манере он определил поэзию как своеобразное проявление нарциссизма и любования самим собою в зеркале. Z.Z вторил... Николай Кононов (здесь придется привести имя автора, потому что ниже цитируются его стихи — М.К.). С бесхитростной простотой он заметил, что в нынешних условиях выживает та поэзия (NB: цель поэзии — выживание!), которая (цитирую почти дословно) «не обращена ни к какому читателю», то есть, обращена к зеркалу. Тут же Кононов и показал, до какого экстаза может довести общение с собой любимым, прочитав стихотворение:

«Стекает сперма по ноге...»

Это уже поистине апофеоз нарциссизма. Причем групповой. Возникает вопрос: зачем все это нужно? И собственно говоря, кому?»

⁵ На презентации в Берлине С.Токарев сразил аудиторию профессиональным «черным» пением, которому учился в трущобах Гарлема. Я рассказываю об этом только ради того, чтобы создать у читателя эффект присутствия. Ваш журнал возьмет Вас с собою всюду, где ему доведется побывать, — хорошая строка для рекламы.

⁶ Олдос Хаксли, «Слепой в Газе» (пер.М.Ловина), «Гудьял-Пресс», Москва, 1999.

читанное старое, ведь русского перевода до сих пор не было⁷. Нечитанное, не осмысленное, не переваренное. А значит — новое.

Неплохо было бы продолжить диспут, начатый на питерской презентации, прямо на страницах того же «Крещатика». Но пока несут круглый стол, можно сесть прямо на землю и закусить тем, что найдет-ся под рукой. Тем более что круглого стола можно и не дожидаться, поскольку предмет разговора, по чести сказать, все же как-то ускользает. Можно подумать, само собой подразумевается, что поэты и писатели, прежде чем творить, обычно долго чешут в затылке, пока не скумекают, куда ветер дует, куда нынче дышло повернулось и за что, между прочим, платят, — а уже потом «задирают штаны» и бегут в правильном направлении. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что многие именно так и поступают. С другой стороны, можно, наверное, вспомнить художников слова, которые считали это для себя обязательным и оставались при этом вполне бескорыстными, если из гигантов — хотя бы Маяковский... Так под кем же «чистить себя» сегодняшнему поэту, который хочет «плыть дальше» в то, что нынче находится на месте революции и музыку чего, следуя заветам Блока, следует слушать (исповедаюсь сразу: пример Блока меня не вдохновляет — сначала вторгшаяся в его слух «музыка» переломала кости его стиху в «Двенадцати», а потом и вовсе заткнула А.А. рот и перетянула горло)? Чем работать мне теперь, кем заниматься? Где добрые дяди критики — пусть они укажут дорогу! Помнится, в школьные годы я с полгода посещала ЛИТО Александра Семеновича Кушнера, и в конце заключительного весеннего выступления ЛИТОВцев встал этакий белокурый ариец в галстуке, с хорошо поставленным голосом, и выразил недовольство, — дескать, поэты никак не откликнулись на то, чем живет сегодня общество — на какой-то очередной съезд комсомола и какую-то годовщину уже и страшно вспомнить чего. А. С. пообещал, что поэты учтут.

Но вряд ли я ошибусь, если предположу, что поэты и не подумали ничего учитывать. У них, как правило, есть и другие дела, кроме как суетливо бежать за временем, подёргивая зачатками крылышек. Время ведь не снаружи, оно — внутри, на то и поэты, чтобы не рефлেকти-

⁷ Вот разговор об отставании русской литературы от западной мог бы получиться очень интересным. Еще в 61-м году в «Новом Журнале» Нина Берберова грустя писала о том, как безнадежно, чудовищно русская литература и критика отстали от западных, не восприняв и не переварив ни Ийтса, ни Элиота, ни экзистенциалистов. Но здесь-то речь идет совсем не о том, а об отставании от отставшего — от самой русской литературы! Скажут: а она и не собиралась никого догонять! Она, может быть, будучи в изоляции, так сама по себе развилась, что Западу самому пора ее догонять! Все может быть, но приведите веские доводы. А без доказательств я не поверю, что она и правда так ужасно ушла вперед, что не хочет с Западом знаться, и надо бояться отстать от нее, и вдоль строя ходит надсмотрщик с бичом. Из простого инстинкта противоречия я лучше посижу на обочине.

ровать на тему времени, а вести с ним беседы на собственном, встро-
енном переговорном пункте. Бродского спросили однажды (в телеви-
зионном интервью): «Что бы Вы могли посоветовать молодым поэ-
там?», и он ответил: «Они и сами прекрасно знают, что им делать». Только бы их, поэтов, печатали! Но если их понятие о времени, извле-
ченное из непосредственного с ним диалога, не совпадет с мнением
старающегося быть современным издателя, их ни за что не напечата-
ют, разве что за свой счет. А как же ветру, и орлу, и сердцу девы нет
закона, таков и ты, поэт? Подозреваю, что Виктор Борисович Кривулин
не договорил. Он должен знать что-то о времени. Я об заклад по-
буюсь, что у него есть доступ к секретной информации, поэтому я не
предлагаю отмахиваться от им сказанного — просто ставлю вопросы.
О чем — сегодняшнее время? Может быть, у него на уме сплошное
ретро, а может быть, время идет вперед, но совсем не туда, куда ка-
жется? Поэт для того и существует, чтобы первым ловить и расшиф-
ровывать сигналы времени, не надо только глушить, тарыхтеть, встря-
хивать и, подкравшись, обливаться холодной водой. Спросите у тех, кто
слушает, а не у кабинетных рассуждателей, не у «литературно-сва-
дебных генералов» (по выражению А. Иконникова-Галицкого). С одной
стороны, может быть, зря высокомерному Бунину не нравилось, что
всякая «хряпа» «антиресуется» стихами. Он был все-таки слишком не-
демократичен. С другой стороны, не надо и в рот этой «хряпе» загля-
дывать, испугавшись — а вдруг она и есть лицо нового времени, и не-
сет с собой сермяжную правду? Пена схлынет, накипь сольют, кто шел
в тупик — в него уткнется. Напрасно беспокоится А. И.-Г. по поводу то-
го, что-де «читатель перестал читать стихи», и на стихоточениях и в
среде литературных «тусовщиков» царствует беспребудная скука. Ни-
чего, все минет, тексты останутся. С другой стороны, останутся тек-
сты, да, но хочется ведь уже сейчас понять, что такое актуальная ли-
тература! Покажите мне эту литературу, поднимите мне веки, я хочу
видеть человека, уже сегодня призванного поднять над крышами зна-
мя новой словесности! Честное слово, я не глумлюсь и не шучу, я вз-
правду. Редакторы журналов бегают днем с фонарем, заглядывают
под каждый кустик, отыскивая авторов⁸. Ну, положим, не все журналы,
некоторые заведомо знают, под какими кустами и в чьих огородах про-
израстает новая литература, но за «Крещатик» я поручусь. Хочется
услышать о времени от него самого. Между прочим, время тоже ходит
с фонарем по этому зачарованному лесу «Сна в летнюю ночь» и ищи-
щает из тьмы что ему заблагорассудится, — то строку из Библии, то
полстрофы из Пушкина. Постмодернизм поддержал было игру, но вре-
мя уже ушло, а постмодернисты все бегают по опушке со своими фо-

⁸ Это ничего, если попадется несколько особей слабых и нежизнеспособных, они потом отсеются в процессе естественного отбора, — так что не стоит так уж расстраиваться А.И.-Г. не в том беда, что «Крещатик» напечатал одного-двух слабых поэтов, а в том удача, что в силках запуталось с десяток сильных.

мя уже ушло, а постмодернисты все бегают по опушке со своими фонариками и умирают со смеху, когда им удается составить из световых пятнышек какой-нибудь веселый абсурд, который они, как тайландские ласточки, склеивают собственной слюной, — и получается блюдо для гурманов (или, то же самое иными словами, на любителя, поскольку многие предпочли бы иной связующий материал). «И просохше, зане не имеяше корня»... Эта игра интересна только, если в нее и правда играть не самому, а с каким-нибудь более могучим и влиятельным партнером, вроде того же Времени... Возможно, новой литературой и назовут такую литературу, которая это наконец поймет...

Но надо еще доказать, что любое время непременно рождает новые слова. А если времени нечего сказать, или оно норовит надиктовать легковверным какую-нибудь гадость и глупость? Например, о смерти поэзии... Может быть, время — враг? Тогда стоит ли идти к нему в лакеи, не лучше ли остаться бедным, но свободным? Бывает и так, что приходится нести сосуд с живой серебряной водой за тридевять пустынь мертвого времени, чтобы на том конце напоить умирающего. О.Сергий Булгаков писал, что иногда собственные писания кажутся ему запиской, вложенной в бутылку и брошенной с борта корабля, — кто и когда найдет и откупорит эту бутылку?..

Этого аспекта, кстати, коснулся на презентации и выступавший от имени редакции «Крещатика» Марк Нестантинер, реплику которого Г.Ш. почему-то назвал «тронной речью», не пересказав ее и даже не процитировав. А ведь какую простую вещь сказал М.Н.! Поэты тридцатых-шестидесятых годов питались инерцией русского серебряного века, которая и сейчас еще не окончательно угасла. А поэтов конца тысячелетия подгоняла и подпитывала уже инерция этих самых тридцатых-шестидесятых (плюс серебряный век — серебряным фоном). Поэзия, скажем, Елены Шварц или того же Кривулина — абсолютно новое явление, но и это — серфинг на вздымающейся за спиной волне. И кто поручится, что волна эта уже выдохлась? Вовсе не очевидно, что ее мощи не хватит еще лет на сто-двести, а еще, глядишь, сработает закон интерференции, новые волны усилят старую... Было, конечно, в этом веке всё — были и с треском провалившиеся, и гениальные (Платонов, например) попытки отмежеваться от инерции, были колонны, марширующие под углом друг к другу, были и просто дезертиры. И ещё много что будет. Не станем же подражать Карлсону, который ежедневно доставал из горшка с землей посаженную туда персиковую косточку, чтобы посмотреть — увеличилась она или еще нет?

Яков Шехтер

/ Тель-Авив /

Несколько историй из жизни поэтов большого Тель-Авива

Поэт и премьер

О бедственном материальном положении Бориса Деревяного друзья часто напоминали ответственным работникам разного ранга, работники сообщали министрам, министры докладывали главе правительства.

— Надо, — говорил глава, каждый раз что-то пометая в записной книжке. — Конечно, надо помочь поэту. И поможем, крепко поможем, дайте срок.

Резкое повышение температуры сменяли прохладные ветры, кризисы в международных отношениях чередовались с жирным дымом покрышек у ворот приватизируемых предприятий. Министры заседали, премьер разъезжал, ответственные работники обещали...

В одну из ночей, после успешного завершения внеочередного визита, сон бежал от глаз главы правительства. И приказал он принести и читать вслух свою записную книжку: кому чего обещано, кому сделано, а за кем остался должок.

— Поэт Деревяный, — прочитал секретарь. — Крепкая помощь.

— Нехорошо — сказал премьер-министр. Подайте машину, поедем, навестим поэта.

От бесконечных перелётов биологические часы премьера вконец сбились с толку. Когда его бронированный лимузин выехал из подземного гаража, солнце ещё щекотало иерусалимские крыши короткими лучами заката.

Деревянова дома не оказалось. Перепуганные соседи признались офицеру охраны, что вечерами поэт или пьёт водку в ресторанчике налево за углом, или молится в синагоге, за тем же углом, но направо.

— До чего же красивая у людей жизнь, — хмыкнул премьер-министр и, окруженный тесным кольцом телохранителей, направился за угол.



Б.Констриктор, графика, 1999

Перед синагогой, запрудив тротуар и часть проезжей части, гудела и раскачивалась толпа молящихся. Устремив очи горе, они подпрыгивали и невнятно бормотали, обращаясь, судя по всему, непосредственно к луне.

— Второй справа Деревянный, — сказал офицер, указывая на человека с длинной бородой и в домашних тапочках на босу ногу.

— А что здесь происходит? — поинтересовался премьер, разглядывая прыжки и поклоны молящихся.

— Благословение Луны, — пояснил советник по делам религий, просунув голову между бронежилетов охраны.

— Она, понимаете, пошла на убыль, вот люди и просят, чтоб не исчезла совсем.

— И Деревянный просит? — заинтересовался премьер.

— Конечно, — подтвердил советник. — К тому же лучше других, видите, как раскачивается.

— Ну, — многозначительно обронил премьер-министр — если его столь волнуют проблемы Луны, значит дела ещё не так плохи, как мне докладывали.

Точным движением опытного политика он вытащил из кармана блокнот, быстро отыскал нужную страничку и, поднатужившись, вырвал её с корнем.

Поэт и философ

Однажды Науму Весовскому позвонил знакомый философ.

— Вот послушайте, Наум, какая история приключилась со мной вчера вечером, — сходу начал Бобчинский, пофыркивая от нетерпения в трубку. — Перед сном пошел я выкидывать мусор. Ничего особенного, тривиальная прогулка с помойным ведром. Прямо возле контейнера ветер швырнул мне в лицо лист из русской газеты.

«Дай, думаю, гляну», — сказал я себе.

Вы ведь знаете, живу я уединённо, весь погруженный в размышления о смысле жизни и судьбах Вселенной. А тут свежее печатное слово, глядишь, может, какая идея подвернётся. Положил я газету в карман и опрокинул ведро над приёмным отверстием. К сожалению, а, может быть, и к счастью, — такова уж природа дуализма, пронизывающего нашу жизнь — мое движение оказалось настолько резким, что спугнуло осла, примостившегося за контейнером. Голодное животное сбежало из стойла соседнего бедуина, рассчитывая поживиться чем-нибудь вкусеньким...

Осел ревел, обижено мотая головой, а я сожалел о забытом мастерстве царя Соломона, понимавшего язык птиц и зверей.

«Ах, если б знать, о чём кричит осёл, — думалось мне. — Насколько бы это обогатило сокровищницу мировой цивилизации!»

И тут меня озарило. А почему не попробовать? Ведь в конце концов мы, люди — тоже животные, только прошедшие более длинный путь развития.

— И-а, и-а, — кричал осёл. А если продолжить, продлить за него ещё не успевшую развиться мысль? Угадайте Наум, ведь это же так просто.

Весовский попробовал, но не угадал.

— Иаков, — возопил философ. — Неужели не понятно, — Иаков! Какое ключевое слово мог сказать мне, потомку праотца Иакова, бедный осел? Как мог двумя звуками напомнить здесь, на Святой земле, о неизбывной тоске иудейского племени, тысячетлетиями отгоняемого от надёжных источников пропитания и релевантной инфраструктуры? Но это не всё. Попробуйте прочитать первую часть по-русски, а вторую на иврите. Видите, что получается?

— Не вижу, — грустно сказал Весовский, стыдясь собственной недогадливости.

— Ну, как же, и я коф! Коф на иврите — обезьяна! Вы понимаете, он кричал о своей причастности к процессу эволюции! Люди, произошли от обезьяны, так и ему суждено стать прародителем новой цивилизации, «хамор сапиенс», осла разумного. Давайте попробуем развить эту идею и написать книжку, что-нибудь под названием «Мы — ослы».

— Но ведь вы вначале говорили об Иакове, — попробовал возразить Весовский — а в слове коф, обезьяна, последняя буква «ф», а не «в».

— Подумаешь, — отмахнулся Бобчинский, — буква туда, буква сюда. Главное — идея. А, кроме того, разве можно ожидать от осла правильного ивритского произношения?

В конце концов Весовский отклонил предложение философа. Но тот не сдался, написал книгу и очень этим прославился.

Поэт и муза

Это произошло два года назад, когда банды экзистенциалистов окружили Акко. В осаждённом городе вскоре кончились запасы провизии, и начался голод. Раздувшиеся трупы литераторов валялись прямо на мостовых. Распустив волосы, рыдая и содрогаясь, бродила Муза по опустевшим улицам. В одной подворотне наткнулась она на Маврогения, обессилено сидящего под стеной на расстеленной газете.

— Пуш, — вскричала Муза, с трудом узнавая поэта. — Пуш, я пришла вас спасти.

Дрожь пробежала по холодеющим членам Маврогения, всколыхнув опухший от голода живот.

— Всего лишь маленькое упражнение, утром и вечером, обещайте делать, и — вы спасены, — просила Муза.

— Говори, — прошептал Маврогений. — Говори скорее.

— Повторяйте вслух, два раза в день: «Люди, я люблю вас, поэты, я люблю вас, писатели, я люблю вас...» Только два раза, утром и вечером, и вы спасены.

— Нет, — вскричал Маврогений, разрывая на груди рубаху. — Мне папа Арон и мама, Геймланд о таком и думать запретили. Я и слов таких не знаю, звукам этим не обучен.

— Тогда про них говори, — заплакала Муза. — Повторяй утром и вечером: — Арон, я люблю тебя, Геймланд, я люблю тебя...

— Не могу, — еле пошевелил губами Пуш. — Не могу таких словечей любить...

— Но ведь хоть кого-то на свете ты любишь, — умоляла Муза сорванным голосом. — Вот медальон у тебя на груди, — говори об этом человеке.

Она протянула руку и робко прикоснулась к застёжке медальона. Золотые створки распахнулись и перед глазами Музы предстала старенькая, любительская, черно-белая фотография Маврогения Пуша.

Трах, — с треском разлетелась кожа, громадный живот треснул, и струи горячего желудочного сока хлынули на газетные листы. Муза в испуге отдернула руку, цепочка лопнула, и медальон провалился прямо в бурлящую утробу.

— Псы, — закричал Пуш, содрогаясь в конвульсиях. — Суки Сартра, доги Хайдеггера, да здравствует социалистический реализм и свободное око Акко!

В жизни всегда есть место чуду. Маврогений выжил, спас его медальон, дочиста переваренный истосковавшимся по любой пище желудком. Живот зашили, и, когда любопытные купальщицы на тельавивском пляже спрашивают о причине огромного шрама, Пуш отвечает:

— Кесарево сечение. Роды последней книги оказались особенно мучительными.

Купальщицы удивляются, благоговейт, а октябрята уступают поэту место в общественном транспорте.

Поэт и поэт

Известно, что ученики в поэтической академии Павла Лохаша приносили два обета: бедности и молчания.

— На осле роскоши не въедешь в большую литературу, — говорил учитель, безуспешно пытаясь по утрам завести мотор старенькой «Шкоды».

Устав академии запрещал также публикации в любой прессе, от научно-технической до жёлтой, выступления на вечерах, по радио и телевидению.

— Не спешите взваливать на себя бремя славы и больших гонимых, — учил Лохаш. — Судьба истинного поэта такова: хлеб с водой ешь, на проваленном диване спи, лишь о поэзии думай и размышляй.

— А как же Межумицкий? — раздавался иногда возмущённый голос. — Живёт в двухэтажной вилле, разъезжает на красном спортивном автомобиле?

При звуках этого имени счастливая улыбка возникала на лице мэтра.

— Межумицкий — классик, — объяснял он, — хоть и не все это успели осознать. Он уже не поэт, а нечто большее, на тот уровень, где клубится пыль от колёс его Кадиллака, не залетают даже наши мечты.

С рассвета и до заката ученики боролись с соблазнами большого Тель-Авива. Ворота академии осаждали редакторы местных и зарубежных журналов, в надежде заполучить хоть несколько строф, если не самого мэтра, то хотя бы одного из подмастерьев. Девушки и замужние женщины ночевали в спальнях мешках прямо на мостовой перед входом, рассчитывая, что, может быть, один из учеников удостоит их взглядом. А о большем они и мечтать смели.

Но в каждом стаде не без своей паршивой овцы. Беда пришла, откуда не ждали; самый неприметный из учеников, тихоня и середнячок, нарушил обет и передал свои материалы в газету «Гуманитарный гаер». Утром следующего дня он проснулся знаменитым. Стадии его падения известны: слава, деньги, юные поклонницы, внебрачные дети, минус в банке...

Но это случилось потом, а пока слушатели академии страстно и горько зывали к Музе на своих одиноких ложах. Зависть к славе товарища терзала их сердца. И тогда мэтр решил утешить верных учеников...

Туманным утром вышли они из ворот академии и двинулись к отрогам тель-авивских гор. Серый выюн крутящейся пыли шел перед ними. Небоскрёбы алмазной биржи, словно скромные атрибуты поэтического быта, безмолвно возвышались по сторонам. Проходя мимо не возделанной литературной нивы, Лохаш остановился:

— Смотрите, чему вы должны научиться!

Он взмахнул рукой — и нива заколосилась побегами молодого рондо. Щёлкнул пальцами — и набежавший хорей поднял пыльцу с амфибрахийев. Свистнул, — и поле накрылось сияющим ямбом. В молчании продолжили путь пристыженные ученики. Через два часа ходьбы процессия подошла к горам. Отыскав уютную расщелину, мэтр поставил учеников полукругом и сказал:

— Слушайте сюда.

Тотчас из расщелины обильным потоком заструились договоры с редакциями, приглашения на литературные вечера, контракты с издательствами, заявки на авторские передачи телевидения и радио.

— Кто хочет — пусть берет, сколько сможет унести, — прогремел голос мэтра. — Но столько же отнимут от его подлинной славы после окончания академии.

Никто не двинулся с места. Через несколько минут напряжённого молчания Лохаш развернулся и пошёл в сторону Тель-Авива. Уче-

ники двинулись за ним. Отойдя на порядочное расстояние, мэтр достал из кармана радиотелефон, набрал по памяти номер и произнёс только одно слово:

— Можно.

Живой классик Межумицкий вылез из расщелины и, с трудом передвигая затекшие члены, принялся собирать реквизит.

Муза

и ответственный секретарь

У ответственного секретаря Союза Писателей Израила — Фимы Френкеля случилось непоправимое. От него ушла муза. Ещё вчера, послушная и безропотная, она сидела на маленькой скамеечке у Фиминых ног и бормотала о чем-то, о своём. Иногда, отрываясь от важных секретарских дел, Френкель прислушивался. Так рождались книги, статьи, заметки. И вот она ушла и не сказала почему. Безутешный Фима часами сидел, уставившись на заветную скамеечку. Вдруг простит, вдруг вернётся. Он бы упал на колени и взмолился б, завыл, умоляя никогда больше не поступать так жестоко.

Но тщетно. От напряжения ему начинала блазниться всякая чушь. Вместо музыки на скамеечке вдруг появлялся заслуженный ветеран писательского фронта. Размахивая удостоверением члена союза писателей СССР, он требовал от Фимы путевку на дачу в Галилею, трёхкомнатную квартиру в Нетании и денег на издание полного собрания сочинений. Его золотые зубы сверкали, словно звезда Героя на параде Победы, а капельки зловонной старческой слюны летели во все стороны.

В довершение всех бед пропала табакерка. Не стараясь оригинальничать, а просто из любви ко всему изящному Фима носил шейный платок и нюхал табак. Такая вот привычка у секретаря была. Не хуже и не лучше, чем у других, во всяком случае, окружающим доставался не дым жженой бумаги, а благоухание изысканной смеси, которую Фима собственноручно готовил из шести сортов табака.

Безутешный Френкель искал её повсюду, ибо, во-первых, табакерка была ему очень дорога, а, во-вторых, на новую не хватало денег. Так он искал и бродил, пока не оказался в дремучем беншеменском лесу. В самой чащобе, посреди непролазной глуши, он встретил козла. То был священный козёл, который скитался по дорогам времени в ожидании полуночи. В полночь он касался своими огромными рогами небес и пробуждал звёзды на песнь во славу того, что вечно.

— Почему ты горюешь? — спросил козёл. И Фима поведал ему правду.

— Только и всего? — удивилось священное животное. — Не стоит плакать. Отрежь кусочек моего рога и сделай из него табакерку.

Фима не заставил себя упрашивать. Когда он вернулся в город, члены Союза Писателей были поражены: табак из новой табакерки ис-

точал неопиcуемый, райский аромат. Фиму забросали вопросами и до-
нимали, пока не признался, что дело не в табаке, а в табакерке. Не ус-
пел он закончить рассказ, как все члены Союза, вооружившись ножа-
ми, бросились в лес. Отыскав козла, они принялись кромсать его рога.
Каждый член урвал свой кусочек, но от рогов ничего не осталось. И в
следующую ночь, когда звёзды по-прежнему холодно и ярко блистали
с высоты, не смог козёл пробудить их для песни о вечном. Под самое
утро, устав от вздохов и слёз, задрал он к небесам бородатую морду и
взмолился, завыл надсадно и жалобно. О чём была его молитва, мы
не знаем, ведь просил козёл на своём, козлином языке, но ответ небес
история сохранила. К Френкелю вернулась Муза. Правда, это было
уже не трепетное создание, скромно ожидающее своего часа на ска-
меечке. За время отсутствия Муза изрядно раздобрела и, выработав
командирский голос, принялась распоряжаться не хуже отставного
полковника. Теперь она сидела в Фимином кресле, целыми днями
раскладывая пасьянсы на его столе, а секретарь осторожно тулился
на скамеечке. Муза стала очень раздражительной и по малейшему по-
воду принималась топтать ногами и орать так громко, что становилось
неудобно перед соседями. Бормотать она перестала и все свои мысли
излагала четко и ясно, для вящей убедительности постукивая по столу
ребром ладони. Записывать её изречения Фима стеснялся.

Однажды, после заседания правления Союза писателей, Фима
напился и со слезами на глазах вспоминал то счастливое время, когда
он пусть не надолго, но оказался предоставленным самому себе.

— Так и поэзия, — завершил он свой рассказ. — Никто не знает,
на что она больше похожа: на молитву козла или на аромат табакерки.
Но в любом случае бесконечно далека она от наших представлений,
оставаясь вещью в себе, нескончаемой песней во славу того, что веч-
но.

Поэт

и разящий пончик

Поэт Михаил Борман был великим. Величие проявлялось в гор-
дой посадке кудрявой головы, напевности речи, особом, «борманов-
ском», блеске глаз. Глупцы и невежды считают, будто величие дости-
гается трудом и упорством. Суцая чепуха! Великими не становятся, —
великими рождаются. Это как музыкальный слух, либо он есть, либо
его нет. Помимо сочинения стихов, Борман рисовал, показывал фоку-
сы, редактировал журналы и жарил замечательные пончики. Всё у не-
го получалось наилучшим образом. Каждое творение попадало в де-
вятку, словно стрела, пущенная Робин Гудом. Многие пытались подра-
жать Михаилу, но безуспешно.

— Разнообразие талантов Бормана, — отметил знаменитый
тель-авивский критик Штейнгольд, — напоминает универсальную эн-
циклопедичность гигантов эпохи Возрождения.

Однажды, на презентации новой книги, поэт спросили:

— В чём секрет вашего творческого метода?

— Я расскажу вам притчу, — ответил Борман. — «Как-то раз чемпион мира по стрельбе из стендового лука гостил в Израиле. Проезжая Негев, чемпион и сопровождающие его лица остановились перекусить в придорожном кафе. К своему удивлению, они обнаружили, что стены кафе увешаны мишенями, в самом центре которых торчит стрела.

— Я чемпион мира, — сказал чемпион мира, — но даже я не могу столь идеально поразить такое количество целей.

— Никто не знает, сколько лет ушло на эти упражнения, — принялись успокаивать сопровождающие его лица. — Вероятно, тут тренировался большой коллектив, и каждый сумел попасть в яблочко только по разу.

— Давайте расспросим хозяина, — не успокаивался чемпион. — Поразительно! Невероятно! Как в такой глуши люди добиваются столь удивительных результатов?

— Это я стрелял, — признался хозяин. — Все стрелы, которые вы видите, выпущены моей рукой.

Восхищенный чемпион принялся расспрашивать хозяина о его способе стрельбы.

— Мой метод принципиально отличается от общепринятого, — сказал хозяин. — Весь мир сначала устанавливает мишень, а затем пускает в неё стрелы. Я же вначале пускаю стрелу, а затем рисую вокруг неё мишень».

Закончив рассказ, Борман с неподражаемой грацией фокусника вытащил из-за пазухи серебряное блюдо с тремя свежими, хрустящими пончиками и предложил публике:

— Угощайтесь, хватит на всех!

И действительно, всем хватило. Пораженная публика наградила поэта бурными, переходящими в овацию, аплодисментами.

Поэт и судьба

Судьей литературы Фактор Голяков стал не по возрасту рано. Но, возраст, как известно, понятие духовное. Среди поэтов Фактор с юных лет слыл мудрым старцем, благодаря его вмешательству не одна Столетняя литературная грызня завершилась миром.

После инаугурации, он воцарился в Азоре и зажил жизнью праведной и беспорочной, старясь во всем оголить, выявить истину. Как и у других судей, его настоящее, данное при рождении имя, позабылось, новое он получил по названию своего знаменитого труда «Фактор поэзии». Между собой поэты любовно величали Голякова «наш старый Фак». Постепенно слава о его мудром правлении докатилась до самых отдаленных уголков Страны Израиля. Многие поэты, устав бороться с косностью и грязью повседневности, перебирались в Азор на постоян-

ное место жительства. С годами вокруг старого Фака собралась многочисленная община, членов которой, по имени Мастера, стали называть «факаные литераторы».

Истовый поиск гармонии породил собственные, азорские обычаи, правила ношения одежды, разговора. Возникли особые слова, незаметные для посторонних знаки, по которым поэты узнавали друг друга. Да и сам поэтический язык претерпел изменения, став труднодоступным для непосвященных. Но чем дальше удалялась община от плебса, тем чище звучала в ней тонкая мелодия тишины, тем ревностней и ярче творили поэты.

Раз в год старый Фак проводил открытый конкурс на лучшее стихотворение. По правилам, участвовать в конкурсе мог кто угодно, но фактически у пришельца не было шансов пройти даже предварительного собеседования. Ведь язык, на котором он изъяснялся, совсем не походил на утонченную лексику общины!

Победитель конкурса получал титул «Поэт мира». Члены общины искренне считали, что настоящая литература создается именно в их среде и поэтому титул достаточно точно отражает подлинное состояние дел.

Весь год старый Фак и «Поэт мира» работали, не покладая рук, разбирая и классифицируя труды членов общины. Достойное внимания оформлялось в виде ежемесячных сборников; рукописи, забракованные мэтрами, вывозились на поле возле Азора и погребались. Жечь или уничтожать стихи другим способом никто не решался, рукописи хоронили в гробах под траурные звуки общинного оркестра. Со временем места на поле стало не хватать, и гробы пришлось ставить один на другой, присыпая сверху землей. Через несколько лет образовался внушительных размеров курган, в его пустотах поселились грызуны, завелись ужи и гадюки. Звери и птицы рождались, жили и умирали в кургане, и в жаркие дни из его недр тянуло дурным запахом.

— Запах мертвой литературы, — смеялись общинные шутники.

— Мертвым может быть только литератор, — отвечал старый Фак. — А литература живет вечно.

Курган рос, зверья в нем разводилось все больше, и запах становился совершенно нестерпимым. По правилам хорошего тона, принятым в общине, использовать слово «хамсин» категорически возбранялось. Еще в начале своего правления старый, а тогда ещё молодой Фак, приказал публично пороть на главной площади Азора поэтов, наполняющих свои тексты дешевой экзотикой. За «хамсин», «хумус», «минарет» и «милуим» провинившихся лупили палками до потери сознания.

Конец недели литераторы встречали в специально выстроенном Доме собраний. Высокие стрельчатые окна, затянутые витражами известных художников, глубокий неф при входе, мраморные колонны, отделяющие боковые галереи от главного зала, создавали особое, приподнятое настроение. Надо было видеть, с каким величием шествова-

ли Фактор и «Поэт мира» к возвышению под балдахином из алой парчи. Их белые одежды излучали чистоту, лица сияли покоем и умиротворением. По предложению Фактора перед началом чтения хор мальчиков исполнял несколько полюбившихся в общине поэтических произведений. Светлые голоса детей настраивали присутствующих на возвышенный лад, отрывая от наскучивших за неделю житейских забот.

После этого начиналось собственно чтение. Поэты выходили на помост, осыпанный лепестками роз, по краям которого в глубоких крестлах восседали Фактор и «Поэт мира», и читали новые стихи. Разумеется, раз на раз не приходилось, многое зависело от погоды, состава публики, красоты текстов. Но иногда происходило чудо: невидимая цепь между публикой и поэтами замыкалась, отбирая время и поглощая пространство. Волны добра и любви омывали собравшихся, растворяя болезни и боль. Чтение затягивалось до утра, но о времени никто не думал. На рассвете из Дома собраний выходили другие люди, только внешне похожие на тех, что вошли в него накануне вечером. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Своим процветанием Азорская община целиком была обязана старому Факу. О его мудрости ходили легенды, рассказывались притчи. Вот одна из них.

В академии Лохаша ученики женились довольно поздно. Напряженная учеба поглощала не только время, но и силы, все, без остатка. Пройдя девять кругов академии, выпускники превращались в умудренных слугителей искусства, далеких от суеты периодических изданий. Многие сразу переезжали в Азор, в общину старого Фака, где включались в трепетный процесс чистого служения. Случилось так, что двое друзей задержались в академии дольше обычного. Были к тому объективные и необъективные причины, в силу которых друзья сдали выпускные экзамены уже весьма пожилыми людьми. Счастью заждавшихся невест не было границ. После короткой свадебной церемонии молодожены отправились в Азор, где уже несколько лет их ожидали родители жен, заблаговременно приготовившие для поэтов все условия для плодотворного сочинительства.

В пути друзья тяжело заболели. Дорога дальняя, возраст не детский. После нескольких недель борьбы с недугом один из друзей умер, а второй впал в беспамятство. Болезнь, поразившая поэта, носила странный характер. Целыми днями он работал, исписывая страницу за страницей, ссылаясь на изученные в академии книги, цитируя классиков. Беда состояла в том, что писал он на неизвестном языке, понятном лишь ему одному. И ещё странность: как только речь заходила о самых обыденных вещах, поэт превращался в ребенка, совершенно не понимающего, чего от него хотят окружающие.

Много мытарств выпало на долю путешественников. Жара, сушеи, воры, укравшие чемоданы с книгами и документами. Но, несмотря на все препятствия, через три месяца две женщины и один поэт

прибыли в Азор. На вокзале их встречали ничего не подозревающие родители, и вот тут произошло самое интересное.

Обе женщины в один голос принялись утверждать, что выживший поэт — её муж. Женщин поддерживали матери, столько лет ожидавшие знаменитых зятьев. Спор перерос в перебранку, перебранка едва не закончилась дракой. А поэт, не обращая внимания на кипящие вокруг страсти, счастливо улыбаясь, слагал оду о прибытии в Азор. Стражи порядка немедленно доставили спорящих к старому Факу.

— Это твой зять? — спросил он у первой тещи.

— Мой, — подтвердила она.

— Это твой зять? — обратился Фак ко второй теще с таким же вопросом.

— Еще как мой! — ответила теща.

— В таких случаях, — сказал старый Фак, — приходится применять радикальные меры. Несите топор.

Служители порядка внесли огромный топор на длинной деревянной ручке.

— Решим по справедливости, — продолжил Фак, — разрубим поэта на две части, и каждая сторона получит причитающуюся ей долю.

Он внимательно посмотрел на тещ.

— Рубить?

— Жалко, — ответила первая. — Человек все-таки.

— Рубите, — не согласилась вторая.

— Отдайте поэта ей, — заключил старый Фак, поднимаясь с кресла. — Вот настоящая теща.

Сам Фак счастливо миновал все ловушки и приманки, расставляемые на его пути нежными ручками читательниц и почитательниц.

— Поэзия моя жена, — улыбался он, отвергая очередную кандидатуру. — Муза — теща, а Пушкин — отец родной!

И действительно, многочисленные обязанности судьи не оставляли минуты для другой деятельности. Будучи уверенным в своей правоте, Фак даже издал специальное постановление, запрещающее судье заводить семью.

— Бытие должно быть цельным, — утверждало постановление. — Чтобы сохранить в доме чистоту и объективность, порог должно охранять целомудрие.

Как известно, если Бог хочет покарать человека, Он отнимает у него разум. В самом зените славы и популярности Фак влюбился. Жребий пал на заурядную женщину, машинистку при Доме собраний. Она не могла похвалиться ни молодостью, ни красотой, ни даже особенным складом души или характера. Обыкновенная секретарша, не хуже и не лучше других.

— Чтобы увидеть красоту Лейлы, — смеялся Фак, — нужно смотреть на неё глазами Меджнуна.

И действительно, взглядевшись получше, ученики и друзья Фака открыли в его избраннице множество удивительных и редких свойств.

Было ли так на самом деле или авторитет учителя довлел над окружающими, на тот момент разобрать никто не мог.

А любовь, поначалу добавлявшая искру пикантности в серость повседневных забот, вскоре превратилась во всепоглощающую страсть. После нескольких месяцев мучительных раздумий старый Фак сложил с себя обязанности судьи и женился на избраннице. Свадьбу гуляли всем Азором, подвыпившие ученики клялись в вечной верности, преемник Фака торжественно обещал завтра же отменить опрометчиво принятое постановление. Тихо играла музыка, струилось вино, трещали цикады. Завтра обещало стать гораздо лучше, чем сегодня, и уж наверняка счастливее, чем вчера.

Но наступило завтра, утренние лучи солнца подсушили лужицы пролитого вина, и вместе с ним рассеялся хмель обещаний. Все занялись своими делами: новый судья принялся судить, поэты — сочинять, а старый Фак — обожать молодую жену.

Любовный хмель держится дольше, чем алкогольный, но в конце концов и он покидает организм. Через год ничем не омраченного семейного счастья старый Фак вернулся в Дом собраний.

Ученики встретили его градом аплодисментов. По старой привычке он направился к помосту и только поставив ногу на ступеньку вспомнил, что место судьи принадлежит другому.

Ничего страшного, из первого ряда сцена была видна не хуже, чем из кресла председателя.

После чтения ученики проводили Фака домой. Он выслушал новости, пожал десятки рук, ответил на сотни приветствий.

— Судья видел меня, — думал Фак, — и, несомненно, исполнит обещанное. Странно, что не исполнил до сих пор, но мало ли?

Со следующего чтения его провожали только тридцать человек, через две недели — полтора десятка, а через месяц Фак возвращался в обществе пяти ближайших учеников. О своем обещании судья, как видно, позабыл, а напоминать Фак считал недостойным. Вскоре он обнаружил, что в им же выпестованной структуре для бывшего судьи место не предусмотрено. Жизнь общины потекла мимо него, холодно полбескивая, словно трамвайные рельсы.

— Ну что ж, — решил Фак, — придется начинать все с начала.

Он извлек из письменного стола толстую тетрадь, куда целый год записывал стихи, сочиненные в честь Лейлы. За неделю он составил рукопись и через секретариат передал Судье. Прошел день, другой, неделя, — ответа не последовало. Недоумевающий Фак принялся наводить справки. Опуская глаза, сторож Дома собраний сообщил, что на прошлой неделе Судья и «Поэт мира» срочно провели захоронение какой-то рукописи. Процедура совершалась в три часа ночи, без свидетелей, Судья и «Поэт» сами несли гроб. Совершенно случайно сторож разглядел фамилию автора.

Старый Фак повернулся и молча пошел домой. Обиды или волнения он не испытывал, сердце было пусто. Возбуждение последнего го-

да прошло, уступив место привычной холодности судейского взгляда. Цена теперь представлялась чересчур высокой, но он уже заплатил, и заплатил сполна. Сожаления и упреки ничего не могли изменить. Сбросив плащ Ромео, Фак разглядывал собственную историю как одно из предложенных к рассмотрению дел. Ситуация со стороны выглядела совсем по-иному, эмоции могли добавить только стыд, оставалось лишь молчать и терпеть.

— Что ж, пора приниматься за дело, — бормотал Фак, медленно бредя по улице, — за привычное дело свое.

Войдя дом, он ласково улыбнулся жене и прошел в кабинет.

— Я буду работать, — сообщил он, поворачивая ключ в замке. — Ужин подай в десять вечера.

Еще до инвеституры Фак замыслил написать вторую часть своей знаменитой книги и озаглавить её «Фактор прозы». Увы, хлопотные занятия судьи не давали возможности сосредоточиться, поразмыслить. Теперь, слава Судьбе, времени у него хватало на всё. Фак приготовил ручку, достал пачку чистой бумаги, на секунду задумался и вдруг приступил писать. Рука забежала по листам, словно не создавая, а копируя текст, стоящий перед глазами. Он не успел опомниться, как раздался осторожный стук, — часы показывали десять. Фак приоткрыл дверь, принял поднос и, едва успев повернуть ключ в обратную сторону, бросился к столу.

Он писал до утра, с трудом поспевая пером за бегом мысли, потом сутки спал, потом снова работал, не поднимая головы. Жена несколько раз пыталась затеять разговор через запертую дверь, но Фак уклонялся от беседы.

Через неделю он проснулся от странного шума. За стеной раздавалось непонятное шуршание, словно десяток больших мышей пытался разгрызть её на кусочки. Он тихонько приоткрыл дверь и выглянул наружу. Жена и пятеро учеников замерли, встревоженно глядя на Фака.

— Не волнуйтесь, — с высоты вдохновения их тревоги представлялись лишь незначительной помехой на пути, — ещё немного, и я закончу книгу. Вы ещё будете называть меня, — он улыбнулся, — дабл, двойной Фак.

«Ещё немного» затянулось почти на год. Фак работал как одержимый, отвлекаясь только на сон, еду и прочие маловажные подробности быта. Отдельная дверь связывала кабинет с небольшой душевой и туалетом, так что его затворничество больше походило на домашний арест, чем на добровольное заточение. Через несколько месяцев жена перестала докучать, её присутствие проявлялось только в регулярном возникновении подноса с едой. Фак открывал не сразу, спустя абзац, а то и страницу. Поднос аккуратно стоял на полу, прямо за дверью.

Каждый вечер с наступлением темноты шуршание возобновлялось. Как видно, ученики Фака решили не оставлять учителя ни на

один день. Когда звезды выкатывались на меркнувший небосвод, Фак прекращал работу и начинал прислушиваться. Он ждал, как ожидают доброго знака перед дальней дорогой, как ищут на небесах удачного расположения звезд для счастливого брака.

«Сколько друзей нужно человеку, — говорил себе Фак, — один, двое? А у меня жена и пятеро учеников, — что ещё нужно?»

Он много думал о предавших его, пирующих за его столом, восседающих в его кресле. Когда обида начинала переплавляться в планы мщения, он аккуратно перекладывал её в дальний ящик души и тщательно запирал. Успокоившись, Фак открывал суд, тщательно выслушивал показания защитника и прокурора, говорил со свидетелями. По старой, им же заведенной привычке, он возвращался к делу несколько раз, опасаясь наказать невинного и оправдать виноватого. Результат размышлений всегда выходил один и тот же: главный преступник — он сам: старый, выживший из ума Фак.

Потом приходило вдохновение: поднимая глаза к окну, сквозь которое светила покрытая терракотовой черепицей крыша, он набирал полную грудь воздуха и, словно ныряльщик с вышки, валился в работу. Обида уходила, поэт вытеснял судью и, вода пером по бумаге, старый Фак снова был готов к безрассудствам.

Шуршание за стеной подгоняло его, и он убыстрял темп, стараясь совпасть с чудесной музыкой сфер. Писал Фак старинной перьевой ручкой, после каждых пяти слов окуная кончик пера в чернильницу. Ему нравился скрип бумаги, влажные, блестящие строчки, запах свежеразведенных чернил. Если бы не возня с заточкой, он бы вообще перешел на гусиные перья.

«Чем медленнее, тем лучше, — считал Фак. — Рука должна ощущать сопротивление материала, как ноги, твердую почву».

И вот все кончилось. Книга, вычитанная и сверенная до последней строчки, сияла посреди пустого стола. Опередив жену, Фак открыл дверь и, улыбаясь, вышел из кабинета. От страха перед встречей его бросило в жар, ноги отказывались повиноваться. И, хотя лоб Фака оставался совершенно сухим, ему казалось, будто сердце покрылось холодными каплями пота. В комнате никого не было. Поднос с едой аккуратно стоял на обычном месте, дверь в прихожую слегка покачивалась, словно её только что притворили.

— Кто там?! — крикнул Фак срывающимся голосом.

За дверью раздались шаги, и вошел сторож Дома собраний.

— А где жена, — спросил Фак. — Где ученики?

— Профукал ты жену, — ответил сторож, поднимая поднос. — Уже полгода, как уехала в Тель-Авив. И учеников профукал, что им, делать больше нечего, чем под дверью дожидаться. По решению Судьи еду тебе ношу я. Пошли ко мне, жена подогреет ужин, наконец, поешь по-человечески.

Из дырки в плинтусе показалась голова большой мыши с остро оттопыренными ушами. Не стесняясь людей, она выбралась наружу,

блеснула бусинками глаза и побежала по своим делам, шурша длинным хвостом.

Фак аккуратно запаковал рукопись, сунул её под мышку и вышел на крыльцо. Над Азором стояла ранняя темнота, ветерок приносил теплые запахи цветов и нагретой за день листвы. Фак глубоко вздохнул и, вслед за сторожем, спустился с крыльца.

«Но вот этого, — думал он, крепче сжимая рукопись, — вот этого у меня никто не сможет отобрать».

Свежий ветер гнал клочковатые тучи. Накрапывало. Двурогая луна светила тускло в окна спящего Азора. И как хорошо, как вольно дышалось Факу после года, проведенного в душной комнате. Не останавливаясь, он поднял голову вверх и посмотрел на небо. Сквозь разрывы облаков мигали, переливаясь, звезды.

«Они словно буквы, — подумал Фак, — рассыпавшийся набор великой Книги. И нет ничего загадочней и выше, чем собрать эти буквы в слова, предложения, абзацы».

Не опуская головы, он сделал ещё несколько шагов вслед за сторожем, как вдруг его правая ступня подвернулась. Фак охнул и, неловко размахивая рукой, попытался удержать равновесие. Увы, его тело, размякшее от годичного сидения, отказалось повиноваться. Фак повалился навзничь, и, падая, чиркнул головой о бетонный столбик ограды. Описав плавную дугу, пакет скрылся в густой тени придорожных кустов. Капли ночного дождя осторожно застучали по его бумажной спине.

Вызванная сторожем «Скорая помощь» доставила Фака в лучшую клинику Азора. Спустя полчаса в приемный покой примчались судья и «Поэт мира». Усилия специально вызванных профессоров не пропали даром, к утру Фак пришел в сознание. Сознание, правда, вернулось к нему лишь частично, он никого не узнавал и, непрерывно стелая, просил отыскать рукопись. Расспросив по телефону сторожа, судья отрядил на поиски пакета два десятка молодых сочинителей. Они обшарили дом Фака, осмотрели прилегающие улицы, и к вечеру пакет нашелся.

Рукописи, как известно, не горят, но рвутся и размокают. Ночной дождь превратил «Фактор прозы» в нечитаемое месиво. Показать его больному Судья не решился, а просто сообщил, что поиски не увенчались успехом. Это известие погасило остатки сознания Фака.

На средства общины его поместили в лучшее заведение для пациентов подобного типа. Фак оказался в одной палате с обезумевшим поэтом. Каждый за своим столом, они сочиняют с утра до вечера, покрывая бумагу странными знаками. Наверное, это буквы неизвестного человечеству языка.

Раз в два дня поэта навещают жена и теща. Они приносят чернила и сладости, а забирают исчерканные листы. Милосердная теща заботится и о Факе. Она поправляет постель, проверяет, чиста ли пижама и, украдкой отирая слезы, вспоминает о днях его былой славы.



Игорь Кочевых

/ Киев /

Переделки

- Вид на нищенство
- Исчезающе малая ветчина
- Марафонский смех
- Стартовая жена
- Урнопроходчик
- Хлебо-будущие изделия
- Непропиваемые двери
- Рамоносец
- Решительный подтекст
- Театр одного вахтера
- Зажиточный минимум
- Пасмурные данные
- Плевательный бассейн
- Спиртной мозг
- Средство ухода за нуждой
- Дача ложных предсказаний
- О жалкий рейтинг мой
- Я хочу, чтобы пенсы звучали
- Я числюсь, значит, я существую
- Могучий источник званий
- Повышенное содержание Запада в крови
- Там чудеса, там Ленин бродит
- Крыша, которая едет сама по себе
- Не промахнись, Пицунда!
- Санкт-Пекинбург

- Явление Кремля народу
- Первый гимн — комом
- Серо-буро-маниловый
- Шавками закидаем
- В стельку приятный
- Искать выгоду в затруднительном положении
- Круглый идеолог
- Надо отнять должное
- Накрасть на стол
- Ненарочное зачатие

**Главный редактор
Борис Марковский**

Редакционная коллегия:

**Марк Нестантинер, Мария Каменкович,
Борис Херсонский, Андрей Мокроусов**

**Технический редактор Георгий Власов
Секретарь редакции Алла Жмайло
Директор Фонда Валерий Ярошевич**

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За оказанную помощь
в издании девятого номера журнала
редакция выражает искреннюю благодарность
Надежде Рааш, Таисие Ивановой,
Вере Баде, Нине Бодровой.

...Крещатик – путь крещения Руси, главная улица Киева, название журнала и точный адрес его рождения...

..."Крещатик" начал создаваться задолго до того, как были отпечатаны его первые страницы. Уже в 60-е годы строки из этого журнала звучали на осенних мостовых, в прокуренных кафе и подземных переходах улицы, которая 1000 лет хранит это имя...

...Так и говорили: "Встретимся на кресте..."

...Улица-колыбель, крестный путь, перекресток страстей, судеб и стихов...



Крещатик